ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДОБРОВОЛИЦЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — еще несколько страниц из истории Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую.

Судьба женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные патриотическим порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью Русской Армии, воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь ее поражения, закончившийся для них утратой Родины.

- Доброволицы
  - ○
  - ○ Татьяна Варнек
    - ■ Часть первая. НА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
      - ■ Глава 1. В ПОИСКАХ СЕБЯ
      - ■ Глава 2. ОТЪЕЗД НА ФРОНТ
      - ■ Глава 3. ЛАЗАРЕТ В ЖОЛКИВЕ
      - ■ Глава 4. «БУНТ СЕСТЕР»
      - ■ Глава 5. ПЕРЕВОД ВО ЛЬВОВ
      - ■ Глава 6. РУКОПОЖАТИЕ ГОСУДАРЯ
      - ■ Глава 7. В ПЛЕНУ РАБОТЫ И ТОСКИ
      - ■ Глава 8. ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ ОБЩИНУ
      - ■ Глава 9. ЖИТОМИРСКИЙ ЭТАПНЫЙ ЛАЗАРЕТ
      - ■ Глава 10. ТЯЖКИЕ ДНИ В РИГЕ
    - ■ Часть вторая. КОГДА ФРОНТ РАЗВАЛИВАЕТСЯ
      - ■ Глава 1. РИЖСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД
      - ■ Глава 2. С ВОЕННО-САНИТАРНЫМ ПОЕЗДОМ
      - ■ Глава 3. ОТКОМАНДИРОВЫВАЮСЬ ДОМОЙ
      - ■ Глава 4. ДОРОГА НА КАВКАЗ
      - ■ Глава 5. В РОДНОЙ МОСКАЛЕВКЕ
      - ■ Глава 6. ОПАСНЫЕ ВИЗИТЫ
      - ■ Глава 7. СПАСАЯСЬ ОТ КРАСНОЙ АРМИИ
      - ■ Глава 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКАЛЕВКУ. ЖИЗНЬ СНАЧАЛА
    - ■ Часть третья. В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ
      - ■ Глава 1. ПЕРЕЕЗД В ЕКАТЕРИНОДАР
      - ■ Глава 2. В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ

ГОСПИТАЛЕ
- Глава 3. ПЕРЕМЕНЫ В МОСКАЛЕВКЕ
- Глава 4. В ПОХОДАХ С ТЕРСКОЙ ДИВИЗИЕЙ
- Глава 5. ДОЛГИЙ РЕЙС
- Глава 6. В ОТПУСКЕ ПО БОЛЕЗНИ
- Глава 7. ВОЗВРАЩАЮСЬ К РАБОТЕ
- Глава 8. ПРОРЫВ КРАСНЫХ
- Глава 9. ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
- Глава 10. ОТСТУПЛЕНИЕ НА СЕВАСТОПОЛЬ
- Глава 11. НА БОРТУ «РИОНА»
- Глава 12. В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
- Эпилог. ОСЕНЬ 1921 ГОДА

○ Мария Бочарникова
- Глава 1. УРА! Я — СОЛДАТ
- Глава 2. У НАС ЕСТЬ ВОРОВКА
- Глава 3. БАТАЛЬОН СФОРМИРОВАН
- Глава 4. ЛАГЕРЬ В ЛЕВАШОВО
- Глава 5. О ПЕЧАЛЬНОМ И ВЕСЕЛОМ
- Глава 6. КАКИЕ МЫ РАЗНЫЕ
- Глава 7. ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ
- Глава 8. БОЙ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
- Глава 9. ПОД АРЕСТОМ В СОЛДАТСКИХ КАЗАРМАХ
- Глава 10. КОНЕЦ МЕЧТАМ О ФРОНТЕ?.
- Глава 11. РАЗЪЕЗЖАЯСЬ ПО ДОМАМ…
- Глава 12. Я КОМАНДУЮ СВОДНЫМ ВЗВОДОМ
- Глава 13. МЫ ВСТУПАЕМ В БОРЬБУ
- Глава 14. В ТЮРЬМЕ
- Глава 15. НА ДОН
- Вместо эпилога. СУДЬБА КОМАНДИРОВ И ДОБРОВОЛИЦ

○ Зинаида Мокиевская-Зубок
-
- Глава 1. РОСТОВ-НА-ДОНУ
- Глава 2. ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД (1918)
- Глава 3. ЕКАТЕРИНОДАР (1918)
- Глава 4. НА МОСКВУ (1919)
- Глава 5. ОТСТУПЛЕНИЕ
- Глава 6. ЭВАКУАЦИЯ
- Глава 7. ГАЛЛИПОЛИ
- Эпилог

• notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22

Доброволицы

ДОБРОВОЛИЦЫ

Сборник воспоминаний

Составитель
А.И.Солженицын

Москва
РУССКИЙ ПУТЬ
2001

ОСНОВАНА А.И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

НАШЕ НЕДАВНЕЕ

8

Т.А.ВАРНЕК

ВОСПОМИНАНИЯ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

(1912–1922)

Татьяна Варнек
Воспоминания сестры милосердия (1912–1922)

Часть первая. НА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

Глава 1. В ПОИСКАХ СЕБЯ

В мае 1912 года я окончила восьмой класс гимназии Л.Ст. Таганцевой. Из моего класса почти никто не думал идти на курсы. Я решила поступать в Рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств и с этим уехала в Москалевку (наше имение около Туапсе на Кавказе). Летом, переписываясь с подругами, я узнала, что многие собираются поступать в Кауфманскую общину[1] на курсы запасных сестер милосердия, особенно горячо увлеклась этой мыслью Аня Думитрашко, с которой мы были очень дружны. Она мне писала, что в жизни эти знания могут пригодиться, что летом в деревне при необходимости мы сможем сами оказывать помощь и т. п. Меня это тоже увлекло, и осенью мы, большая группа подруг, поступили в общину, одновременно я начала учиться в Обществе поощрения художеств.

Всех слушательниц в общину поступило около четырехсот. При открытии кто-то из «думских» выступил с речью, говоря, что опыт японской войны показал, что нужны профессиональные сестры, а не волонтерки. Поэтому решено создать кадры запасных сестер, чтобы в случае войны не было необходимости в волонтерках. Лекции и практические занятия были каждый день. Программа очень большая. Строгости тоже. Нас по-кауфмански взяли в оборот, и за нами следили все время общинские сестры. Перед Рождеством были экзамены, устные и практические. Заниматься пришлось очень усиленно, особенно по практическим занятиям, — трудно было в очень короткий срок (по минутам) застелить кровать и заложить одеяло кауфманским углом. Дома у меня мы с Аней Думитрашко мучили бедного Женю (младшего брата), который добродушно подчинялся. Все же, при виде нас, он с отчаянием говорил: «Опять эта бинтовщица и бинтовища». Мы его без конца бинтовали с головы до пят, поднимали, переносили. Пробовали проделать то же и с Петей, но он не давался. Ближе к экзаменам наша группа наняла одного из мальчиков, на котором вместе практиковались в общине. Отец одной из нас, проф. Вреден, дал нам в своей клинике палату, и там мы проходили всю программу. Мальчик наш (мы наняли одного из трех, с которыми вместе учились в общине) помогал и давал указания. Он все знал прекрасно. Экзамены были очень строгие, резали беспощадно, но наши гимназистки все сдали благополучно и даже хорошо.

Самым страшным и трудным предметом была анатомия, и на этом экзамене провалились очень многие. Курс громадный, много времени уходило на его изучение и готовить другие предметы было некогда, а их оказалось порядочно. Но мы все знали анатомию прекрасно по гимназии, где был тот же курс, что и в общине. Мы его сдавали на выпускном экзамене, так что нам надо было только слегка повторить его. Таким образом, у нас на другие предметы времени хватало. Все слушательницы курсов в общине были с гимназическим образованием, но наша гимназия, где преподавание каждого предмета велось шире, чем в других, обращала усиленное внимание на анатомию. На экзаменах провалилось больше половины учащихся, так что после Рождества на практику в больницу попало меньше двухсот человек.

В первые же дни многие не выдержали и ушли. Мы работали в ужасной городской Обуховской больнице, переполненной больными[2]. Больница громадная и настолько старая, что, кажется, стены впитали в себя все запахи. Воздух был ужасный, беднота кругом; белье, одеяла — старые, все серое, никаких удобств, ничего нужного получить было нельзя, даже не хватало градусников, а злющая общинская сестра не спускала с нас глаз и все время цукала.

Я попала в хирургическое отделение, где больше лежали хроники или, вернее, безнадежные. После первого дня работы, вернувшись домой, я без конца мылась, полоскалась одеколоном и не могла отделаться от ужасного больничного запаха. За столом ничего не могла есть.

Все же я продолжала работать. Как я уже сказала, в первые дни практики ушло несколько человек: условия тяжелые, а муштра была невероятная, замечания так и сыпались, и за самые пустяки. Мы терпели, сколько могли. Я проработала чуть больше месяца и бросила, а до диплома надо было работать до весны. Я, конечно, могла бы протянуть, но просто не захотела — диплом был мне не нужен, а из-за больницы приходилось пропускать занятия в Рисовальной школе, где я с увлечением занималась и думала пройти курс до конца. Я так уставала, бегая из больницы в школу, что не могла выезжать, а это был первый сезон с наилучшими балами и выездами. До окончания гимназии я еще почти не выезжала. Аня Думитрашко проработала еще немного после моего ухода и тоже ушла. У нас появилось свободное время, и мы с ней стали много ходить по музеям и выставкам. Часто катались на коньках, играли в теннис, веселились и о сестричестве забыли. Лето, как всегда, провела в Туапсе, и снова зима, учение в Рисовальной школе, выезды, веселье.

Весной 14-го года снова поехали в Москалевку, где всегда

было так хорошо. Ходили на экскурсии, купались, катались на лодке, играли в теннис и немножко помогали в садах, главным образом по сбору фруктов. В мою обязанность входило еще обходить все розовые кусты и срезать розы: отцветшие в одну корзину, а в другую — для букетов, которые я же расставляла по всему дому.

Жили все беззаботно и не чувствовали приближающейся грозы. Почта приходила к нам всего три раза в неделю. Так что петербургские газеты в лучшем случае приходили на четвертый день. Получали и местную газету, но в ней известия были такие же старые. И вот, совершенно для нас неожиданно, на столбах и дубах вдоль шоссе появились расклеенные бумажки о мобилизации. Никто ничего понять не мог. Почему? Зачем? Стали гадать, папа читал в газетах о забастовках в Москве. Подумали, что из-за них. Как раз в этот день к нам на автомобиле приехали Вася и Ваня Черепенниковы (дальние соседи). Захватили Аню и меня к себе. По дороге мы волновались, спорили, стараясь угадать, в чем дело. (Ваню Черепенникова я видела в последний раз: в разгар революционных событий он был застрелен на их квартире в Петербурге во время обыска. Красноармейцы стали угрожать Ивану Васильевичу (отцу), Ваня бросился вперед, и его застрелили.)

Только через три дня после объявления мобилизации мы узнали, что это война. Я сейчас же решила работать сестрой, но очень боялась, что меня не возьмут, так как я была без диплома. Все же написала письмо старшей сестре общины Филипповой, спрашивая, что мне делать и могу ли я работать. Она сразу же мне ответила, и очень лаконично: «Приезжайте немедленно». Я быстро собралась и уехала. Это была середина августа.

Ехала довольно долго, так как прямых поездов уже не было, не было и плацкарт, но мне повезло: на пересадке в Ростове я попала в купе, где ехали трое молодых англичан и жена одного из них. Они служили где-то на Кавказе и спешили обратно в Англию. Больше в наше купе никто не сел, и мы прекрасно доехали до Петербурга. Англичанка и я имели по верхней полке, так что спали ночью прекрасно и могли раздеваться. Все мои спутники были очень милые люди, и мы, болтая, незаметно провели время. Распрощались в Петербурге около Николаевского вокзала.

Дома я жила вдвоем с нашей старой кухаркой Настасьей. Вся наша семья приехала из Туапсе к началу занятий — к 1 сентября. На другой день после моего приезда я явилась в общину. Старшая сестра мне сказала, что мои экзамены и занятия зачтутся, но что я должна закончить практику. Меня послали в Александровскую

больницу для рабочих, где уже работали волонтерки, которые после объявления войны поступили на ускоренные курсы сестер милосердия. Общинских и запасных сестер было так мало, что все общины открыли такие курсы. Без прохождения их начальник Красного Креста никого на работу не принимал.

Александровская больница была хорошо обставлена, очень чистая, и работать там было хорошо. Большинство сестер стремились на фронт: очень волновались, что не успеют, так как думали, что война скоро кончится.

В начале сентября оканчивала практику первая группа волонтерок. И вот, совершенно неожиданно, многие из них, человек двадцать, были приглашены на чай к баронессе Икскуль, попечительнице общины. Причем было сказано прийти в штатском платье (на работе мы носили форму: серые платья и большие четырехугольные кауфманские косынки, но без креста). На другой день после чая у баронессы некоторым из волонтерок было сказано, чтобы они в больницу больше не приходили, так как они сестрами милосердия быть не могут. Оказывается, этот прием был устроен баронессой, чтобы лучше рассмотреть, что собой представляют ее будущие сестры. Забраковала она тех девушек, которые были недостаточно скромно одеты и, вероятно, слишком развязны. Но такой «чай» больше не повторялся, так как о нем узнали все остальные.

Глава 2. ОТЪЕЗД НА ФРОНТ

Числа 19 сентября сорока шести сестрам, и мне в том числе, было приказано явиться в общину для получения креста. И нам дали или, вернее, разрешили нацепить крест, что мы тут же и сделали. После этого нам объявили, что 23-го мы уезжаем. Выдали каждой по сундуку, кожаную куртку, теплое ватное черное пальто и список вещей, которые мы должны взять с собой. Мне и пяти сестрам (четыре из них — волонтерки) сказали, что мы должны сшить себе настоящую общинскую форму, как сестры запаса, то есть черные платья и кокошники. Мы шестеро получили назначение в 1-й Подвижной кауфманский лазарет бакинских нефтепромышленников, стоящий в Галиции в Жолкиве, откуда перевелось несколько сестер, и нас послали их сменить. Остальные сорок волонтерок ехали с нами только до Киева, где они поступали в распоряжение главноуполномоченного Юго-Западного фронта для получения назначений в Военное ведомство.

Дома началась невероятная горячка: надо было все купить в три дня, сшить форму — платья, косынки, передники. Высокие

сапоги на заказ сделать было невозможно — не хватало времени, и мне купили готовые — кадетские, очень некрасивые (потом я себе сделала на заказ). Накануне отъезда уложенный сундук надо было отвезти в общину. Оказалось, что все сундуки там просматривали и одну волонтерку исключили, найдя что-то, чего не должно было быть. Что это было, никто из нас не знал! Уже в поезде долго гадали, какую такую «ужасную» вещь она взяла с собой? И наконец решили, что это была… пудра!

Наступил вечер 23 сентября 1914-го, и я уезжала на фронт. Мы получили отдельный вагон второго класса и еще несколько купе в соседнем.

Провожали нас все наши родные, друзья и знакомые. Толпа на вокзале была не меньше двух тысяч человек. Нас засыпали цветами, шоколадом и просто разрывали на части: каждый хотел поговорить, попрощаться, кое-кто благословлял иконками. Дивный складыш, которым меня благословила Таня Кугушева, сохранился у меня до сих пор.

Не успели мы войти в вагоны, как из окон повысовывались головы в косынках. В них нас трудно было узнать, тем более что в форме нас еще никто не видел. Все стали выкрикивать имена своих сестер: «Ирина, Таня, Маня, Ксеня!..».

Отъехали под громкие крики «ура!». Придя немного в себя, мы стали устраиваться. Ехали нормально, по четыре в купе. Диваны были завалены шоколадом, конфетами и цветами. Запах одуряющий, особенно от тубероз. Сообща решили на ночь одну уборную отдать под цветы; сколько могли, поставили в умывальник.

Мы начали знакомиться друг с другом. Я сразу сошлась с Ксенией Исполатовой, и мы скоро подружились.

Глава 3. ЛАЗАРЕТ В ЖОЛКИВЕ

В Киеве мы шестеро расстались с волонтерками, пересели на другой поезд и поехали во Львов, где на вокзале пришлось долго ждать поезда на Жолкив. Громадный, чудный вокзал со стеклянной крышей не имел больше парадного вида: народу было мало, и только военные. Мы уселись вокруг столика в огромном пустом зале буфета. Закусили своими продуктами и стали поедать конфеты из большой коробки, которую кто-то из нас поставил посредине стола. Почему-то пустынный зал и большая коробка конфет остались в памяти.

Сидели мы долго, пока какой-то врач не подошел к нам и не попросил помочь перевязать раненых, так как сестры эвакуационного пункта не успевают. Мы сразу же пошли, с

радостью, но и со страхом: ведь мы еще никогда по-настоящему не работали и с ранеными встречались впервые. Нас отвели в большой зал, полный солдат, ожидавших перевязки. Там работали врач и фельдшера. Мы облегченно вздохнули, увидев, что раненые все легкие, больше всего «пальчики»: тяжелых перевязывали на эвакопункте. Со страхом и большим старанием мы принялись за дело. Перевязывали медленно, но справились благополучно. Проработали до прихода нашего поезда. Это было наше «боевое крещение»!

Наконец мы приехали в Жолкив, маленький городок, где нас поразило количество евреев, в лапсердаках и с пейсами. Вид неопрятный, особенно неприятно выглядит молодежь.

Лазарет встретил нас неприветливо — старший врач, прибалтийский немец фон Кюммель, рыжий, с желтыми глазами, плохо говорящий по-русски; старшая сестра Большакова, общинская, уже немолодая. Препротивная рыхлая баба и, как ни странно для кауфманской сестры (думаю, что она из сиделок Кауфманской общины — двухлетние курсы, назначили сестрой), малоинтеллигентная, даже, вернее, совсем простая баба. Как она могла быть кауфманской сестрой? Непонятно! Она сразу же зашипела: «На что мне эти волонтерки, прислали бы двух общинских, и было бы гораздо лучше». К довершению нашей беды, почти все раненые были эвакуированы. Осталось человек двенадцать, работы было мало, и Большакова взяла нас в оборот. Цукала за все, и особенно попадало, если ей покажется, что наши волосы недостаточно натянуты перед кокошником, не дай Бог, если выбьется прядь. А бедной сестре Турман, у которой волосы вились, влетало все время. Большакова с нами не церемонилась, просто подходила, подсовывала пальцы под волосы и кричала: «Убрать!» Мы же держались дружно и мстили, как могли. Это, конечно, было невозможно во время работы, и только за столом мы давали себе волю. Все мы были молодые, приблизительно одного круга, и наши разговоры раздражали Большакову. Естественно, мы вспоминали Петербург, выезды, знакомых. Часто мелькали громкие фамилии и титулы. Мы заметили, что Большакову это злило, и нарочно подливали масла в огонь, придумывая самые невероятные имена и титулы, пересыпая свою речь французскими фразами, которых она не понимала. Она приходила в невероятную ярость и кричала: «Эти мне графья да князья!» Для нас же эта проделка была единственным утешением!

Нас распределили на работу: одну назначили по хозяйству, другой удалось сразу же перейти в отряд, где работала ее родная сестра, остальные четверо попали в палаты: три дежурили днем и одна, по очереди, ночью.

Помещение было небольшое, и палаты смежные. В моей лежали три раненых австрийца, у Ксении, рядом, пять русских. В первой были австрийцы и русские и в отдельной комнате пленный австрийский капитан. Так как лазарет был подвижной, то и имущество было самое скромное и только самое необходимое: кровати походные с тюфяками, набитыми соломой, никаких столиков. На перевязки нас не пускали, и мы целый день должны были проводить в палате и что-то делать. Но как заполнить день в пустой палате с несколькими не очень тяжелыми ранеными? А у меня вдобавок были австрийцы. Я делала им что было нужно, но ни в какие разговоры не вступала, а Большакова появлялась по нескольку раз в день и, если видела, что мы ничего не делаем, начинала шипеть: «Надо работать, хорошая сестра всегда найдет работу!» Заставляла мыть то окно, то большую кафельную печку, то стол или дверь. Придет в другой раз, и снова мой ту же печку или окно, и так без конца. Мы не имели права разговаривать друг с другом, хотя между палатами была дверь. Раненые наши солдаты ее ненавидели, так же, как и мы, и старались нам помочь, как только она уйдет. Мы с Ксенией сдвигали свои стулья спинками друг к другу в дверном проеме между нашими палатами, садились и разговаривали. Больные следили за входной дверью и, как только заметят, что дверь открывается, кричали: «Корова идет!» Мы вскакивали, хватали тряпки и усиленно начинали что-нибудь тереть. С Ксенией мы подружились и, когда были свободны, уходили гулять по Жолкиву, иногда и за город, по снежному полю. Раз даже удалось попасть в синагогу.

Глава 4. «БУНТ СЕСТЕР»

Кроме неприятностей со старшей сестрой, нас приводил в недоумение (возмущаться мы еще не смели) наш старший врач Кюммель. Мы заметили, что пленников он перевязывал каждый день и долго с ними возился, на наших же не обращал почти никакого внимания. Кроме того, он целыми днями просиживал у пленного австрийского капитана и болтал с ним по-немецки.

Через некоторое время были эвакуированы последние раненые, и нас перевели немного вперед, ближе к фронту, на станцию Ланцуг в имение графа Потоцкого. Мы быстро развернулись на самой станции. Но стоянку нам выбрали неудачную: санитарные поезда на ней не разгружались, и мы стояли без дела. Волновались, сердились, зная, что в других местах большая нужда в лазаретах. Начали даже ссориться друг с другом. Мы с Ксенией очень подружились, но часто ссорились,

мирились и снова ссорились; она была на два года моложе меня и прямо из института попала на фронт. Это была настоящая наивная институтка, да еще очень восторженная и увлекающаяся. Постоянно влюблялась, теряла голову и воображала, что ей сделают предложение. Я ее старалась направлять на путь истинный, она сердилась и говорила, что я ревную. Выходила ссора, затем я оказывалась права, она плакала, и мы мирились. Мы почти все время были с ней вдвоем, ходили осматривать дивный замок Потоцкого, фазановый заповедник, гуляли и много пели: у Ксении был чудный слух и довольно хороший голос. Так что мы с ней распевали дуэты: если я могла вторить, то она пела первым голосом, если нет, то наоборот. Мы находили, что выходит хорошо, были довольны и все разучивали новые песни. Но, несмотря ни на что, томились и мечтали о том, что нас переведут в другое место.

Один раз у нас произошел такой случай: утром, когда мы вошли в столовую пить чай, увидели доктора Кюммеля с тремя австрийцами в форме, стоящими около карты Галиции; они что-то показывали на ней и о чем-то говорили. Увидя нас, доктор и австрийцы ушли. На столе стояли стаканы и остатки еды, которой доктор угощал австрийцев. Мы были возмущены до глубины души, но окончательно рассвирепели, когда в тот же день кто-то прибежал к нам сказать, что на станции стоит товарный поезд, полный ранеными, без медицинского персонала и что раненые кричат, просят пить и есть. Мы побежали к доктору Кюммелю сообщить об этом, в полной уверенности, что он прикажет накормить их и даже оказать помощь, но он не только не приказал нам сделать это, но, наоборот, категорически запретил нам туда идти и что-либо давать раненым. Мы, все сестры и санитары, так возмутились, что, не обращая внимания на запрет врача, побежали к поезду, поили всех водой и давали хлеб, который могли унести из лазарета: это все, что мы могли сделать. Но за доктором начали следить, будучи теперь уверены, что он если не шпион, то на стороне немцев! Но к кому обратиться? Как поступить?

В Ланцуге мы простояли около недели и переехали еще вперед, на станцию Мелец, недалеко от Ржеснева. Но там работы тоже не было. Нас придали 16-й Кавалерийской дивизии, которая в то время там уже стояла на отдыхе.

В эту дивизию входил и Новоархангельский уланский полк, но Васи (Вас. Вас. Протопопова), там еще не было. Ближе всех к нам стояли черниговцы, они быстро с нами познакомились и стали у нас бывать. В нашей столовой стояло пианино, и корнет Андреевский постоянно на нем наигрывал и пел. Доктор

Кюммель был страшно зол на то, что в лазарет приходят офицеры, встречал их весьма нелюбезно, а иногда и дерзко. Но они на него не обращали никакого внимания, тем более что мы им рассказали о немецких симпатиях доктора. Понемногу мы налаживали лазарет: набивали матрацы, зашивали их, но, так как раненых не предвиделось, мы не торопились.

Наступило Рождество. Дивизия устроила обед — в каком-то большом зале, был приглашен весь лазарет. Народу оказалось очень много, собрались все офицеры дивизии, но нам не было весело, так как нас посадили на почетные места, около генерала Драгомирова и его штаба. Все наши знакомые сидели далеко.

С доктором у нас отношения становились все хуже и хуже: раз за столом он, что-то рассказывая, сказал: «У нас в Германии». Пылкая Ксения со всей силы ударила кулаком по столу и крикнула: «Доктор, у нас в России!» Мы стали во все стороны писать письма, прося обратить внимание на доктора Кюммеля. Но результатов не было никаких. Наконец, отчаявшись, мы написали в Красный Крест коллективное заявление. Мы и не подозревали, что этого делать нельзя. Но зато они заволновались в Управлении! Правда, не из-за доктора, а из-за «бунта сестер»!

Приехал уполномоченный, нас отчитал, но все же выслушал. Через некоторое время от нас перевели трех сестер: одну в отряд в Галицию, а двух — в госпиталь в Петербург. Доктора не тронули, и мы были в отчаянии. Из нашей группы остались Ксения и я, кроме того, из старого состава, старшая операционная и аптечная сестры.

Глава 5. ПЕРЕВОД ВО ЛЬВОВ

Почти в то же время дивизию перебросили в Карпаты и нас перевели за ней: там шли большие бои. Нас поставили в Ясло. Там мы поместились в чудном богатом особняке, мы с Ксенией жили в прекрасной спальне красного дерева. Лазарет находился рядом в казенном здании: раненые все лежали в одном большом зале. Все очень тяжелые, и их было около ста, а нас, считая старшую, было всего пять сестер. Сразу взялись за работу. Дела было столько, что даже Большакова нас оставила в покое. Сама она взяла на себя хозяйство. Палатных сестер было только две — Ксения и я, и при всем нашем желании мы справиться с работой не могли: ведь на нас лежали и ночные дежурства. Спасла положение очень милая общинская сестра Курепина, работавшая в операционной и перевязочной. Она сказала, что тоже будет дежурить ночью. Противная аптечная сестра, флиртовавшая со старшим врачом, себя не утруждала, сидела в аптеке, но помогать

другим не пожелала. Ее фамилия была Чихиржина, но санитары ее называли «Чихирина жена». С 8 часов утра до 8 вечера мы с Ксенией носились по палате, едва успевали быстро проглотить обед. У Курепиной перевязки чередовались с операциями, тоже с 8 часов утра до 8 вечера. На ночь, быстро поужинав, оставалась одна из нас и до поздней ночи заканчивала то, что мы не успели сделать днем. В 8 часов утра приходили на работу две другие сестры, но ночная не уходила и продолжала работать до 8 вечера и, только проработав подряд тридцать шесть часов, уходила домой. Так шла наша работа тридцать шесть часов подряд, затем два дня отдыха и снова тридцать шесть часов с ранеными. Но дела было столько, что об усталости не думали. В такой работе прошло три недели, после чего начали постепенно эвакуировать раненых. Стало легче.

В это время к нам приехал полностью укомплектованный новый состав лазарета. В Петербурге все же обратили внимание на наши жалобы. Меня перевели в Кауфманский, собственный Государыни Императрицы Марии Федоровны госпиталь № 2, стоящий во Львове. Сестру Курепину отозвали в общину. Ксению, по просьбе ее дяди Ильина, председателя Российского общества Красного Креста, перевели в госпиталь в Петербург. Думаю, что он хотел через нее узнать, что у нас творилось. Старшую сестру Большакову исключили из общины.

Что стало с доктором Кюммелем, никто из нас не мог узнать, но нигде в общине он не работал и вообще о нем никто не слышал. Я очень жалела, что пришлось расстаться с Ксенией, тем более что в госпитале я никого не знала. Помещался он в громадном прекрасном здании какого-то учебного заведения и был тоже прекрасно оборудован. Принимали в него только самых тяжелых. Старшим врачом был Вл. Ник. Томашевский — прекрасный хирург, любящий свое дело, но с ужасно деспотическим характером. Все другие врачи оказались очень хорошие и серьезные. Сестер было двадцать одна. Старшая сестра — графиня Бобринская, фрейлина Государыни Марии Федоровны. Она была женой генерал-губернатора Галиции. Ее дочь и belle-fille[3] работали у нас сестрами. Все ее называли не «сестра», а «графиня», ее все уважали, но боялись. Считался с ней даже старший врач и тоже побаивался.

Еще до моего приезда в госпиталь, в самом начале, он ударил санитара. Графиня об этом узнала, вызвала Томашевского к себе и сказала, что она сообщит о случившемся Государыне. Томашевский три дня сидел запершись у себя. Потом, очевидно, все уладилось, и он снова взялся за работу, но больше рук своих не прикладывал.

Графиня жила совсем на особом положении, у нее в гостинице был свой номер, хорошо обставленный; ее автомобиль, реквизированный для войны, был дан госпиталю; ее мобилизованные шофер и лакей были у нас: первый — шофером графини, а второй подавал нам к столу. Автомобилем пользовалась только графиня. Она как будто не работала, но видела все и все держала в руках. Всегда была спокойна, никогда не повышала голоса, кажется, почти не делала замечаний. Да и к чему они: все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все свои силы и душу раненым. Кроме того, все было так налажено, распределено, что каждый наш час, каждый наш шаг были заранее известны.

Этот госпиталь можно сравнить с прекрасно налаженной машиной, и мы являлись ее частицами. Поэтому у нас не было «личной жизни». Между сестрами не было подруг: все обращались друг к другу на «вы», не возникало и ссор. Свободного времени почти не оказывалось, работы же — очень много. Поэтому, хотя в госпитале не встретилось ни одного знакомого, я сразу же вошла в общее течение. Меня поместили в большую комнату, очевидно гостиную директора учебного заведения, где мы стояли. Там еще висели картины, стояли кресла, столики. В этой комнате нас было пять, через нее проходили еще три сестры. У каждой из нас был свой уголок, отгороженный креслами, цветами.

Меня назначили в одну из двух перевязочных второй сестрой. Там уже работала сестра Радкевич. Она хорошо меня приняла и начала обучать. Когда я все постигла, мы стали работать как равные, подавали по очереди и по очереди помогали врачам. Когда приходил перевязывать своих больных старший врач Томашевский, гроза перевязочной, ему всегда подавала Радкевич, а я помогала. Его появления боялись все: как только нам сообщат, что идет Томашевский, все врачи быстро заканчивали перевязку больного и скрывались, больных выкатывали, санитар и мы спешно приготовлялись, все прибирали. Томашевский входил в пустую перевязочную, за ним вкатывали его больного, и начиналось священнодействие. Перевязывал он невероятно медленно, рассматривая рану и подолгу раздумывая над ней, сидя на табурете. Помогая ему, я часто должна была держать на весу раненую руку, ногу, и если, не дай Бог, у меня от усталости дрогнет рука, начинаются дикие крики. Если Радкевич не уловит момента, когда ему подать, или не угадает и подаст не то, о чем он думает, — снова крики. Санитарам влетало не меньше нас, хотя они оба отлично работали. Но зато он работал прекрасно и делал чудеса.

Оперировали три раза в неделю, по утрам. Присутствовали

все врачи, операционная сестра и все четыре перевязочных. Оперировали одновременно на двух столах. Подавали две сестры: операционная — старшему врачу и старшая перевязочная — на другой стол, где оперировал один из врачей. Остальные три сестры были: одна на «барабанах» и две — «на челюстях». То есть первая открывала барабан со стерильным материалом, а другие держали челюсти больного при наркозе. Я обыкновенно держала челюсти у больного, которого оперировал старший врач.

Я никогда после не видела такого священнодействия и такого напряжения у всех присутствующих, начиная с врачей и кончая санитарами: каждое движение было точно рассчитано и изучено. Тишина была полная. Изредка слышались слова оперировавших врачей и звук инструментов, все это иногда прерывалось гневными выкриками Томашевского, который без этого работать не мог: подала ли сестра не совсем тот инструмент, о котором он думал, замешкались на какую-нибудь долю секунды она или ассистент или дрогнула под моими руками трепанируемая голова, Томашевский сердился, кричал — и снова тишина. Держать челюсти при трепанации было мучение, особенно если голова лежала на боку: пальцы затекали и замирали. И как удержать, когда врач начинает долбить? Раза два был случай, когда Томашевский запустил инструментом в очень опытную операционную сестру.

Впоследствии, уже в Константинополе, я была самостоятельной операционной сестрой у профессора Алексинского, который оперировал очень быстро, но как спокойно: никогда не только криков, но даже замечания!

В госпитале мы работали каждый день, с утра до вечера. По окончании перевязок мы могли быть свободны, но они никогда не кончались раньше 7–8 вечера, и поэтому мы не имели свободных часов отдыха. Графиня обратила на это внимание и сказала Томашевскому, чтобы он раз в неделю нас отпускал после обеда. Он согласился. Все врачи в этот день (назначили четверг) устраивались так, что кончали свои перевязки к обеду. Но старший врач регулярно «не успевал», говорил, что придет сразу после обеда и отпустит нас, но большей частью мы простаивали весь день, а он появлялся только к вечеру. Но в конце концов графиня настояла, и нас стали отпускать. Палатные сестры были свободны через день, от двух до пяти, и весь день после ночного, но они были заняты 8-10 часов в день.

Как только у нас снова появилось свободное время, мы стали гулять по Львову и его осматривать. Замечательно красивый, большой европейский город, много зелени, сады, интересный старинный собор. Но чаще всего, если хватало времени, мы

отправлялись на холм Славы, где были похоронены все убитые на войне и умершие в госпиталях. Это довольно высокий холм за городом, склоны его ярко-зеленые, но, когда поднимешься на верх, зелень обрывается и видишь громадное плоскогорье, посыпанное светлым песком, и на нем бесконечные правильные ряды белых каменных крестов. Посредине общий памятник. Содержались могилы прекрасно, но этот контраст, между зеленью подъема и голой равниной с крестами, был потрясающий!

Моя работа в перевязочной мне очень нравилась, тем более что Томашевский, несмотря на его свирепость, как хирург был очень интересен: он все время искал новые методы лечения, старался их улучшить. А когда был взят Перемышль, он в тот же день поехал туда, чтобы в австрийских госпиталях поискать что-либо новое. И действительно, он привез идеальный образец шин для вытягивания ног и рук. Сейчас же заказал для госпиталя. Мы стали широко применять их, с прекрасными результатами, правда, сестрам в палатах работы прибавилось. Но, несмотря на интересную работу, я в перевязочной томилась: не было никакого общения с живыми людьми. Привозили к нам раненых с марлей на глазах, так что мы почти не видели лица. Знали всех по фамилии, но это относилось не к человеку, а к ноге, руке, животу и т. д. Тяжело было еще и потому, что сестры, кроме работы, между собой ничего общего не имели: разговоры только о больных, никто друг с другом не сходился, и, будучи всегда на людях, я чувствовала себя одинокой и мечтала перейти в палату.

Но на Пасху на несколько часов порядок нашей размеренной жизни был нарушен приездом Великого Князя Александра Михайловича и Великих Княгинь Ксении Александровны и Ольги Александровны. Они приехали от имени Государыни Марии Федоровны поздравить всех с праздником и привезли всем больным и персоналу большие фарфоровые яйца Императорского завода. Я получила большое белое яйцо с фиалками и вензелем. Великий Князь Александр Михайлович и Великая Княгиня Ксения Александровна медленно обходили всех больных, разговаривали, расспрашивали. Но Ольга Александровна держалась отдельно. Она с начала войны работала сестрой Евгениевской общины[4], приехала в форме, но вид ее нас поразил — мы все были в полном параде: в своих черных платьях, в белоснежных косынках, кокошниках, белых передниках и крахмальных манжетах. А Ольга Александровна приехала в старом платье, мятой косынке, рабочем клетчатом переднике и в стоптанных желтых туфлях. Когда наши гости уезжали, весь персонал вышел из приворот и окружил автомобиль.

Глава 6. РУКОПОЖАТИЕ ГОСУДАРЯ

9 апреля 1915 года во Львов приехал Государь. Прошла торжественная служба в церкви, мы там были, стояли совсем близко от него и хорошо его видели. Нам сообщили, что Государь решил приехать к нам в госпиталь. Начались страшные волнения и приготовления. Приезд был назначен на 11 апреля. Все было готово к приему. Графиня нас, сестер, учила, как себя держать, делать не реверанс, а поясной поклон, не целовать руку… Но вдруг кто-то приехал и сказал, что Государь неожиданно уезжает и не успеет побывать у нас, — огорчение и разочарование были ужасные, но к госпиталю подъехало несколько автомобилей. Это Государь их послал за врачами и сестрами, чтобы мы могли ему представиться на вокзале и проводить. Мы все уже были готовы к приему, в парадной форме, так что сразу сели и поехали.

Нас провели на перрон около царского вагона, от которого шла дорожка в комнаты, где находился Государь со свитой, туда прошла графиня. Старший врач стал нас устанавливать, вернее, сам остался с врачами, выстроившимися вдоль дорожки, а нам сказал стать за их спинами, что мы покорно и сделали. В это время из царских комнат вышел окруженный офицерами свиты Великий Князь Николай Николаевич. Он посмотрел на нас и приказал, чтобы сестры вышли вперед и стали вдоль дорожки, врачам же сказал отойти назад. Моментально, счастливые, мы, двадцать сестер, сомкнулись в одну шеренгу. Все молчали, но волновались страшно.

Вот из комнат вышел Государь с графиней. Мы низко поклонились. Государь шел медленно, останавливался перед каждой сестрой. Графиня называла фамилию, и он подавал руку. Рядом со мной стояла сестра Раич, у которой была Георгиевская медаль. Он ее спросил, где и когда она ее получила. Дальше стояла очень нервная сестра Юрьевич, она не выдержала и поцеловала руку, Государь ничего не сказал, но слегка ее отдернул.

Затем он встал на площадку вагона, мы толпой подошли ближе и, не отрываясь, на него смотрели. Он был в защитном. Небольшого роста, в гимнастерке, такой скромный, но чудный! Какие у него были глаза — добрые, вдумчивые, но грустные. Когда мы подошли, он сказал: «Благодарю всех вас за вашу работу!» Поезд тронулся, и больше мы его никогда не видели.

Мы долго стояли молча и смотрели на удаляющийся поезд. Но надо было спешить в госпиталь, где не оставалось ни одной сестры. Нас быстро отвезли обратно. Ехали молча, каждая переживала эти незабываемые минуты и в своей руке чувствовала

«Его пожатие». Я боялась до чего-нибудь дотронуться своей рукой; она была не частью меня, а чем-то священным! Мы были в каком-то дурмане, зачарованные. Прошло несколько дней, пока наконец мы не пришли в себя. Грустный взгляд Государя нас преследовал. Мы молились и шептали: «Господи! Помоги Государю!»

В это время началось отступление из Галиции, может быть, поэтому Государь и прервал свое путешествие. Известия приходили все более и более тревожные.

Глава 7. В ПЛЕНУ РАБОТЫ И ТОСКИ

Началась эвакуация раненых, скоро у нас не осталось ни одного. Мы свернулись и ждали отправки в тыл.

Но вдруг пришел приказ трем большим госпиталям — перевязывать раненых на вокзале: с фронта из всех госпиталей, лазаретов, отрядов Галиции спешно эвакуировались раненые. Санитарных поездов не хватало, их грузили в товарные и отправляли к Львовскому вокзалу, подходил один поезд за другим. И там надо было всех перевязывать. Эвакопункт справиться не мог. Ведь пока перевязывали раненых с одного поезда, сзади подавали или уже стоял другой. Нам для работы отвели огромный пакгауз. Там стали работать мы, 5-й Кауфманский госпиталь и Крестовоздвиженский. Последний взял на себя заготовку материала. Мы отгородили помещение, и их сестры, чередуясь, день и ночь готовили материал. Мы же ежедневно чередовались с 5-м Кауфманским госпиталем. Работали мы — половина персонала днем и половина ночью, через сутки менялись. В моей группе перевязочных сестер было две, Радкевич и я. Подавали и перевязывали по очереди, так как рук не хватало. Перевязывали все врачи, все сестры и фельдшер. Помогали перевязочные санитары, остальные носили, держали, прибирали. Стояло восемь столов, и еще многих перевязывали, сидя на скамейках. И сейчас не могу себе представить, как я могла успеть всем подавать, кто-то мне все время подкладывал материал, но успевали все. Инструментов хватало: санитары вовремя их прибирали, мыли и кипятили. С нас требовали, чтобы мы считали, сколько человек было перевязано. Каждый, кто перевязал раненого, сообщал об этом мне или Радкевич, когда подавала она, но запомнить их количество было невозможно. Тогда нам поставили одну банку с горохом и одну пустую, с каждым перевязанным мы перекладывали горошину, а потом все пересчитывалось. Сколько времени мы так работали, не помню, но, думаю, что дней десять.

Наступил день нашего отъезда. Нас погрузили в теплушки и довезли до Киева. Там развернулись в помещении какого-то училища на Анненковской улице. Помещение было гораздо меньше, чем во Львове. Перевязочная была одна, и меня назначили в палату, в офицерскую. Я так мечтала попасть в палату, но, когда узнала, что к офицерам, пришла в отчаяние. Я умоляла графиню назначить меня к солдатам, плакала, но она не согласилась. На меня напал невероятный страх, я боялась, что не справлюсь, что у меня не будет авторитета. Тем более что среди офицеров были и легко раненные, ходячие. Пришлось покориться, вторая сестра была Раич.

Наши палаты находились в отдельном доме во втором этаже. Там же была палата для послеоперационных, особенно тяжелых солдат. В первом этаже жил персонал. Весь же госпиталь находился в главном здании. Надо было перейти через двор. У нас была своя небольшая перевязочная. Помещение очень хорошее: палаты выходили в большой светлый холл, где стоял наш письменный стол и где ночью находилась дежурная сестра. Постепенно я привыкла к своей новой работе, но все же бывало трудно: со многими офицерами у меня установились очень хорошие отношения, но были среди них и капризные, требовательные и недисциплинированные, особенно среди ходячих. Но в общем все они меня любили и не любили другую.

Ночные дежурства были приблизительно на седьмую-восьмую ночь. Они были очень трудные: госпиталь большой и все раненые тяжелые.

Принимая дежурство, от каждой палатной сестры получала записку о том, что надо сделать ночью. А именно: укол камфоры и морфия, следить за пульсом и возможным кровотечением. Все было расписано по часам: одним камфора через три часа, другим через два. За ночь делали по нескольку десятков уколов; пока обойдешь всех, надо начинать сначала. Да еще надо проверять пульс. А когда возможно у кого-нибудь кровотечение, тогда постоянно надо к нему возвращаться и смотреть. В этих случаях, конечно, предупреждался и палатный санитар, который из палаты не выходил и мог следить. За мои дежурства только раз было кровотечение. Когда таковые случались, сейчас же санитар бежит будить врача и операционных сестру и санитаров. Тем временем больного уже вносят в операционную. Инструмент всегда заготовлен с вечера: не проходило и четверти часа, как уже оперируют.

Часов с 5 утра ночная дежурная начинает мерить температуру во всем госпитале, заканчивая своей палатой, где надо еще сосчитать пульс и дыхание, заготовить рецепты и всем

сестрам оставить записки. В своей палате надо сделать как можно больше, так как днем заменяет соседка, которой трудно справиться с двумя палатами. После сдачи дежурства, в 8 часов, чай, ванна и спать. Обед приносили в кровать. После обеда обыкновенно вставали и шли гулять, но прогулки по Киеву доставляли мало удовольствия, там царствовал известный своей свирепостью комендант — генерал Медер.

По закону Красного Креста мы, как фронтовые сестры, не имели права снимать форму, а по закону Медера сестры в форме не могли появляться на улице после 7 часов, не могли заходить в кондитерскую, не могли разговаривать с офицерами. Все, что нам оставалось — бродить одним по улицам или зайти в молочную съесть ягод и простоквашу, и не дай Бог запоздать вернуться домой. Все же раз мы, несколько сестер, рискнули и катались по Днепру на моторном катере с одним из моих легко раненных офицеров.

Мне так понравилось, что после дежурства я еще раз поехала с ним кататься на лодке. Домой запоздали, и пришлось ехать на извозчике, но все сошло благополучно. Это было единственное развлечение за несколько месяцев.

Все томились: ни у кого в Киеве не было ни друзей, ни родственников, куда можно было бы ходить.

Глава 8. ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ ОБЩИНУ

Я стала просить графиню о переводе на фронт, объяснив причину моей просьбы. Графиня сказала, что это зависит не от нее, но от общины, и обещала туда написать. Был получен отказ. Тогда я написала папе и тете Энни (Анне Романовне Гернгросс, нашей любимой мачехе), прося их похлопотать, что если меня не хотят назначить на фронт, то я прошу меня перевести в один из госпиталей Петербурга, чтобы быть со своими, а не в совершенно мне чужом городе, тоже в тылу.

Папа пошел к старшей сестре общины — Филипповой, она обещала попросить баронессу, но баронесса отказала. Помимо того что я твердо желала уехать из Киева, меня возмутило такое отношение: я чувствовала себя как в плену и продолжала настаивать на переводе. Накануне графиня сказала, что в Киев приезжает баронесса и она просила ее меня принять. Мне была дана аудиенция. В назначенный час я пришла на квартиру к баронессе, но меня заставили ждать около часа. Наконец впустили пред ее «светлые очи»!

Она лежала в спальне на широкой кровати, вся завернутая цыганскими шалями (баронесса по происхождению была

цыганка), она не дала мне сказать ни одного слова, долго отчитывала и отпустила.

Что мне было делать? Я настолько оскорбилась и возмутилась, что уступить уже не могла!

В первый выходной день я пошла к главноуполномоченному Юго-Западного фронта, сенатору Иваницкому. Он меня очень хорошо принял, выслушал, сказал, что я права. Я его попросила меня откомандировать в Петербург. Он мне сказал, что с любым врачом, сестрой, санитаром любого госпиталя или лазарета он может это сделать, но что с кауфманской сестрой — нет.

По своей должности он может и с удовольствием выдаст мне все бумаги, но баронесса так сильна, что на первой станции меня арестуют жандармы и привезут обратно: бороться с баронессой он не в силах. Я была не только в отчаянии, но страшно зла и возмущена.

Через силу продолжала работать, но недели через три приехала новая сестра, чтобы меня заменить. Я с радостью готовилась к отъезду, но меня и тут не оставили в покое, графиня несколько раз меня вызывала к себе и уговаривала остаться. Когда она увидела, что я не уступаю, направила меня к старшему врачу. Он долго меня уговаривал и на мой отказ остаться сказал, чтобы я еще подумала и дала на другой день ответ. Снова уговоры, и, когда я снова отказалась, он разозлился, едва попрощался, но я была свободна и скоро уехала.

Меня откомандировали в общину для получения нового назначения. Но я была так обижена и зла, что решила из общины уйти.

В Петербурге я явилась к старшей сестре. Она начала меня отчитывать, но я ее перебила и сказала, что в общине больше не остаюсь, отдала книжку и на другой день прислала вещи.

Узнав мою историю, Ксения Исполатова, которая все время просилась на фронт и ей отказывали, также вернула книжку и вещи, и мы решили вместе перейти в Общину св. Георгия[5], куда уже перешло много кауфманских сестер, не выдержав тирании баронессы.

Георгиевская община кауфманских сестер принимала с распростертыми объятиями. Мы туда отправились. Попечительница, графиня Шереметьева, нас хорошо приняла, выслушала, обещала принять.

Через некоторое время мы получили вызов явиться в форме Георгиевской общины (коричневое платье с пелериной и круглая косынка) для получения книжки.

С нами вместе пришло человек двадцать сестер, которые окончили курс в общине. Каждую по очереди вызывали к графине

и давали книжку, мы остались последними. И нас не вызывали. Ждали довольно долго и стали волноваться. Наконец вызвали Ксению. Она долго была у графини. Но вот она вышла с книжечкой, потом и я тоже получила.

Ксения мне потом рассказала, в чем дело: графиня ей сказала, что баронесса узнала, что нас обеих принимают в Георгиевскую общину и как раз в этот день написала, что если нас примут, то она будет жаловаться Императрице. Графиня объяснила, что она так много приняла кауфманских сестер, что баронесса решила положить этому конец. Графиня стала расспрашивать Ксению, кто мы такие, кто наши родители и т. д. Узнав все, она выдала книжки и сказала, чтобы мы не волновались, что она все устроит.

Нас зачислили в резерв Северо-Западного фронта. Сначала мы жили дома, так как нам сказали, что сразу назначения не будет.

Итак, я сделалась сестрой Общины св. Георгия, но кауфманская печать осталась навсегда. В Великую войну[6] это не было заметно, и я стала забывать, но в Добровольческой армии с самого начала меня всюду назначали с кауфманками. Когда я говорила, что я георгиевская, мне в Управлении отвечали, что, хоть я и перешла в другую общину, я все же кауфманской школы. Я не протестовала, так как попадала почти всегда в свою среду и часто к знакомым сестрам.

Перешла я в Георгиевскую общину осенью 1915 года, 19 сентября. Первое время я с удовольствием отдыхала после года работы. Виделась со всеми родственниками и друзьями, несколько раз была в опере, в наш абонемент, но постепенно все больше и больше меня тянуло работать. И когда Аня Думитрашко попросила меня несколько раз подежурить ночью в Николаевском военном госпитале, где было мало сестер, я с радостью согласилась.

Николаевский госпиталь работал, как в мирное время: там сестер не полагалось. Аню Думитрашко родители не пустили на фронт, она же не захотела работать в фешенебельных петербургских лазаретах, где лежали почти всегда легко раненные, окруженные дамами-патронессами. Она сговорилась с тремя сестрами Султан-Шах, и они предложили свои услуги в Николаевский госпиталь.

Работали там все время, и работы было много. Потом туда пришло еще несколько сестер.

Наконец в декабре 1915 года Ксению и меня вызвали в резерв сестер. Мы туда переехали и в конце декабря получили назначение в Житомирский этапный лазарет, стоявший в

Вольмаре, в Латвии.

Глава 9. ЖИТОМИРСКИЙ ЭТАПНЫЙ ЛАЗАРЕТ

В самых первых числах января 1916 года мы поехали. Лазарет помещался на окраине города, на опушке большого леса, у самой реки Аа. Это было помещение Учительской семинарии. Лазарет был небольшой, и мы только занимали небольшую часть. В семинарии занятия продолжались.

Встретили нас в лазарете хорошо: дали на нас двоих отдельную комнату, но быстро и мы, и персонал лазарета поняли, что не сойдемся: слишком мы были разные и друг другу чужие. Весь персонал лазарета — два врача, жена старшего врача и четыре сестры — был из Житомира. Все они были дружны между собой, у них были общие интересы и одинаковое отношение к работе. Они были профессионалы, работали, как чиновники. Сестры — три общинских, две из них уже пожилые, наконец, молоденькая полька была сестрой-хозяйкой. Кормила очень однообразно и удивительно невкусно. Часто какими-то польскими блюдами.

Лазарет был полон ранеными и больными, почти все лежачие, но особенно тяжелых не было. Мы сразу взялись за работу, так, как мы ее понимали, — работать хорошо нам не могли запретить, но сестрам, даже старшей, это не понравилось: они привыкли себя не утруждать. Делали все необходимое, но ранеными не интересовались: кончив все назначения, усаживались отдыхать, а ночью, уткнувшись где-нибудь в уголку, просто спали. Мы же обе работали по-кауфмански — если не было дела, его находили: часто читали солдатам, что-нибудь рассказывали, писали для них письма. На свое жалованье покупали им леденцы, папиросы. Некоторых солдат помню и сейчас. Было два молоденьких совсем, с мокрыми плевритами. Совсем дети! С ними мы особенно возились, они нас слушались, нам верили и всегда при выкачиваниях жидкости просили, чтобы одна из нас их держала.

В моей палате лежал контуженный солдат Иван, фамилию не помню, он лежал тихо, как будто без сознания. Потом стал постепенно понимать, что от него хотели. А потом и то, что ему говорили, но сам еще не произносил ни слова — был немой. Я постоянно к нему подходила, что-то рассказывала, он с удовольствием слушал и жестами старался объяснить, что ему надо, и всегда следил за моими глазами. И вдруг он стал издавать какие-то звуки и со страшным усилием закричал: «Сестрица!» — и потом долго все повторял, точно хотел

запомнить. За этим первым словом сказал другое, тоже часто повторяющееся в палате, за ним третье. Я поняла, что он говорить может, но забыл слова. Стала с ним заниматься, учить его разным словам. И то слово, которое он раз сказал, он уже не забывал. Так я научила его говорить, и, когда он выписался, он мог разговаривать.

С санитарами у нас установились прекрасные отношения, и мы им вполне доверяли: санитары были не только наши подчиненные, но и друзья! Сколько раз на ночном дежурстве, когда все спят, все тихо, подходит санитар, присаживается на пол около моего стула и начинает рассказывать про свою деревню, про свою семью. Часто мы им писали письма домой, а иногда доходило до того, что они приходили с нами советоваться.

Раз на моем дежурстве санитар принес письмо от жены, где она писала, что одна не справляется с хозяйством, что ей предлагают в помощь пленного немца, и спрашивала мужа, что ей делать. А он пришел за моим советом: с одной стороны, жена не справляется, а с другой — можно ли впустить немца в дом?! Он очень волновался! Но что молоденькая петербургская барышня могла посоветовать женатому мужику? Что я ему говорила и к чему мы пришли, я не помню.

И санитары и больные нас обожали: все выписавшиеся больные нам писали письма. На конверте было обыкновенно написано: «Двум сестрицам петроградским». Бывали письма очень трогательные, особенно от уссурийских и амурских казаков, которые писали свои письма так: «Лети, мой листок, на Дальный Восток и никому в руки не давайся, как только моей сестрице милосердной!» Часто бывали наклеены картинки, голуби, незабудки… Мы на каждое первое письмо отвечали, но, когда получали по второму, отвечали уже не всем, и только с некоторыми переписка продолжалась. Мы хранили все письма, и у нас их набралось несколько больших пачек.

Врачам и сестрам и наша работа, и обожание, которое нас окружало, очень не нравились, особенно сестрам: они поневоле должны были больше работать и страшно нам завидовали. Никаких ссор не возникало, но они нас не любили. Из лазарета нас откомандировать не находилось причин, и они решили от нас избавиться хоть у себя в помещении, поэтому нас из здания лазарета перевели в отдельный домик, где у нас была чудная большая комната. Окно выходило в парк, где стояли большие русские качели. Мы этому переселению очень порадовались: жили совсем одни. По вечерам летом, сняв форму, в капотах летали на качелях. Еще зимой мы из Петербурга выписали коньки и ходили на городской каток, а иногда просто на речку Аа.

Так как ночные дежурства приходились на четвертую ночь, у нас было много выходных дней, к тому же мы все по очереди на неделю освобождались от палаты и хозяйничали. Поэтому времени для себя было достаточно. Мы с Ксенией взяли напрокат рояль, вернее старинный клавесин, нашли учительницу и стали брать уроки. Вечерами играли в четыре руки. Жили очень дружно, но иной раз и крепко ссорились.

Главные ссоры происходили из-за ее вечных влюбленностей — через год войны она осталась такой же наивной и увлекающейся институткой: всегда была в кого-то влюблена, ждала предложения — я вмешивалась, она сердилась, и получались ссоры. После разочарования — слезы, отчаяние, — и мы живем снова в мире. Но это происходило только у нас в комнате: на работе мы были всегда одинаково дружны.

Летом мы познакомились с двумя кавалерийскими офицерами (конского запаса), которые с лошадьми почему-то стояли недалеко от нас, мы несколько раз катались с ними верхом.

Все сестры по очереди по неделе бывали хозяйками. Произошло это так: кормили нас удивительно невкусно и однообразно, нам обеим это не нравилось, мы ворчали, а Ксения, как всегда, громко выражала свое неудовольствие. Раз как-то старший врач на это рассердился и объявил, что если мы недовольны, то будем тоже хозяйничать (поэтому у нас были свободные дни и часы). Ксения обрадовалась, она любила это дело и кое-что в нем понимала, я же впала в полную панику, но Ксения обещала мне помогать.

Первой сестрой-хозяйкой назначили ее, и справилась она прекрасно, хотя повара у нас не было, а только простой кашевар. На сладкое Ксения каждый день делала мороженое, и каждый раз новое. Обходилось оно недорого, и она из бюджета не вышла.

После нее хозяйничала я, которая ничего не умела. Ксения из палаты прибегала учить меня делать котлеты. У меня мороженое было тоже каждый день. Всем наш стол понравился, и остальные сестры стали повторять наше меню. Кормиться стали хорошо!

Раз как-то летом в лазарет пришло приглашение на Concours hippique[7] от Нерчинского казачьего полка, стоявшего недалеко от нас. Им командовал генерал Врангель. У нас заволновались, и все хотели туда попасть.

Но все было решено без нас: запрягли лазаретную коляску, в нее сели старший врач, его жена, три сестры, и они уехали. Остались в лазарете дежурная сестра и мы две, которые в этот день были свободны. Но нам безумно хотелось тоже попасть на конкур. Недолго думая, мы пошли быстрым шагом по тропинкам.

Успели к самому началу.

Встали около изгороди, довольно далеко от палатки, где был Врангель, его штаб и офицеры. Наши лазаретные стояли недалеко от них.

Прошло два или три номера, как к нам двоим подошел офицер и сказал, что командир полка и его жена просят нас перейти к ним. Мы сейчас же пошли. Проходя мимо наших, мы увидели их изумленные недовольные лица.

Бароннеса Врангель встретила нас очень приветливо, познакомила со всеми. Там мы досмотрели все до конца. А затем нас пригласили закусить и выпить чай. Довольные и счастливые, мы вернулись домой, где нам никто ничего не сказал. Все сделали вид, что нас не замечают.

Через несколько дней к лазарету подъехала баронесса Врангель. Старшая сестра бросилась ее встречать и стала приглашать войти, но баронесса ответила, что она приехала отдать визит сестрам Исполатовой и Варнек и просит нам об этом сказать. Нас вызвали, и мы в саду втроем сидели и разговаривали. Мы вначале не понимали, почему к нам такое исключительное внимание. Но потом сообразили: у нас все время лежали больные казаки, многие потом возвращались в полк. Это, конечно, они нас расхваливали, как могли, рассказывали и об остальном персонале.

Вскоре нас перевели ближе к Риге, на станцию Лигат. Стоянка пустынная, без зелени. Стали понемногу получать раненых. Запомнился один: он, по-видимому, был контужен. Лежал с дикими, широко раскрытыми глазами и, как только кто-нибудь войдет в его палату, пронзительно свистел. Такой свист я никогда ни раньше, ни позже не слышала. Пролежал он у нас несколько дней и скончался. Наши врачи ничего не понимали в его состоянии и решили сделать вскрытие, мне разрешили при этом присутствовать. На меня оно произвело удручающее впечатление.

Мы узнали, что недалеко от нашей станции находится так называемая Ливонская Швейцария. В один из свободных дней мы туда отправились. Там было поразительно красиво и интересно. Местность сильно холмистая, вся в лесах и перелесках, а на остроконечных вершинах холмов стоят старинные замки. Мы пошли осматривать Зегевольд, принадлежавший княгине Кропоткиной, урожденной баронессе Рихтер. На срезанной вершине отвесной горы мы увидели развалины старинного громадного замка. Стояли части стен, башен. От него открывался вид далеко кругом и на другие вершины, где находились замки других рыцарей. Около развалин в Зегевольде стоял замок более

новой постройки, гораздо меньше и ничего интересного собой не представляющий. Это, вернее, был громадный каменный дом, там до войны постоянно жили Кропоткины.

Глава 10. ТЯЖКИЕ ДНИ В РИГЕ

4 июля 1916 года к нам приехал из Риги грузовик с приказом немедленно командировать в распоряжение главноуполномоченного Северо-Западного фронта одного врача, двух сестер и десять санитаров. Сейчас же все были назначены. Поехали младший врач, санитары и мы две. Местные сестры были рады от нас избавиться. Собрались быстро. Вещей почти не взяли, уселись на грузовик и поехали. Зачем, почему, никто не знал! Спрашивали шофера, но он смог нам сказать только о том, что под Ригой были большие бои. А зачем нас вызвали, он не знал.

В Риге заехали в Управление Красного Креста, и нас сразу же направили в приемник Красного Креста, находившийся в огромном здании семинарии.

Там нас встретила симпатичная старшая сестра. Она нам объяснила, что потери в последних боях страшные. Все госпитали переполнены, санитарных поездов не хватает и поэтому приемник завален ранеными. Из всех лазаретов Рижского района были вызваны спешно врачи, сестры и санитары — для работы в нем.

Раненых было столько, что не только коридоры, но и площадки широкой лестницы были полны. Привезли их недавно, и надо было наладить спешно работу. Нас обеих старшая сестра назначила в два больших широких коридора на одном и том же этаже. Раненые лежали большей частью прямо на полу. Кое-кто на носилках. Мы должны были всех обойти и сообщить о более тяжелых, которым спешно нужна перевязка. Поили их водой и старались получше уложить.

Но прошло не больше часу, как вернулась старшая сестра и сказала, что перевязочная готова, начались перевязки и там работают две сестры, но нужны еще две, так как работа будет идти без перерыва день и ночь, а кроме того, необходимо найти и операционную сестру: из всех присланных (около сорока) сестер она нашла лишь только двух перевязочных, которые сейчас работают, и ни одной операционной. Это и понятно, так как ни один госпиталь своей операционной и перевязочной сестер не пошлет. К нам старшая сестра обратилась в последнюю очередь. Мы сказали, что мы обе перевязочные сестры и помогали в операционной. Ксения сказала, что она несколько раз заменяла операционную сестру. Старшая сестра страшно обрадовалась и сказала, что назначает нас, но Ксения запротестовала, сказав, что

она самостоятельно никогда не работала, опыта у нее нет и что она не может взять на себя такую ответственность. Но выхода из положения не было: надо оперировать, а сестер нет, и ей пришлось согласиться. Но она поставила условие, что я всегда буду ей помогать и что все наши санитары будут назначены в перевязочную и чтобы ни одного постороннего санитара там не было: мы своих людей знали и им можно доверять, с ними мы будем спокойны, что все будет чисто, инструмент будет действительно хорошо вымыт, прокипячен и что в наше отсутствие ничто не будет переставлено и никто не дотронется до стерильного материала.

Старшая сестра согласилась и повела нас в «святая святых». Там уже шли перевязки. Старшая сестра представила нас старшему врачу, доктору Фовелину, известному в Риге хирургу, имевшему там свою клинику.

Ксения ему откровенно сказала, какая она неопытная операционная сестра и что она боится, что не справится. Фовелин ее ободрил и сказал, чтоб она не стеснялась обращаться к нему с вопросами. Сейчас же мы сговорились с двумя другими сестрами о распределении дежурств. Мы должны были работать в две смены и, чтобы не работать одним всегда ночью, а другим днем, мы устроились так: проработавшие ночью с 8 вечера до 8 утра должны были после смены уходить отдыхать, обедать в час и возвращаться на работу — до 8 часов вечера, когда другая пара после ужина приходит на ночное дежурство. Первая смена идет ужинать, спать и к 8 утра снова на работу.

Распределено было хорошо и точно, но на деле получилось совсем иное. Когда мы начали работать в перевязочной, было уже довольно поздно вечером, две другие сестры ушли. На перевязках все время подавала я. Ксения сначала все осматривала, разбиралась в инструментах, а затем, когда все изучила, стала помогать врачам при перевязках.

Когда Фовелин объявлял, что начинается операция, Ксения шла на свое место, а я ей помогала. Во время первой операции мы очень волновались, но все сошло благополучно, и мы стали смелее. Операции чередовались с перевязками, ночь прошла быстро, но, когда утром другие сестры пришли нас сменять, мы уйти не могли, так как в это время шла операция.

Когда наконец она закончилась, мы спустились пить чай. Но не успели встать из-за стола, как за нами прибежали и сказали, что нас ждут на операцию.

Мы побежали, но за одной операцией последовала другая, третья… Перевязочная была очень большая, и в другом ее конце перевязки делали две другие сестры. Если все врачи были заняты

у нас, то их сестры шли в находящуюся рядом материальную готовить материал. Это лежало тоже на нашей обязанности. И так мы проработали весь свой отдых, едва успев сбегать пообедать, и вступили в собственное дежурство. Другие две сестры свое свободное время работали в материальной. Ночью мы должны были быть свободны, но операции шли одна за другой. Едва успевали передохнуть от одной, как начиналась другая.

Мы решили не уходить, сидели в материальной и крутили шарики или делали тампоны и т. д. Так шли сутки за сутками. Днем, если бывала свободная минута, мы шли в сестринскую комнату. Эта была большая проходная комната среди госпиталя, где стояли шесть или семь чистых носилок. Мы приходили туда, бросались, в чем были, на носилки и засыпали, пока не приходили нас звать снова наверх. Несмотря на то что сестер было около сорока, всегда мы находили свободные носилки. На двух-трех спят какие-то сестры, а часто и все места были не заняты. Но туда мы ходили только днем, так как это было далеко. Ночью сидели в материальной, тем более что надо было все время заготовлять материал. Раз ночью мы сидели с Ксенией и работали. Я сидела на краю большого ящика, наполовину наполненного ватой, и что-то делала. Через сколько времени — не знаю, но я проснулась. Из ящика торчали мои ноги и голова.

Хотя наша перевязочная была хорошо оборудована, инструмент для операций весь был, но не было дубликатов. Много пришлось делать ампутаций, и кончилось тем, что пила иступилась. Спешно послали ее поправить и попросили на складе Красного Креста другую. Но там ответили, что раздали все, что у них было. Хотели купить, но тоже не нашли. Послали санитара с запиской по госпиталям с просьбой одолжить — во всех госпиталях отказ: нужна самим! Что было делать? У нас должна была быть спешная ампутация. Тогда Ксения побежала сама в ближайший госпиталь. Ей обещали дать, но сказали подождать, так как у самих идет ампутация. Когда операция закончилась, пилу Ксении дали, но с условием, что, как только мы закончим, немедленно им вернуть.

Эти дни в Риге были кошмарными. Такая чудовищная работа длилась две недели. На третью наших раненых стали эвакуировать, работать стало легче: по ночам уже почти не оперировали, и мы через ночь могли почти всегда уходить. Сестры стали разъезжаться, нам дали комнату на двоих, где у каждой было по кровати.

К концу третьей недели работа стала нормальной. Эвакуация продолжалась, и со дня на день мы ждали окончания нашей командировки. Но в ночь на 24 июля у Ксении сделался

сильнейший приступ аппендицита. Доктор Фовелин ее осмотрел и сказал, что надо немедленно оперировать в его клинике. Я ее туда перевезла, и, не теряя ни минуты, Фовелин ее прооперировал. Я присутствовала на операции. Ее положили в чудную отдельную комнату. Ухаживала прекрасная сестра Рижской общины. На ночь я уходила, но днем просиживала там.

Ксения быстро поправлялась. Работа в приемнике кончилась, и нам дали месячный отпуск.

Я отвезла Ксению в имение ее матери под Петербургом и поехала к своим родителям в наше имение в Туапсе. Приехала туда 9 августа, чудно провела там время.

2 сентября мы обе явились в Управление в Риге. В наш лазарет мы вернуться не могли, так как туда уже назначили других сестер. Мы немного жалели, так как там нам жилось хорошо.

Так как на Рижском фронте работы не было, нас откомандировали в резерв в Петербург, куда мы прибыли 5 сентября.

Нас тянуло больше на Юго-Западный фронт, так как на севере мы не видели возможности устроиться в передовой отряд, да еще вместе.

Нас из резерва откомандировали в общину, и оттуда 15 сентября нас перевели на Юго-Западный фронт, в резерв в Киев, для получения назначения в отряд. Мы уехали 18-го, 20-го явились в резерв и получили назначение в Рижский передовой отряд, организованный на средства прибалтийского дворянства.

Начальник отряда был князь Кропоткин. Отряд был очень большой — лазарет, конные летучки, конный и автомобильный транспорты. Его штаб находился в вагоне в тылу отряда. Там жил и сам князь. К нему мы явились 23 сентября на какой-то станции в Галиции, и он нас отправил в Монастержиск в Галиции.

Часть вторая. КОГДА ФРОНТ РАЗВАЛИВАЕТСЯ

Глава 1. РИЖСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД

Осенью, 29 сентября 1916 года, Ксения Исполатова и я были назначены в Рижский передовой отряд Красного Креста, в Галицию.

Отряд мы нашли в Монастержиске. Встретили нас хорошо, и мы быстро со всеми подружились. Совсем случайно мы узнали, что недалеко от отряда стоял авиационный дивизион, которым командовал двоюродный брат Ксении — Ильин, а одним из летчиков был его брат. Мы сейчас же отправились туда, решив, что обязательно будем летать. Ксения до того затормошила Ильина, что он сказал, что ничего не хочет знать об этом, не имеет права разрешить нам летать, и уехал.

На другое утро мы явились очень рано, и один из летчиков нас по очереди «покатал» на малюсеньком открытом аппарате. Нас крепко прицепили ремнями, и мы как бы повисли в воздухе. Страшно не было, переполняло только чувство гордости — быть выше всех и смотреть на маленькие домики и автомобили как на букашки.

Вскоре после нашего приезда в отряд его перевели в Киев; стояли мы в лагере на Сверце, жили по две в маленьких офицерских домиках. Так как отряд носил имя Государыни Императрицы Марии Федоровны, нам пожаловали ее вензеля. Мы, сестры, носили на левом рукаве серебряный шитый вензель на малиновом сукне. В это время Государыня была в Киеве и сообщила, что приедет осматривать отряд. Началась лихорадочная подготовка к параду; наконец состоялась генеральная репетиция, все было замечательно красиво и торжественно: начальник отряда, князь Кропоткин, скакал на белом коне! Проходили конные летучки, лазарет, два автомобильных транспорта. Все заново отремонтировано, везде вензеля. Радовались и волновались, в ожидании самого парада. Но Государыня заболела, и парад не состоялся.

Перед Рождеством мы обе и часть отряда были спешно отправлены в Румынию, в Текуч. Рождественскую ночь мы провели, сидя в тесном купе вагона, у окна стояла елочка, которую мы взяли из Киева.

Мы приехали в Текуч в самый разгар отступления румынской армии. Когда мы со станции добирались к месту нашего

жительства, навстречу шли толпы солдат, ехали офицеры, многие из них сидели на возах с мебелью и вещами, ничего общего с военными не имеющими. Многие кричали, чтобы мы бежали!

На другой день мы начали помогать в одном русском госпитале, переполненном ранеными. Ходить было довольно далеко. Жидкая грязь заливала улицы, и мы могли пробираться только благодаря большим сапогам, а сестру Мару Сильвень санитары перетаскивали на руках, так как у нее не было сапог. Проработали мы там всего несколько дней, а затем нам сообщили, что приходит с фронта санитарный поезд и мы должны перейти на него. Это оказался румынский санитарный поезд «Trenul Sanitar Trizeccinove»[8] — одни теплушки без печек, дачный вагон-кухня и два классных для персонала: один дальнего следования, но со всеми разбитыми окнами, конечно, без отопления, и другой — маленький, дачный, с открытыми площадками, без уборной и, конечно, совсем холодный. 31 декабря все было приготовлено к отправке на поезд: чемоданы уложены, все в пальто, елочка на столе. Стоя дождались 12 часов ночи, выпили по стакану вина и пошли грузиться.

В это время нагрянули морозы. Поезд, который пришел с фронта, был переполнен ранеными, исключительно русскими, лежащими прямо на полу. Их не сопровождал даже санитар!

Работать начали дружно: первое — это убрали умерших от ран и замерзших; доставали и подкладывали солому, постепенно поставили печки, делали нары… Рейсы были очень тяжелые: сильнейший мороз, часто пути заносило снегом. Спали, не раздеваясь, в спальных мешках. Воду для умывания оттаивали на примусе. Часто бывали крушения, но, слава Богу, небольшие: рвался поезд, скатывался вагон под откос, в последний момент останавливались перед провалившимся мостом… Но всегда все кончалось благополучно. Больше всего пережили во время рейса Текуч — Галац — Рени и обратно по Серету вдоль линии фронта, где мы должны были подбирать раненых. На обратном пути, между Рени и Галацом, попали под страшный обстрел из тяжелого немецкого орудия. Поезд шел совсем медленно по насыпи, с двух сторон болото. С левой стороны, за болотом и рекой, горы, откуда стреляли немцы. Мы им были хорошо видны. Каждый раз, как днем проходил поезд, его обстреливали. Накануне был разбит паровоз, и мы видели его лежащим под насыпью и рядом убитого человека, которого еще не успели убрать. Снаряды рвались то с одной, то с другой стороны полотна. Громадные столбы воды и грязи взлетали кверху. Мы, сестры, все трое сидели вместе. Было жутко, но красиво! Санитары, румыны, все убежали под насыпь, и многие на поезд

больше не вернулись. Наша кухонная команда, русская, лежала под плитой с кастрюлями на головах!!! Один снаряд разорвался на самой насыпи, и осколками убило одного и ранило другого пассажира, которые ехали на площадке «зайцами». Проехав опасное место, мы вздохнули, но на вокзале Галаца, который все время обстреливался, было «жарко»: пробило одну теплушку.

Мы, три сестры, были представлены к Георгиевской медали. Начальник отряда через некоторое время нас поздравил, сказав, что на днях получим бумаги, но из-за начавшейся революции мы их не получили.

Вечером мы двинулись дальше, так как вдоль фронта надо было проехать ночью. Но среди ночи наш сестринский вагон, с длинными ступеньками вдоль всего вагона, зацепился за снег и оторвался от передней части состава, который без нас укатил дальше. Волнение, конечно, страшное: полпоезда стояло в беспомощном состоянии, а утром должен был начаться обстрел, но машинист на какой-то станции узнал о своей потере и успел вернуться за нами.

В начале февраля 1917 года Ксения и я заболели сыпным тифом. Лежали в Яссах — в Евгениевском госпитале, в отдельной комнате, за нами ухаживали наши сестры и мать Исполатовой, приехавшая из Петербурга. Тиф был не тяжелый. Больными, в полусознательном состоянии, мы узнали об отречении Государя. Были очень подавлены, плакали. Ксения все вскакивала, становилась на колени и твердила: «Боже, спаси Государя!» Все в отряде были убиты этим известием, одна только сестра, Ася Языкова, казанская помещица, пришла от него в восторг, спорила со всеми, очень скоро бросила отряд и уехала к себе в имение — «делить землю».

Мы начали поправляться. Революция еще не чувствовалась. Наш отряд стал тут же, в Яссах, где его силами формировался прекрасный санитарный поезд, из пульмановских и международных вагонов. Старшей сестрой должна была быть Великая Княгиня Виктория Федоровна, сестра румынской королевы. Нас обеих из госпиталя перевели в поезд, и каждый день на двуколке мы уезжали за город в Соро, где стояла одна из летучек. Там мы набирались сил, дышали чудным воздухом и запахом сирени, которой было множество. Кроме поезда, отряд организовал около вокзала питательный пункт для румынского гарнизона: все солдаты там голодали, тиф свирепствовал и смертность была ужасающая. Мимо нашего поезда каждый день проходил грузовик с трупами солдат.

Питательный пункт был устроен в двух громадных палатках, в которых стояли столы со скамейками. Пища варилась в поезде

— жирный густой суп с куском мяса, каша, хлеб.

На открытие прибыла сама королева со всей свитой. Одета очень скромно, во все черное. Но офицеры свиты произвели ужасное впечатление: затянутые в корсеты, напудренные и даже с подмазанными губами!

Пищу разливала я: все было приготовлено прекрасно, но забыли длинную разливательную ложку (черпак), поэтому я черпала кастрюлей, вследствие чего первые солдаты получили довольно жидкий суп.

Королева немного опоздала, и, когда я ей дала пробу, у нее оказался чудный густой суп, который она очень похвалила. Потом обошла столы, внимательно рассматривая, и, когда вернулась ко мне, смотрела, как я разливаю. Наконец улыбнулась и сказала: «Теперь я поняла — у вас нет разливательной ложки!» Говорила она с нами по-французски. На другой день ложку достали!

На Св. Пасху наш отряд был приглашен в собор на королевскую заутреню. Весь собор был заполнен войсками. Публики не было. В первом ряду перед румынскими солдатами стояли мы. Перед нами — большое пространство, где по бокам на возвышении стояли: налево — королева, принцессы и ниже ряд придворных дам; направо — король, министры и придворные. На одном клиросе — представители всех союзников, а на другом — наши русские офицеры. Служба была очень торжественная, но больше напоминала театр. К кресту король не подошел, а все духовенство торжественно подошло к нему, и митрополит или епископ (не помню) дал королю приложиться, передал ему другой крест и подошел к королеве. Потом все придворные и офицеры-союзники гуськом прошли по середине церкви, останавливаясь и кланяясь королю и королеве, подходили к королю, и он давал им целовать крест. Ни мы, ни солдаты к кресту не прикладывались. У нас у всех создалось впечатление, что служба не Богу, а королю.

Вскоре после этого в отряде начались беспорядки, появился какой-то комиссар, прапорщик Куровский, грозил арестами.

Все же мы двинулись в Марашешты, ехали в новом санитарном поезде, погода была чудная, почти всю дорогу сидели на крыше вагона, куда санитар нам раз подал чай. Правда, ехали медленно. Думали работать, но дела становились все хуже и хуже. Постепенно все начали разъезжаться. (Ксения уехала раньше, вскоре после выздоровления, — 30 апреля 1917 года.) Я же — с одной из последних групп. Очень трудно было расставаться с родным РИЖОТом (Рижским передовым отрядом), который мы так любили и где так дружно жили и работали.

Глава 2. С ВОЕННО-САНИТАРНЫМ ПОЕЗДОМ

По возвращении в Петербург (9 мая 1917 года) вскоре мы обе с Ксенией получили назначение в госпиталь на Васильевском острове в помещении Патриотического или Елизаветинского (забыла) института. Жили мы там, у нас была хорошая отдельная комната. Сначала и работа, и наша жизнь шли довольно нормально. В это время «царил» Керенский, он говорил речи о продолжении войны, призывал всех идти на фронт!

Все больные и раненые госпиталей, которые могли ходить, устроили грандиозную манифестацию, дефилировали по улицам в сопровождении своих сестер. Много плакатов с надписями: «Залечим свои раны и вернемся на фронт!» Публика вокруг смотрела с восторгом и умилением: давали папиросы, деньги, которые сестры собирали в фуражку. Каждая из нас шла сбоку, около своих больных, шедших рядами. Но очень скоро после этого начался развал: сестер стали притеснять, кормить отвратительно, вследствие чего Ксения заболела дезинтерией. Ее увезли домой. Я оставаться одна была не в состоянии, ушла тоже (27 сентября 1917 года), но скоро получила назначение в 604-й военно-санитарный поезд, бывший Великой Княгини Марии Павловны-младшей; надпись была замазана краской, но просвечивала на всех вагонах.

Меня назначили перевязочной и операционной сестрой и поместили жить в перевязочный вагон, прекрасно оборудованный. Весь громадный вагон был занят перевязочной, и только с одной стороны — маленькая стерилизационная, а с другой — мое полуторное купе и моя уборная. Против моей двери в коридоре — телефон: в вагон команды и персональский. Я была полная хозяйка в своем вагоне и совсем одна, чему страшно радовалась. Персонал поезда был мне совсем незнаком, все они сжились между собой, и общего у меня с ними ничего не было. Мое купе я очень уютно устроила и любила там сидеть. Только когда немного позже к нам назначили Юлю Думитрашко (двоюродную сестру Ани Думитрашко), она часто приходила ко мне. В персональский вагон я заходила только для того, чтобы поесть. Даже не помню сестер. Старший врач — еврей Цацкин, прекрасный врач, очень энергичный, и с ним приятно иметь дело. Он часто приходил в перевязочную, работал быстро и умело. Был требовательный, но у нас с ним были прекрасные отношения. База нашего поезда была Великие Луки: стоянка унылая! Станция далеко от города, который был больше похож на большое селение. Дороги до города во время дождей почти непроходимы. Мы редко выходили из поезда, часто сидели без дела, ожидая вызова.

Боев почти не было: фронт разваливали! Когда нас вызывали

грузиться, мы получали очень легко раненных, а больше всего симулянтов. Рейсы совершали от Режицы, немного дальше и обратно в Петербург, через Псков, или на Москву.

Раз в Москву прибыли на другой день после большевицкого переворота. Мы ничего не знали. Разгрузились и пошли гулять. Мы знали, что накануне были стрельба, беспорядки, но не обратили на это никакого внимания. Я, как всегда, пошла одна. Решила посмотреть Кремль. Прошла Красную площадь, вхожу в ворота, меня останавливает часовой и спрашивает пропуск, которого у меня, конечно, не было, да я и не поняла, в чем дело. Объяснила человеку, что я приехала с санитарным поездом и хочу осмотреть Кремль, поэтому прошу меня пропустить. Солдат оказался симпатичным, на мое счастье. Он мне ответил: «Сестрица, впустить-то тебя я впущу, а оттуда тебя не выпустят. Уходи-ка лучше поскорее!» Тут только я начала соображать, что дело неладное, и поторопилась уйти.

После большевицкого переворота в команде стало неспокойно: санитары отказывались работать, возражали, предъявляли требования, многие просто уезжали. Старший врач не потерялся, он предложил всем недовольным уехать, а на их место тут же, в Великих Луках, нанял вольнонаемных баб: желающих оказалось много. Их поселили в командный вагон, надели на них белые халаты, повязали головы белыми платками и распределили по работам. Платили и кормили хорошо, но доктор заставил их подписать условие: за первые два проступка — выговор и штраф, а за третий— высаживание из поезда на ближайшей станции, в какой бы части России это ни случилось. Строг был Цацкин с ними очень: гонял и заставлял работать.

Но когда одна из баб решила выйти замуж за санитара, свадьбу отпраздновали пышно: все в санях ездили в церковь, а затем в пустом вагоне было угощение и даже «бал»! Оркестром была я, с моей балалайкой. Провинностей почти никто не совершал, кроме одной бабы, которую в конце концов оставили на какой-то станции, далеко от Великих Лук. После этого была жизнь и Божья благодать.

В начале 1918 года наш поезд вызван был в Петербург, для обмена военнопленных инвалидов. В Петербурге мы погрузили австрийцев, венгров и несколько турок. Мне дали вагон с офицерами, но их из-за предосторожности всех поместили в отдельный солдатский вагон, а в офицерский положили тяжелых лежачих инвалидов.

Работы было мало, но, проводя весь день в вагоне, я привыкла к раненым и со многими даже подружилась. Особенно симпатичная была венгерская компания: венгры много говорили

о событиях в России, ничего хорошего не предвидели, и некоторые из них дали мне адреса, говоря, что, когда у нас будет совсем плохо, я могу к ним приехать и они мне помогут. Тогда я всему этому не верила еще, но правы оказались они.

Поезд наш пустился в путь под датским флагом, и с нами ехал атташе датского посольства. Обмен должен был произойти в Бродах, на границе Галиции. Выехали мы очень довольные, думая сделать приятное путешествие и вернуться обратно недели через две. Но не тут-то было! Только до Брод мы ехали ровно месяц! Само путешествие в прекрасном поезде при нетрудной работе было одно удовольствие. Но разруха в стране, разные фронты, перерезанные пути доставляли нам много волнений и даже жутких моментов.

До Москвы мы доехали благополучно и собирались таким же образом следовать дальше, но оказалось, что прямой дорогой на Киев по каким-то причинам ехать нельзя. Стали искать окольные пути. Наконец двинулись, стремясь на Киев. Ехали долго, застревали на станциях, много раз пытались боковыми дорогами свернуть на нужный нам путь, но нас каждый раз возвращали обратно. Что происходило, никто не знал. Наш датчанин посылал телеграммы, хлопотал, но и его хлопоты оставались безуспешными, однако из неприятных положений он несколько раз нас выручал. Питались мы неважно, только запасами поезда, так как нигде ничего достать было нельзя. После тщетных попыток добраться до Киева, ползая вперед и назад, было решено оставить его в стороне и ехать просто на юг. Добрались до Елизаветграда.

На вокзале грязь и беспорядок страшные! Везде разбитые ящики, бумаги, обломки. Вид у всех растерянный! Оказалось, что накануне сделала налет на станцию Маруся Никифорова со своей шайкой. Разграбили что могли!

Дальше Елизаветграда нас отказались пропустить. День был солнечный, весенний; мы, сестры и санитарки-бабы, высыпали на платформу, гуляли, грелись на солнце. Вдруг на второй путь подошел поезд с красноармейцами, шумными, нахальными. Увидев нас, они немедленно отправили делегацию к старшему врачу с требованием передать им половину сестер: они идут в бой умирать за родину и т. д., а у нас такое количество сестер (они сосчитали и санитарок, одетых в белые халаты).

С большим трудом Цацкин всех нас отстоял, велел немедленно запереться по своим купе и не высовываться из окна. Запер он и вагоны. Так просидели мы довольно долго, пока красноармейцев не увезли.

Цацкин и датчанин, не переставая, хлопотали, чтобы нам

дали паровоз и разрешили ехать дальше, но им отвечали, что недалеко фронт, что наступают немцы и ехать нельзя. Все же, в конце концов, кажется, через сутки, нас пропустили, взяв обещание немедленно вернуться обратно, если увидим, что немцы приближаются.

Все обещания были даны, и мы двинулись; ехали медленно. Остановились у какого-то полустанка. Пришел встречный эшелон с красноармейцами. Их начальник сейчас же потребовал от Цацкина объяснения, почему мы тут, и приказал немедленно пятиться обратно, сказав, что они уходят последними и что дальше немцы. Стал угрожать и заявил, что если мы немедленно не поедем за ними в Елизаветград, то пришлет за нами и расправится как с изменниками. Никакие объяснения ни доктора, ни датчанина не действовали. Спасло нас то, что сами красноармейцы были в страшной панике и торопились удрать, предварительно повторив угрозу. Доктор же Цацкин решил не двигаться и ждать немцев.

Мы остались одни, но вскоре прибежала группа китайцев, страшно испуганных: они подбежали к доктору и больше жестами, чем словами, объяснили, что надо бежать, что если мы останемся, то нам отрубят головы. Цацкин, который всегда находил выход из положения, страшно пожалел «бедных китайцев», предложил им сесть на наш паровоз и удрать, что они и сделали. За ними снова появились красноармейцы в поезде, снова крики, угрозы и требования немедленно отступить. Доктор им объяснил, что мы без паровоза, который ушел за водой, и что мы страшно волнуемся и не понимаем, почему он за нами не вернулся. Начальник красноармейцев заявил, что он за нами вышлет паровоз, а если мы не явимся, будет плохо. Тут началось мучительное ожидание. Боялись увидеть паровоз, ждали немцев и боялись их! Подняли над поездом большой флаг Красного Креста, из всех окон вывесили простыни и полотенца. Местность была холмистая. Мы стояли на возвышении, и нас издали было видно. Вдруг справа спереди мы заметили какое-то движение. Далеко из-за холмов показались люди, они то приближались, то скрывались за холмами, то вновь появлялись.

Наконец мы различили небольшую группу немцев. Они приближались медленно и осторожно. Наши инвалиды, все, кто мог ходить, высыпали из поезда и начали махать полотенцами. Вдруг мы увидели пушку, которую немцы стали устанавливать против нас. Все стали неистово махать, чем могли. Выстрела не последовало, и мы заметили, что по ложбине к нам приближаются два человека, оказалось — разведка. Все начали кричать и махать еще больше. Доктор бросился бежать им

навстречу и объяснил, кто мы такие. Они дали сигнал остальным, которые вскоре все подкатили к нам. Они объяснили, что боялись обмана, что большевики часто броневые поезда камуфлируют под Красный Крест. Они думали, что мы тоже на броневике.

Когда все окончательно разъяснилось, они обещали сейчас же прислать за нами паровоз и уехали.

Паровоз наконец появился и довез нас до станции Винница, где нас ждали уже с чудным обедом для инвалидов и для нас. Дальше мы поехали спокойно. Поразило нас обилие продуктов, чистота, порядок на станциях.

Предвидя возвращение в голодный Петербург, мы стали закупать все, что могли, — муку, сахар, крупу, а позднее яйца и масло. Все это каждый прятал в своем купе. Моя койка поднималась, и под ней было нечто вроде ящика, во всю длину и ширину кровати. Там я устроила свой склад.

После Винницы путешествие было спокойное и ехали быстрее. Но все же почему-то в один прекрасный вечер мы оказались в Одессе. К сожалению, уже утром нас двинули, и города мы не видели.

И вот мы в Бродах. Тепло распрощались с нашими инвалидами, с которыми провели месяц в разных передрягах. Их перегрузили в австрийский поезд, и они уехали.

К нашему большому удивлению, наших русских инвалидов еще не было. Пришлось ждать три дня в Бродах. Провели мы их хорошо. Нам была дана полная свобода: мы гуляли, ходили даже в кинематограф и, конечно, все время были в форме. Чувствовали себя странно во вражеской стране, окруженные австрийцами в форме.

Наконец пришел поезд с нашими. Впечатление тяжелое: сравнить их с австрийцами и венграми было нельзя — худые, изможденные и страшно нервные. Но чисто и хорошо одеты. Сразу же у нас с ними стали натянутые отношения, и возникало даже немало недоразумений. Нам тяжело было сознание, что мы не можем их встретить ни радостно, ни торжественно, как это бывало до революции, когда их встречали с музыкой, обедами и проч., а повезем их в полную неизвестность, в разруху и голод. Они знали о революции в России, были до некоторой степени распропагандированы, и даже офицеры выражали свою радость.

На перроне, когда подошел их поезд, стоял только наш персонал. Думая о том, что их ожидает, мы не могли бурно выразить нашу радость.

Они сразу же стали рассказывать обо всем, что пережили в плену, как голодали. Они привезли, чтобы показать, дневную порцию хлеба, а мы, вместо того чтобы им сочувствовать и

возмущаться жестокости немцев, молчали: ведь мы везли их в Петербург, где они получат в четыре раза меньше хлеба, да еще с соломой и отрубями.

Наше такое «бесчувствие», конечно, оттолкнуло их от нас! А когда мы стали их перегружать в свой поезд и офицеров поместили, как и австрийцев, в отдельный солдатский вагон, началось открытое возмущение, несмотря на то что мы всеми силами старались им внушить, что это делалось для их сохранности! Но они не понимали и были уверены, что едут в счастливую Россию! Я опять была в офицерском вагоне. Понемногу они успокоились, но, как только мы поехали обратно и доктор Цацкин пришел к ним и очень деликатно, стараясь объяснить положение, попросил снять погоны, поднялась буря негодования: они ни за что не соглашались. Оскорблены и возмущены были до глубины души и пришли к заключению, что мы не только их враги, но и враги России, провокаторы и т. п. Все же они послушались: я проводила с ними целые дни, старалась постепенно им открыть глаза. Мы очень скоро подружились, и они стали нам доверять. Но до самого приезда в Петербург, а путешествие длилось две недели, многого они понять не могли и еще многому не верили. Мы же прекрасно знали, что ожидает офицеров в Петербурге, поэтому старший врач стал хлопотать, чтобы их оставить на юге России. Ему удалось получить такое разрешение, но только для одних украинцев. Мы решили, что под видом украинцев мы сможем оставить и желающих с севера.

Но мои офицеры приняли это не так: не только северяне решили ехать с нами, но и украинцы тоже. Билась я с ними несколько дней, чтобы уговорить остаться, и только очень немногие согласились. Большинство же решило ехать в Петербург — получить пенсию, протез, лечение и т. д. Они не могли поверить, что, кроме голода и страданий, их ничего не ждет.

Обратно мы ехали вдоль западной границы. Путешествие прошло спокойно, если не считать серьезного осложнения в Ровно, от которого нас спас наш датчанин: город Ровно в этот момент был занят германцами. Вскоре после того, как мы остановились на вокзале, пришел от немцев приказ: в 24 часа сдать кассу, оставить поезд, взяв с собой только по небольшому чемодану, и отправляться на все четыре стороны.

Ни то, что это санитарный поезд Красного Креста, ни то, что он везет инвалидов из плена, не принималось во внимание, и, не будь с нами датчанина, — все бы мы оказались на рельсах!

Дальше ехали уже без приключений, пока было возможно, закупали продукты. Обратный путь длился ровно две недели.

Глава 3. ОТКОМАНДИРОВЫВАЮСЬ ДОМОЙ

В Петербурге на Варшавском вокзале сдали инвалидов и узнали, что наш поезд отбирается от Красного Креста и переводится в Красную армию. Я сразу же заявила, что больше работать не буду (откомандировалась 15 апреля 1918 года) и что хочу ехать к родным.

Но надо было из поезда перебраться домой. Кроме вещей, у меня были продукты: по пуду муки, сахару, немногим меньше пшена, масло, яйца, творог… Наша квартира была на Суворовском проспекте, в противоположном конце Петербурга. В это тревожное время она стояла закрытая. Я решила остановиться у моей тети Кобылиной, служившей во Вдовьем доме, около Смольного, недалеко от Суворовского. У нее была квартира в две комнаты и кухня, и она с радостью меня приняла.

Трамваи ходили редко и не везде. Тетя дала мне в помощь свою горничную, верную девушку, и начались наши «хождения по мукам»! Личные мои вещи доставить было легче, так как не страшны были обыски; мы, где могли, садились на трамвай, но путешествий сделали несколько. А когда начали носить продукты, дело пошло хуже. Складывали их в чемодан и, делая вид, что они легкие, шагали сперва от вокзала по железнодорожным путям, так как поезд загнали очень далеко, а затем через весь город. В трамваи садиться боялись и почти всю дорогу шли пешком. Но обе были молоды, и желание сохранить продукты давало нам силы.

Почти все я отдала тете, у которой кормилась, только небольшую часть разделила между остальными своими тетями: они уже так изголодались, что плакали, получая от меня по нескольку яиц, немного муки, сахару. Питались мы с тетей тем, что на нас отпускал Вдовий дом. Ужасная бурда, и очень мало, хлеба малюсенький кусочек, с соломой и совершенно неудобоваримый. Но, благодаря моим продуктам, не голодали.

Я приехала перед Пасхой. Ради праздника всем жителям Петербурга дали по селедке! А я привезла немного творогу, так что у нас был настоящий пасхальный стол.

Как только я поселилась у тети Мани, сразу же решила, что надо ликвидировать квартиру и ехать к родителям в Туапсе. Ни совета, ни разрешения от папы и тети Энни я получить не могла. Уже более полугода я не имела от них вестей и решила все взять на себя: я видела, что революция углубляется, ни о каком возвращении в Петербург не может быть и речи. Начались обыски, реквизиции или просто грабежи. К тому же летом кончался контракт на квартиру, а возобновлять его и платить

было некому. Поэтому я решила раздать на хранение всем родственникам ценные и памятные вещи, остальное продать и деньги отвезти в Туапсе, правильно предполагая, что наши там нуждаются.

У меня работа закипела. Одновременно с ликвидацией квартиры стала узнавать, каким путем можно добраться до Туапсе и как получить право на выезд из Петербурга. Тогда разрешали выезжать только детям и старикам. Мне удалось узнать, что мои инвалиды помещены в Царскосельском лицее, в Пушкинском зале, где устроили госпиталь. Я поехала их навестить. Как грустно и тяжело было входить в наш дорогой Лицей и видеть, во что его превратили!

Мои инвалиды мне очень обрадовались и все наперебой стали рассказывать про свои несчастья. В госпитале их приютили временно, а дальше, по-видимому, ими не собирались заниматься: ни пенсий, ни пособий — никакой помощи. Они были совершенно потеряны. Спрашивали совета, но что я могла им посоветовать?

Я им рассказала про свои хлопоты, и многие из них стали приходить на нашу квартиру на Суворовский и по мере сил помогали мне.

Знаю, что кое-кому удалось уехать в провинцию, что стало с другими — не известно. Беготни и хлопот было много. Я узнала, что армянам и грузинам разрешают ехать на родину и даже дают поезда. Пыталась устроиться с ними, под видом, что я с Кавказа. У меня были знакомые армянские семьи. Сначала я думала, что удастся, но потом отказали, и надо было снова что-то искать. Поезда ушли, но потом я узнала, что их останавливали по дороге, грабили и многих расстреляли.

Неожиданно встретилась со знакомой барышней, нашей дальней соседкой в Туапсе, Верой Безкровной, она тоже стремилась уехать. Хотя мы мало знали друг друга, мы решили действовать совместно и ехать вместе. Наконец мне повезло: я в каком-то военном учреждении получила, как сестра, бумагу о демобилизации (это было очень модно и даже почетно) и разрешение ехать на родину на Кавказ. Вере тоже удалось достать какую-то бумажку. Так что с этим было покончено. Теперь надо было найти способ, как ехать: никто не знал, что делается на юге России, а тем более на Кавказе. Слухи ходили самые невероятные: говорили о каких-то фронтах, боях, о том, что там немцы, австрийцы, турки.

Я обегала почти все посольства, стараясь узнать что-либо более определенное. Но и там никто мне ничего сказать не мог. Тети мои пришли в неописуемый ужас и уговаривали не делать

этого безумия и никуда не ехать. Но я ни минуты не колебалась и с еще большей энергией бегала и хлопотала. Но при всем желании ни Вера, ни я не могли узнать, что нас ожидает в дороге и каким путем ехать. Все, что нам удалось выяснить, это то, что прямой дороги на юг нет и единственный способ ехать — это по Волге и что до Царицына мы, очевидно, доедем, а дальше, если все будет благополучно, можно поездом, через Тихорецкую, доехать и до Кавказа. Если поезда не ходят, то придется идти степями пешком на Ставрополь и дальше. Или спуститься по Волге до Астрахани, и там два пути: при удаче пароходом по Каспийскому морю к кавказским берегам — Петровск, Баку, если нельзя, то на Красноводск и оттуда искать пароход на Кавказ. Нас ни одна из этих перспектив не испугала: обе любили путешествия и походы, и мы… поехали!

Глава 4. ДОРОГА НА КАВКАЗ

Вещей взяли мало, чтобы они не мешали и с таким расчетом, что если придется от Царицына идти пешком, то оставить себе небольшой мешок за спиной, а остальное распродать. Выехала я с деревянным солдатским сундучком, чтобы можно было на нем сидеть. Ехала я в форме, как демобилизованная.

Деньги, вырученные за продажу мебели, зашила в свой красный крест вместо картона и, как полагается, приколола английскими булавками на передник. В общем, везла их на самом видном месте.

На вокзале с боем втиснулись в поезд. Сначала ехали на площадке, конечно, стоя, потом нас новые пассажиры протолкнули дальше. Ехать было ужасно. Стояли придавленные друг к другу. Окна все разбиты, грязь, руготня…

Наконец мы добрались до Казани и там сели на пароход. Предварительно в городе купили себе по две пары лаптей, в помощь нашей обуви, если придется идти пешком; вообще же я ехала в высоких сапогах. Запаслись провизией, купили спиртовку.

На пароходе мы получили каюту, но она, как и все на пароходе, была в самом жалком состоянии: все, что можно было содрать, унести, — все было унесено! В каюте были две жесткие пустые койки и больше ничего. Но мы были счастливы, что так устроились. Питались в каюте, готовя пищу на спиртовке, которая стояла на полу между койками. Народу ехало немного, и почти все пассажиры разместились по каютам.

Но вот на какой-то остановке на пароход ввалились красноармейцы, вооруженные до зубов! Они моментально, самым нахальным образом, угрожая винтовками, выгнали всех

пассажиров на палубу и забрались в каюты. Когда они стали стучаться к нам, я, хоть и с большим страхом, открыла дверь, вышла в полной форме и объявила, что я демобилизованная и еду на родину с фронта. Моя бумага с печатями какого-то военного учреждения из Петербурга производила впечатление: нас оставили в покое и относились ко мне с уважением! Так мы доехали до Царицына, где должна была решиться наша дальнейшая судьба.

Сразу же побежали за справками и узнали, что поезда не ходили в течение трех недель, так как пути были перерезаны «бандами Корнилова», что их отогнали и вечером отойдет первый поезд на Тихорецкую. Мы понятия не имели, что такое «банды Корнилова». Но одно нам было ясно — что мы едем! Сбегали на базар, заваленный продуктами, купили себе еды на дорогу и отправились на вокзал. Там творилось что-то ужасное: за три недели набралось невероятное количество народа. Все это сидело, лежало на полу, в грязи и тесноте, ожидая возможности выехать. Мы сразу же узнали, на каком пути стоит эшелон, и побежали туда. Не знаю почему, но многие из ожидающих туда не пришли — не знали? Не верили или боялись? Так что народу грузилось хоть и много, но без боя!

На нас сразу же обратили внимание два молодых, прилично одетых солдата (тогда это было редкостью) и предложили нам помочь — найти место и нас устроить. Состав состоял из теплушек. Солдаты, которых люди побаивались, с геройским видом заняли нары, достали сена, и мы вчетвером прекрасно устроились. Кто-то еще попал на нары, а остальные сидели на своих вещах или просто на полу.

Оба солдата очень заботились о нас, взяли под свое покровительство, и потому никто не смел нас ни обидеть, ни даже потеснить. Ехали довольно долго, кажется, двое суток. Раза два или три были обыски, и тогда наши солдаты брали у нас и прятали к себе такие вещи, как мое единственное кольцо, наши золотые изделия с крестами и деньги. Красный крест с передника я, конечно, не снимала, и никто и не думал о том, что там вместо картона деньги, и немало! Под нами сидел очень приличный господин средних лет, они взяли у него револьвер и положили в карман.

По дороге мы много с ними разговаривали, и они сказали, что они музыканты и едут на Минеральные Воды, где думают устроиться в оркестр. Тогда мы ничего не знали о том, что делается на юге, и думали, что это так и есть. Видели, что оба солдата не простые, и наивно верили, что они из музыкантов какого-нибудь полка. Только потом я сообразила, что это,

вероятно, были два юнкера или молодые офицеры и, очевидно, они пробирались в Добровольческую армию. Приличный господин с револьвером, конечно, был офицер, может быть, они друг друга знали, иначе не могу понять, как произошла история с передачей револьвера. Обыски были строгие, все перерывали, очень грубо и нахально. Мой сундучок, который стоял внизу, тоже хотели открыть, но наши покровители не позволили, сказав, что он демобилизованной сестры. В общем, все обыски, по крайней мере в нашем вагоне, прошли благополучно.

Наши спутники покинули нас раньше Тихорецкой, не помню, как они это объяснили, так как, чтобы добраться до Минеральных Вод, надо было ехать до Тихорецкой. Это впоследствии меня еще больше убедило, что они искали Корнилова.

В Тихорецкой мы выгрузились, и поезд ушел, не знаю куда — мы остались на пустой станции. Там мы узнали, что никаких поездов на Кавказ нет. Было обидно: мы застряли уже недалеко от цели. Но нам и тут повезло! Совершенно неожиданно появился состав пустых цистерн, идущих в Баку. Никого не спрашивая, мы забрались на тормоз одной из них и покатили. Погода была чудная, весна, запах зелени, красиво и даже весело. Так доехали до Армавира, где нашли пассажирский поезд, который и довез нас до Туапсе. Каким образом я добралась до Москалевки — не помню. Очевидно, нашла попутчика: почтовых лошадей мы не брали.

Глава 5. В РОДНОЙ МОСКАЛЕВКЕ

Дома меня никто не ждал: они ничего обо мне не знали и очень волновались. Теперь вся семья была в сборе. Брат Петя приехал раньше меня с большими трудностями, но более прямой дорогой, после того, как был закрыт Морской корпус (против которого был Патриотический институт).

Кроме того, в Москалевке, кроме нашей семьи, жила сестра тети Энни, Нина Романовна Княжецкая с мужем, военным врачом в чине генерала, и их сын Юрик, четырех лет, учительница и привезенные из Петербурга три прислуги. Наша старая кухарка Настасья, поступившая в дом молоденькой девушкой, всегда отказывалась ездить с нами на юг — когда она была молодой, она ездила в глубь Кавказа с семьей дяди и однажды была там так напугана, что не могла этого забыть.

Папа и тетя Энни жили в Москалевке с начала революции; только осенью 1917 года они приехали в Петербург узнать, что там делается и можно ли возвращаться туда на зиму, как всегда. И сразу же увидели, что это рискованно. Они взяли с собой все

серебро, драгоценности, меха, ковры, белье. В Москалевке все, кроме драгоценностей и серебра, запрятали на плоскую крышу, которая за время войны стала протекать и была покрыта временной деревянной крышей, очень плохой, без окон и снаружи не имела вида чердака. Единственная маленькая дверь в верхний коридор была заставлена шкафами. Драгоценности и серебро папа довольно неостроумно закопал в винном погребе в железном ящике: он боялся, что, если он будет зарывать в саду или в лесу, его могут увидеть. Вскоре у них стало тревожно: то там, то здесь под видом обысков начались грабежи. Опасно стало в погребе иметь вино, и папа спешно его распродал. Вся округа знала, что у нас делалось вино, и уже стали приходить какие-то личности за ним. Но продали его вовремя: иначе начались бы попойки, а за ними грабежи, поджоги и т. п.

Наши местные крестьяне довольно долго держали себя спокойно, пока не начали прибывать с фронта дезертиры и вести пропаганду.

Глава 6. ОПАСНЫЕ ВИЗИТЫ

В нашей деревне Небуг за семь верст образовали комитет и председателем выбрали или, вернее, выбрал себя сам совсем молодой Мишка Коваль, который вернулся с фронта, напичканный множеством лозунгов. Связи не только с Петербургом, но ни с каким крупным центром не было. Каждое местечко, каждое селение устанавливало свою власть и издавало свои законы. Так было и с нашей деревней Небуг.

Как только там был образован комитет, он начал действовать. Стали обходить все дачи и имения. Пришли и к нам! В первый раз отобрали маленький револьвер и плуг. Но во второй раз, почувствовав свою безнаказанность и силу, они объявили, что все народное, и потребовали, чтобы вся наша семья освободила дом и имение, что они дадут участок где-нибудь в горах, в лесу и там папа может начинать снова хозяйничать. Держали они себя нахально, но все же с ними кое-как сговорились. Они разрешили остаться в доме за плату, которую папа и внес за месяц вперед. А потом, сообразив, что наше имение им ничего не дает, так как народ там ленивый, привык ничего не делать, а чтобы имение дало доход, то надо работать по-настоящему, они заявили, что они папу уважают, доверяют и оставляют его управляющим и что семья может работать и получать жалованье из доходов, можно держать и рабочих. Это было уже милостиво и всех немного успокоило. Но когда была окончена эта деловая часть, они вспомнили про винный погреб и пошли за вином, но, найдя

пустые бочки, они стали рыть землю и нашли ящик с драгоценностями и серебром. Они его принесли на каменную лестницу балкона и с жадностью раскрыли. Глаза их разгорелись, когда они увидели большое количество бумажных денег, находившихся сверху. Мишка Коваль схватил их и начал считать. Все остальные его обступили и смотрели не отрываясь. Бумажек было много, но сумма небольшая, так как это были мелкие ассигнации.

Под деньгами находились драгоценности, завернутые пакетиками в газетную бумагу. Но они их не заметили. Тетя Энни, стоявшая за их спинами, стала вынимать одну вещь за другой и, не двигаясь, передавала их своей сестре, Нине Романовне, та Ане, учительнице, которая их как-то прятала. Таким образом все было спасено. Оставались только мамины золотые массивные часы с крышкой, купленные за границей, и потому не имели пробы, кроме того, они были испорчены и не ходили. Тетя Энни подумала, что, если мужики заметили блеск золота в ящике, не найдя ничего другого, они начнут искать и найдут все, поэтому часы им оставила.

Когда деньги были пересчитаны, комитет снова занялся ящиком. Сразу же увидели часы и их схватили, но тетя Энни стала просить их отдать, говоря, что это память покойной матери детей, что часы давно испорчены, не ходят и что они не золотые, другими словами, от них нет никакой пользы и цены они не имеют.

Мишка Коваль и вся компания стали проверять — пробы не нашли, часы не ходили, и они «милостиво» их возвратили. Дальше лежало серебро, которое мужики забрали, сказав, что пошлют на Монетный двор. На самом деле они поделили между собой, конечно. Когда на время Туапсе заняли белые, мы кое-что нашли в деревне. Деньги комитетчики не взяли, так как они объявили, что берут, если их больше девяти тысяч, а было гораздо меньше.

Они все же старались действовать «законно», по закону, написанному ими самими! После этого случая все драгоценности были завернуты в клеенку, положены в большой молочный горшок и зарыты в лесу, за крокетной площадкой, далеко от дома. Нина Романовна своих не дала, решив, что гораздо безопаснее держать их в ночном столике, а когда придут грабители или с обыском, она их в мешочке даст своему маленькому Юрику, которого никто не тронет. А когда пришла шайка настоящих разбойников и всех построили в одной комнате, направив винтовки, — все, что у нее хранилось, было унесено (как это произошло, я расскажу позже).

Впоследствии, когда я приехала еще раз, мы вынули из земли все жемчуга, так как они ночами теряют цвет от сырости, и заделали их в стену кладовки.

Положение делалось все хуже и хуже: в Туапсе начались аресты, людей свозили на баржу в порту, расстреливали и бросали в море.

В Москалевке тоже стало неспокойно: стали появляться какие-то подозрительные личности, искали оружие, деньги и, конечно, вино. Несколько раз требовали папу и хотели его увести. Раз даже пришла группа матросов. В этих случаях выходила тетя Энни, и всякий раз ей удавалось папу спасти. Один раз он лежал в постели, другие разы уходил и прятался далеко в лесу, так как звук автомобилей, на которых приезжали эти «народные представители», был слышен издалека.

Кроме того, в горах появились зеленые. Они иногда выходили в поисках пропитания и частенько грабили и убивали. Пришли и к нашим!

Вот как этот случай описывает папа в своих записках: «Однажды поздно вечером зеленые пожаловали и к нам! Обеспокоенный садовник, живший по соседству с нашим домом, прибежал сказать, что какие-то люди приехали с гор и требуют меня для переговоров. Я был болен, лежал в постели и не мог выйти. Вместо меня пошла жена, которая всегда, опасаясь, что меня арестуют, старалась скрыть меня при подозрительных посещениях. Выйдя в сад, она увидела оставшуюся нам верной до самого нашего отъезда за границу кухарку Иванову, которая сообщила дрожащим голосом, что прибыло пятнадцать человек солдат с требованием выдать имеющийся, по их сведениям, у нас запас ружей, бомб и пулеметов. В противном случае угрожали взять с собой адмирала. Моя жена, не терявшаяся во все эти тяжелые минуты жизни, объявила, что пойдет сама с ними разговаривать. Была дивная лунная ночь, которые так торжественно хороши у нас на Кавказе. Воздух благоухал отцветающими осенними розами. Во всей этой красоте так чувствовалось величие Бога!

Красота природы всегда особенно влияла на жену, она всегда говорила, что в ней чувствуется существо Бога и, проникнутая этой верой в Бога, в Его помощь, бодро шла навстречу опасности. Скоро она рассмотрела группу солдат, которые направили на нее ружья и держали их наготове, не зная, кто к ним выйдет. Она сейчас же попросила опустить ружья, сказав, что она безоружная, и спросила, что им угодно. Ответ был: «Выдайте оружие или мы берем с собой адмирала!». У жены навернулись слезы на глазах, она стояла бледная, но не растерялась и сказала пришедшим:

«Господа, я вас не понимаю, что спрашиваете? Посмотрите вокруг себя, взгляните на это величие природы: как здесь все красиво, как великолепно! Неужели вы думаете, что мы приехали сюда, чтобы делать какие-то склады оружия и проливать чью-либо кровь? Мой муж уже пятнадцать лет в отставке и не участвовал ни в одной войне. Мы живем здесь, занимаясь мирным трудом — хозяйством и его улучшением, стараемся жить со всеми в мире, восхваляя и ценя то, что Бог нам дал! Почему вы не делаете того же? Бросьте ваши ружья, займитесь вашими семьями и хозяйством, и вы поймете, какое счастье жить в таком дивном крае, как наш Кавказ!». Жена очень волновалась, но, увидев перемену выражений лиц, была счастлива, что они вслушиваются в то, что она им говорит. «Сударыня, — сказал стоящий впереди солдат, — еще никто так с нами не разговаривал, мы перестали верить всем, но вы так говорите, что мы верим, что неправды вы не сказали нам. Пусть будет по-вашему! Прощайте, спите спокойно!». Уходя, они сказали, что были бы рады не знать ружья, но что их заставляют обстоятельства: большевиков они не признают, участвовать в войне, где идет брат против брата, — не желают, и ушли в горы. Ушли они от нас, не сделав нам никакого зла!!!»

Глава 7. СПАСАЯСЬ ОТ КРАСНОЙ АРМИИ

К весне 1918 года наступило некоторое успокоение. Добровольческая армия начала крепнуть. В Туапсе пришли небольшие воинские части, часто казаки. Приблизительно в это время я и приехала туда.

После тяжелых переживаний зимы в Москалевке жизнь потекла, как прежде: те же хозяйственные заботы, та же красота, воздух, море…

Но это лето Аня и я стали работать по-настоящему. Петя много помогал. Делал это главным образом из-за комитета Небуга, на тот случай, если он снова появится, потребует отчета и будет отбирать доход. Тогда можно будет выписать наши жалованья, как было условлено с комитетом.

Мы взяли на себя все виноградники — всю работу, за исключением цапанья, которое делали рабочие. Мы подвязывали, общипывали и провели все с начала до конца. Петя опрыскивал серой.

Определенных рабочих часов у нас не было, но нужное количество мы вырабатывали. Аня предпочитала вставать раньше и раньше кончать. Я — позже. Все же успевали и купаться, и поиграть в теннис. Работали с удовольствием. Урожай как

винограда, так и фруктов предвиделся прекрасный.

В начале августа приехал перс для покупки урожая садов. Из винограда должны были, как всегда, делать вино.

Жили и не предвидели надвигающейся грозы. Работы по имению шли по-прежнему. Ту часть фруктов, которую не продали персу, мы сами собирали, укладывали в ящики и отправляли оптом на базар в Туапсе. Всегда ездил один из рабочих.

17 августа должны были отправить новую партию. Накануне все приготовили и нагрузили на дилижан (парная дышловая телега с высокими бортами) сорок пудов фруктов, как это делали всегда. Воз получился громадный. Мы с Аней никогда не вмешивались в папины распоряжения, но в этот день — это было чудо, спасшее всех нас, — мы стали доказывать папе, что надо послать кого-нибудь другого, что этот рабочий продает плохо или удерживает деньги. Папа не соглашался, но мы настаивали. Тогда папа, который никогда не сердился, сказал, что если мы не доверяем рабочему, то можем ехать сами.

Мы согласились, несмотря на то что никогда этим не занимались. Лошадьми правили хорошо, ничего не боялись и решили ехать. Женя (брат) попросил, чтобы пустили и его: ему было двенадцать лет, и для него это было громадное удовольствие. На нашей даче, на другом участке, жили дядя Коля Москальский и Ваня Кобылин, с женами. Узнав, что мы едем в город, дядя Коля попросил, чтобы взяли и его — он хочет посмотреть, что делается с банком, где он был директором. Папа этому очень обрадовался, так как боялся, как мы, две девицы и мальчик, поедем одни. Выезжали обыкновенно до рассвета и возвращались уже в темноте.

Наше имение находилось между морем и шоссе, которое тянулось от Новороссийска до Туапсе и дальше на Сочи. От шоссе шла прямая и довольно крутая дорога к дому, обсаженная кипарисами. Шоссе извивалось по склонам гор, причем были только спуски и подъемы. С одной стороны дороги были обрывы, часто заросшие колючкой, а иногда и большие кручи, с другой — крутые скаты гор или отвесные стены. Все кругом было покрыто дубовым лесом, где росло множество кустов азалий. Весной запах был одуряющий! В балках, среди зарослей граба, орешника и держидерева, встречались старые одичавшие фруктовые деревья, обвитые лианами и ежевикой.

Всего до Туапсе от Москалевки было двадцать шесть верст, в сторону города до деревни Небуг в семи верстах было несколько имений и дач, и там кое-где была видна культура. Только в два имения постоянно летом приезжали владельцы, и там производились работы, как у нас. Другие же были заброшены;

кое-где жили сторожа, а во многих все постепенно разрушалось и покрывалось буйной растительностью.

Сама деревня Небуг находилась в версте выше шоссе, которое по длинному железному мосту переходило на другую сторону долины, по которой зимой во время дождей бешено неслась река и разливалась широко, а летом бежал тихий ручеек; все кругом было покрыто галькой.

Дальше подъем в горы: лес, заросли на протяжении восемнадцати верст до пригорода Туапсе, Паук. Эта часть была совершенно безлюдна, не было ни одного дома, ни одного места, где бы притрагивался человек. Только по обе стороны перевала были два «фонтана», где поили лошадей.

Езды по шоссе почти не было: редко-редко встречались подвода или почтовая пара. Тишина была изумительная! Только трещали цикады и чирикали птицы. За несколько верст была слышна встречная телега, которая громыхала на спусках. Потом тишина, когда она поднималась, и снова грохот, уже громче, когда она опять спускалась. Еще реже проходил автомобиль. Часто, за весь путь в город и обратно, проезжали благополучно, не видя этого «пугала» наших поездок: боялись их очень! Автомобили на нашей дороге гудели все время, и благодаря тишине и поразительно чистому воздуху слышно его было издалека.

Тогда поднималась страшная тревога: моментально останавливали лошадей, брали их под уздцы и ставили мордами к стене. Кто-нибудь бежал навстречу автомобилю и, стоя посреди дороги, отчаянно махал руками и останавливал его, обязательно со стороны обрыва. В этом случае не существовало ни правой, ни левой стороны. Тогда шарахающихся лошадей осторожно проводили мимо и уезжали. Автомобиль трогался лишь тогда, когда лошади уже отъехали, чтобы не пугать их шумом мотора. Только этой встречи и боялись на нашем дивном и диком шоссе.

За все двадцать шесть верст было только две проселочные дороги, отходившие в горы. Одна — в деревню, а другая в аул. Были кое-где тропинки сокращения на перевалы. Ехали от нас до города обыкновенно четыре часа. Поэтому 17 августа мы, чтобы успеть на базар, выехали в 4 часа утра, еще до рассвета, как это делалось всегда.

Правили по очереди Аня и я, так как помимо опыта и знания шоссе с его крутыми поворотами, нужно было и большое физическое усилие. У нас ездили в гору шагом, а под гору — рысью. Тормозов не имелось. Лошади бежали под гору с тяжелым возом, сдерживая его на ходу, они иногда буквально вылезали из хомутов. Чтобы им помочь — не дать им упасть, надо было их

держать на вожжах, накручивая их на руки; особенно трудно было на большом перевале — шесть верст. Перед этим спуском на самом перевале всегда давали лошадям отдохнуть после тяжелого подъема. Обыкновенно люди его проделывали пешком, кое-кто поднимался по сокращению и приходил гораздо раньше лошадей.

Вид на перевале изумительно красив! Бесконечное синее море, с его мысами, и цепи зеленых гор! Ведь у нас не знали, что такое пыль: все чистое, яркое, красочное!

Приехали мы в Туапсе вовремя. Дядя Коля ушел по своим делам и должен был встретиться с нами только в момент отъезда, в 5 часов.

Мы распрягли лошадей, поставили их на постоялый двор и начали торговать. Продавали оптом, выкриками! Когда успешно все продали, пошли исполнять поручения — покупать продукты и т. д.

Пообедали и около 3 часов решили побродить по городу до 5 часов, когда полагалось ехать обратно.

К этому времени лошади уже отдохнули, жара спадает и хорошо ехать. На главной улице мы зашли в лавку, где продавалась местная газета. Там увидели довольно много взволнованных людей, обсуждавших события. Прислушавшись, мы узнали, что добровольцы заняли Новороссийск и что вся Красная армия, находившаяся там в количестве семи тысяч человек, отступает по единственному свободному пути — нашему шоссе на Туапсе, сметая все на своей дороге. Нам сразу стало ясно, какой страшной опасности подвергаются все наши в Москалевке, и особенно папа, Петя и Ник. Ник. Княжецкий: два генерала и кадет. Они ни о чем не могли знать, мирно поджидая нас, и готовились на другой день праздновать Анино рождение.

На наши вопросы, где сейчас большевики, далеко ли, — никто не мог ответить. Не теряя ни минуты, ни о чем не думая, как только успеть спасти своих, мы понеслись запрягать лошадей. Женю послали искать дядю Колю, который еще ничего не знал. Слава Богу, Женя его скоро нашел и привел на постоялый двор.

Мы уже собирались уезжать, как нам кто-то сказал, что ввиду опасности комендант города запретил кому бы то ни было выезжать в нашем направлении и что нас не выпустят. Мы карьером понеслись к коменданту. Аня, как более бойкая и настойчивая, пулей влетела к коменданту. Что она ему говорила, как настояла, не знаю, но очень скоро выбежала обратно, имея пропуск в руках. Комендант вышел за ней на крыльцо и смотрел вслед нашему несущемуся дилижану, который громыхал своими железными ободами по камням.

Первую версту мы прокатили быстро, но вот начался

бесконечно долгий подъем на большой перевал. Лошади пошли медленным шагом. Хоть мы и очень волновались и знали, что каждая минута дорога, мы не потеряли головы и берегли лошадей: ведь они не достояли своего отдыха, выехали мы еще в жару, и на перевале пекло вовсю. Если бы мы их погнали, то вообще могли бы не доехать. К тому же мы не забывали, что если успеем доехать, то на тех же лошадях, не дав им передохнуть, надо сделать снова этот же путь обратно, имея груз всей нашей большой семьи и сзади угрозу идущих по пятам большевиков.

В этот день мы надели наши любимые русские костюмы — вышитые рубашки, передники, бусы… Женя тоже в вышитой рубашке. Сидя на сене на дне дилижана, мы стали, насколько возможно, упрощать наш вид. Бусы, передники, шелковый Женин пояс — зарыли в сено. Платки на голове завязали «по-бабьи», рубашки вытянули поверх юбок.

Все равно никто бы нас за баб не принял, но все же в таком виде мы меньше бросались в глаза. При виде наших переодеваний дядя Коля, который всегда был нервный и экзальтированный, страшно заволновался, стал срывать с себя воротничок, галстук, запонки и бросать в заросли около дороги. Кончилось тем, что он схватил свои золотые часы и приготовился и их швырнуть за борт. Мы вовремя их схватили и сунули тоже в сено. Дядя Коля пришел в полное исступление, начал кричать, готов был сорвать с себя все! Мы пытались его успокоить, говоря, что никакие переодевания не помогут, если мы столкнемся с красными. Но он не унимался и стал с нами спорить, выкрикивая: «Вам хорошо, вы переоделись бабами, а меня расстреляют; всякий узнает, что я директор банка!» Наконец он затих и сидел как убитый. Но не долго. Он вдруг заметил, что мы едем шагом. Возмутился страшно и стал требовать, чтобы мы гнали лошадей. Никакие наши объяснения до него не доходили. Он дошел до того, что стал кричать, что мы едем нарочно медленно, чтобы погибла его жена! Наши слова, что мы не меньше его волнуемся, что папе и тете грозит гораздо большая опасность, чем Елизавете Ивановне, что мы торопимся за ними, — не имели никакого действия. Он все больше и больше волновался и имел вид безумного. Пытался даже вырвать у нас вожжи. Когда это ему не удалось, он выскочил из дилижана и бегом понесся вперед. Мы продолжали медленно подниматься и вдруг за одним из поворотов увидели сидящего на камне дядю Колю. Он едва дышал, пот градом катился по его красному, распухшему лицу. Когда мы с ним поравнялись, он медленно взобрался к нам, и долго его не было слышно.

Так добрались мы до перевала, где увидели заставу. Навстречу нам вышел офицер и заявил, что дальше ехать нельзя.

Мы показали пропуск. Но он нам стал объяснять, что за это время положение настолько ухудшилось, что, как только вернется высланный им разъезд, он со всей своей частью отойдет до Туапсе. О нашем проезде ему звонил по полевому телефону комендант, и они решили, что ехать нам дальше невозможно!

Мы выскочили из дилижана и стали объяснять, почему мы обязательно должны ехать, и как можно скорее. Главным образом напирали на папу и Петю. Дядя Коля бросился нас перебивать, говоря о своей жене. Он так мешал, что мог испортить все дело. Мы в горячке разговора как-то его осадили, возможно не очень вежливо, и он умолк.

Офицер начал входить в наше положение и нам объяснять, что за разъездом идут большевики, на каком расстоянии, неизвестно, но что им больше ничто не преграждает путь до самого Туапсе. Видя, что мы, несмотря ни на что, хотим ехать дальше, от стал расспрашивать, хорошо ли мы знаем дорогу и, главное, окружающую местность, где мы могли бы спрятаться, и сможем ли мы пробраться без дорог.

Местность мы знали прекрасно, недаром с самого детства нашим любимым занятием было лазать по горам, кручам без каких бы то ни было тропинок, и открывать новые места, давать названия горам и балкам. Мы это все объяснили офицеру, и тогда он нас пропустил, сказав, что до встречи с разъездом мы можем ехать спокойно, но потом все время должны прислушиваться и при первом подозрительном звуке бросить лошадей и уходить в лес. Мы вскочили на дилижан и тронулись. Вся застава вышла на нас смотреть. Офицер сказал: «С Богом!» — и издали нас благословил.

Мы быстро скатились с перевала и вскоре, приблизительно на полдороге от дома, встретили разъезд. Они нас остановили и, получив объяснение, пропустили, но сказали, что нам нужно быть очень осторожными. Где большевики, они не знали. Версты за три до деревни Небуг мы встретили две повозки, на которых бежала семья Еремеевых. Их имение на четыре версты от нас ближе к городу. Их кто-то успел предупредить. Мы им передали Женю, наши покупки, деньги и лишние вещи.

Таким образом, за Женю мы были спокойны, и стало одним человеком меньше на обратный путь. Еремеев сказал, что большевики где-то близко и возможно, что уже в Москалевке.

После этой встречи мы быстро скатились до широкой долины Небуга, подъехали к мосту, видному со всех сторон, и остановились, чтобы обсудить положение. Дядя Коля, поездке в город которого папа радовался, думая, что в случае нужды он нам поможет, ни слова не говоря, выскочил из дилижана и быстро

скрылся. Уже наступили сумерки. Мы с Аней остались одни! До дома, переехав мост, оставалось семь верст. На каждом шагу мы могли наткнуться на красных, а если бы и доехали до ворот, то не знали бы, что делается в доме и можно ли спускаться.

Ехать все это расстояние надо было шагом, чтобы все время прислушиваться, и на это уйдет много времени. Совещались недолго: решили, что Аня, как более ловкая, поедет одна, будет ехать медленно, все время прислушиваясь, и при малейшем подозрительном звуке бросится в заросли. Я же, как более сильная и выносливая, побегу пешком по берегу моря и тропинкам и буду дома гораздо раньше Ани. Если все благополучно, я выведу всех на шоссе, навстречу Ане, если нет, то я успею ее предупредить.

Я выскочила из дилижана и побежала наискосок, по гальке через долину, перебралась через ручей, добралась до моря. И дальше бежала уже по скалистому берегу. Тропинки никакой не было. Пока еще не совсем стемнело, было нетрудно бежать, огибая скалы и прыгая по камням. Но ночь у нас наступает быстро, и стало темно. Мне помогало то, что солнце зашло за мыс впереди меня, небо было еще светлое, и на фоне его выделялись очертания скал. Вдруг я увидела силуэт бегущего навстречу человека и сразу же присела под скалу. Но человек этот, увидя меня, сделал то же самое. В первый момент я подумала, что это большевик, но сразу же сообразила, что большевику, да еще одному, незачем бежать по пустынному берегу моря. Я вскочила и понеслась дальше. В этот же момент поднялся и неизвестный и побежал мне навстречу. Мы бежали, не останавливаясь, и только, когда я пробегала мимо него, он крикнул: «Вы одна из барышень Варнек? Я — Грязнов! (полковник Грязнов, имение которого верст шесть дальше нашего). У нас в имении грабят большевики! Торопитесь предупредить ваших. Может быть, еще успеете!»

Морем я бежала до балки Глубокой. Там свернула на тропинку, поднялась вдоль балки и, то поднимаясь вверх, то спускаясь в новую балку и опять наверх, добралась до нашей границы, перелезла через забор из колючей проволоки и садами добежала до фермы.

Там я остановилась, но не от усталости: я ее не чувствовала, но стало жутко. Я вглядывалась в темноту и прислушивалась. Но на ферме была полная тишина и, очевидно, все уже спали. Я осторожно ее обогнула, пробежала по дороге до дома и там остановилась. Тишина была полная, оба окна в кухне открыты и освещены. Я подползла к одному из них и заглянула.

Картина мне представилась самая мирная. Кухарка что-то жарила у плиты, горничная шла с блюдом. Тогда я вошла в

кухню. Узнав, что все на балконе, начинают ужинать, я сказала горничной незаметно позвать тетю Энни в кухню, не говоря, что я там, чтобы не испугать папу. Как только тетя Энни пришла, я взволнованно и быстро сказала, в чем дело и что надо немедленно уходить, осторожно предупредив папу. Все было так неожиданно, что тетя Энни не могла мне поверить. Правда, до моего появления приходил какой-то человек и сказал, что идут большевики, но они не придали этому значения. А мой дикий вид после пробега из Небуга не внушал ей доверия.

Она стала мне говорить, что я слишком увлекаюсь слухами, что не может быть никакой немедленной опасности. Ехать ночью всей семьей — безумие, и что мы можем подождать до утра и все хорошо разузнать. Я страшно возбужденно доказывала свое и спорила. Наконец тетя Энни уступила, но, как она потом говорила, сделала это только потому, что видела мое состояние и боялась взрыва с моей стороны.

Тетя Энни пошла осторожно предупредить папу и остальных. Тогда показалась я и сказала папе, Пете и Николаю Николаевичу Княжецкому, чтобы они немедленно уходили из дома и спрятались в лесу около других наших ворот, на шоссе, за версту ближе к городу. Они должны были там сидеть и ждать, чтобы мы, проезжая обратно, их взяли. Они сразу же ушли через сад.

Я поднялась в свою комнату, схватила плед (который еще и сейчас существует) и завязала в него по смене белья Ане, мне и мальчикам, кое-какие фотографии, думки[9]. Затем спустилась вниз, хотела взять еще кое-какую посуду, ложки и т. д., но тетя Энни, которая все еще не верила в опасность, сказала все оставить говоря, что я делаю беспорядок и что все равно завтра мы вернемся.

Тогда я в кухне схватила большой мешок и стала, к ужасу кухарки, упихивать в него все, что попадалось под руку: летели туда кочны капусты, какие-то консервы, хлеб, зарезанная на завтра индейка и Анин крендель. Тетя Энни с собой ничего не взяла.

Скоро услышали звук дилижана и появилась Аня. Она сразу же повернула лошадей, чтобы ехать обратно.

В последнюю минуту мы вспомнили про жемчуг в кладовке и с Аней побежали, вынули его, заложили себе в прически, повязав головы крепко платками. Тетя Энни была этим очень недовольна, говоря, что в кладовой он в сохранности, а в дороге ночью мы можем все потерять, а если нападут разбойники, то его у нас отнимут.

До шоссе мы все шли пешком и в этот момент думали только о том, как мы все поместимся в дилижане и довезут ли лошади.

Ведь нас было шестеро взрослых, пятнадцатилетний Петя и маленький Юрик. Но нам повезло: у ворот мы столкнулись с персом, который арендовал наши сады. Он возвращался в Туапсе к себе домой на маленькой тележке в одну лошадь и предложил кого-нибудь подвезти. Кажется, семья Княжецких села к нему. Подъехав по шоссе к другим воротам, мы забрали наших мужчин и пустились в путь.

Ехали очень медленно. Когда стали приближаться к Небугу, мы очень испугались, что если в деревне уже знают о приближении большевиков, то Мишка Коваль со своим комитетом смогут нас задержать у моста и не пропустят дальше. Опасения оказались напрасными: все было спокойно — в деревне, очевидно, спали и ничего не знали.

У самого моста мы, к большому нашему удивлению, увидели матроса, который нас окликнул и сказал, что на берегу, в бухте, стоит моторный катер: его комендант города прислал за папой! Как мы все обрадовались! Матрос сказал, что катер большой и может взять и всех остальных. С папой пошли Петя и семья Княжецких. Мы с Аней остались с лошадьми, чтобы их довести до Туапсе. Тетя Энни тоже поехала с нами, так как она не переносит моря.

Теперь ехать было уже легче, и за мостом, казалось, не так опасно. Перс уехал вперед, пригласив всех нас остановиться у него. Мы медленно поползли дальше. На всех подъемах Аня и я шли пешком. Перед большим перевалом — в долине — мы с Аней решили остановиться и покормить лошадей.

Свернули в долину и поставили дилижан так, чтобы его не было видно с дороги. Дали лошадям сена из телеги, а сами прилегли в траве. Мы сообразили, что большевики, наверное, где-нибудь заночевали и до рассвета не двинутся дальше. Но все же все время прислушивались. Как только начало светать, мы тронулись снова и прибыли благополучно в Туапсе после 6 часов утра.

При въезде в город нас встретил Женя и сказал, что все остальные у перса и нас ждут. Приняли хозяева нас очень гостеприимно, старались как можно лучше устроить и накормить. Мы дали хозяйке наши индейки, она их зажарила, достали Анин крендель.

В это время в Туапсе пришли части грузинской армии. Папа пошел в штаб узнать о положении. Там его успокоили, сказав, что несколько частей уже пошли на перевал и большевиков до Туапсе не допустят. К вечеру стала слышна отдаленная стрельба. Мы переночевали у перса. На другой день папа снова ходил в штаб, и ему повторили, что бояться нечего и что перевала не сдадут. Но

днем стрельба приблизилась, а к вечеру уже разорвалось несколько шрапнелей около самого города.

Дом перса был на окраине и на горе, и поэтому мы решили перебраться в самый город. В этот день из Туапсе на Сочи пошел пароход. И многие, в том числе и дядя Коля, успевший вывезти своих, уезжали на нем.

В городе мы встретили кого-то из многочисленных Черепенниковых, который сказал, что все они спаслись: старшие приехали лошадьми, а молодежь пришла пешком. От них до города было больше сорока верст.

Все они уезжали пароходом и предложили нам свой дилижан и верховую лошадь. Теперь мы были богаты перевозочными средствами и предложили генералу Безкровному и его сыну присоединиться к нам. Их усадьба была около Черепенниковых, и они выбежали из нее без ничего, когда в ней уже хозяйничали большевики. Молодой Безкровный — симпатичный молодой человек, тихий, но совсем не развитой — это был ребенок. Отец должен был все время за ним следить и не отпускал от себя.

Мы перебрались в город, в помещение, оставленное Черепенниковыми. Это был пустой домик. Папа снова пошел в штаб. Начало уже смеркаться, когда он вернулся, совсем успокоенный. Ему сказали, чтобы он не волновался, что дела идут хорошо и, если будет что-либо новое, ему сейчас же сообщат. Но мне вид города не нравился: шли обозы, скакали верховые, ехали беженцы.

Я уже четыре года находилась почти все время на фронте, и то, что я сейчас видела, было отступление! Папа, как человек чести и долга, не мог поверить, что грузинский генерал его обманул, и со мной не соглашался, тогда я и кто-то еще предложили сбегать в штаб.

Когда мы туда пришли, то увидели темную пустую гостиницу. Генерал и его штаб — убежали!

Надо было немедленно уезжать на Сочи. Грузины ушли все. Оставались русские части, казаки, артиллерия; была ли пехота — не знаю! Вообще, точно, кажется, никто не знал, какие и откуда пришли войска. Во всяком случае, их было очень мало. Итак, мы снова пустились в путь. Правили на обоих дилижанах Аня и я. Верхом, кажется, ехал Петя. Столпотворение в городе было невероятное: каждый старался выбраться скорее. Обгоняли друг друга, телеги цеплялись, люди кричали, размахивали кнутами… Мы обе действовали не менее энергично, удачно лавировали, не отставая одна от другой, и наконец пробрались к выходу из города.

Наши два дилижана привлекали внимание окружающих, и

слышались насмешливые, но добродушные возгласы: «Ишь, девок за кучеров посадили и едут!» Но «девки» не осрамились и благополучно выбрались на шоссе. Там ехать было уже легче. Мы остановились в восьми верстах от города в имении барона Штейнгеля. Была уже ночь, и мы решили там дождаться утра и, в зависимости от обстановки, действовать дальше. Лошадей отпрягли, но не снимали сбруи и привязали их к дилижанам, в которых примостились сами — кто как мог. Но перед самым рассветом проскакал мимо казак и сказал, что надо уходить, так как большевики входят в город, что большая часть войск уехала поездами, а по шоссе отходят артиллерия и казаки, но их очень мало.

Мы сейчас же двинулись дальше. На сорок восьмой версте остановились в имении Пестржецких, друзей тети Энни. Их самих там не было, но кто-то из служащих впустил нас в дом, и мы решили там остановиться: там мы могли и питаться, и было все необходимое для лошадей. Хорошо переночевали, но на другое утро мимо нас стала проходить отступающая артиллерия, и офицеры подтвердили, что Туапсе занят и что оставаться нам очень опасно. Ничего не оставалось делать, как ехать снова.

Через десять верст доехали до большого селения Лазаревка, где остановились наши русские части. Грузины благополучно укатили дальше.

Нам посоветовали не оставаться в Лазаревке, так как туда выходит с гор проселочная дорога и есть опасность, что на ней могут показаться большевики. Так что мы проехали еще пятнадцать верст и остановились в большом недостроенном доме — он стоял на поляне, окруженной лесом, и через нее бежал ручеек. Так что вода, дрова и корм для лошадей были под рукой. Когда мы приехали, дом был пустой, но потом там поселилось большое армянское семейство.

Мы заняли две большие комнаты, принесли сена и расположились. Лошадей стреножили и пустили пастись. Каждый из нас был назначен на определенную работу: обе дамы вели хозяйство, готовили на костре и смотрели за маленьким Юриком, генерал Безкровный с сыном доставляли дрова, папа и Николай Николаевич Княжецкий ходили к местным жителям в поисках продуктов, мы четверо караулили лошадей: ночью по очереди Аня, Петя и я, а днем Женя. Следили, чтобы лошади не ушли далеко и чтобы их не увели. Сидишь ночью на крылечке и слушаешь, как они едят или перескакивают стреноженными ногами; если покажется, что они удаляются, идешь проверить и подогнать поближе.

Петя днем из консервных банок мастерил посуду. Все по

очереди ходили к ручейку, раздевались, стирали свое белье и, высушив его, одевались. С продуктами было труднее всего. Денег у нас почти не было, у местного населения продуктов было очень мало, особенно не хватало хлеба, был только кукурузный. Все же папа никогда не возвращался с пустыми руками. Многие давали даром что могли, и мы кое-как питались. Изредка кто-нибудь ездил в Лазаревку узнать о положении.

Так мы прожили около двух недель. Наконец нам сообщили, что большевики, разграбив Туапсе, ушли по направлению на Майкоп и Армавир с целью пробиться к своим главным силам. Мы поехали обратно!

Глава 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКАЛЕВКУ. ЖИЗНЬ СНАЧАЛА

В Лазаревке нам повезло: нас взял воинский поезд, погрузив и повозки, и лошадей. Таким образом мы без усталости и быстро доехали до Туапсе.

Город был разграблен и страшно загрязнен! Мы зашли в банк дяди Коли: двери настежь открыты, все перевернуто, все бумаги разорваны на мелкие куски, брошены на пол, и их слой доходил нам выше колен. Переночевав в городе, мы с волнением поехали домой. Что там нас ожидало? Мы ни от кого узнать не могли.

Шоссе, после прохода целой армии с многочисленными обозами и беженцами, сильно пострадало: щебенка была выбита проходом такого множества телег и лошадей. Грязь ужасная. За перевалом стали встречаться разломанные телеги и убитые лошади. В двух местах были небольшие воронки от снарядов. Ашейский мост был сожжен, и нам пришлось пробираться по долине и искать место, чтобы перебраться на другую сторону. Небуговский мост уцелел. После него мы стали приближаться к жилым местам. Мы никого по пути не встретили и ничего не знали, что у нас делается. Но на шоссе начали появляться все больше и больше разные обломки мебели, разорванные книги, тряпки и т. д. Чем дальше мы ехали, тем больше видели следы разорений и грабежей. Мы ясно понимали, что нас дома ждет что-то ужасное!

Недалеко от Москалевки все шоссе было усыпано разломанными рамами из ульев. Значит, пчельник был уничтожен. Очевидно, кто мог, вытаскивал из ульев соты и ел по дороге. Где-то в кустах блеснула медная ступка.

Уже въезжая в ворота, мы увидели, что у нас побывало множество народа и лошадей. Весь лес был вытоптан, загрязнен, и везде виднелись остатки костров, где еще торчали

недогоревшие ножки стульев и столов.

Дилижаны услышали наши служащие и вышли нас встретить. Они не позволили нам ехать прямо в дом и попросили свернуть на ферму. Нам объяснили, что в доме полный разгром и что жить там нельзя!

Ферму же не тронули, и наши служащие предложили пока остановиться у них, что мы и сделали. Пришли туда и учительница, и прислуга, которые оставались жить в доме. Они много пережили, но в конце концов их не тронули.

Вещи свои они сохранили и припрятали к себе кое-что из нашей посуды. Вот что все они нам рассказали.

Большевики пришли к нам с рассветом 18-го, то есть рано утром после нашего бегства: задержала их темнота, и они заночевали в нескольких верстах от нас, что нас и спасло и дало возможность убежать. Первое, что они спросили, это: «Где генерал и его семья?» Не найдя нас, они схватили нашего старого рабочего Фурсова и расстреляли на глазах его жены и дочери, обвинив в том, что он нас предупредил. Он в этот день по своим делам поехал за сорок верст в деревню Тангинку и там неожиданно наткнулся на большевиков. Поняв, какая опасность нам угрожает, он тропинками побежал обратно, чтобы нас предупредить, и опередил большевиков часа на два, но, когда пришел в Москалевку, нас уже не было.

У него было много врагов, так как знали кругом о его отрицательном отношении к большевикам. Возможно, что кто-нибудь, кто видел его в Тангинке, придя к нам, его узнал, и этого было достаточно, чтобы его расстрелять. Похоронили его во фруктовом саду. Но на этом расстреле убийцы не успокоились: они вытащили из карманов фотографию какого-то незнакомого генерала и хотели прикончить кухарку, говоря, что она генеральская мать и похожа на фотографии. С большим трудом удалось доказать, что она прислуга, то же самое было и с ее дочерьми — горничными, которых обвиняли, что они генеральские дочки. Но их тоже спасли.

Наше имение очень понравилось штабу, который там и устроился. Большой, благоустроенный дом, полная чаша всего: бассейн с питьевой водой, сад, огород, сено, дрова и вся живность. Кроме штаба, по всему имению останавливались проходившие части, обозы, беженцы…

Штаб простоял у нас несколько дней. Когда все свиньи, птица были съедены, на огороде не оставили ничего, он двинулся вперед!

В доме тогда было еще относительно все цело. Но после ухода штаба через дом прошли многие сотни людей. Каждый

забирал с собой что только мог. Дрова кончились, рубить новые было лень, и стали жечь на кострах мебель.

Петербургские сундуки на плоской крыше стояли благополучно почти до самого конца, и, только когда появились обозы с беженцами и бабы бросились грабить, они разбили временную крышу веранды и нашли все. Пошла вакханалия! Через крышу вытаскивали ковры, белье, меха. Начались драки!.. И большая часть вещей тут же раздиралась на части: рвали дорогие меховые манто, скатерти, ковры…

Потом в лесу мы находили куски материй и меха. Когда уже нечего было грабить, стали разбивать все, что не могли унести. Нашим служащим удалось спасти одну корову и пару свиней, сказав, что это их собственные. На винограднике не осталось ни одной ягодки. В садах все же осталось кое-что. Главным образом груши и яблоки зимних сортов, которые в августе были совершенно зеленые, но на нижних ветках и они были сорваны. Огород и бахча имели самый жалкий вид, все потоптано, поломано и уничтожено!

Узнали мы и о судьбе тех помещиков, которые не успели убежать. Ближайшие наши соседи, профессор Филиппов с женой, бежали, а сыновья, юноши, ушли в горы, в лес и прожили там все это время. По ночам они спускались к себе на огород и в сад за пищей. Но все остальные, не уехавшие, были расстреляны — военный врач Протасов, Кравченко, Марков и Яковлев — старик из разбогатевших крестьян. Он жил безвыездно в своей усадьбе, семьи у него не было. Большевики нашли, что он похож на какого-то генерала, и на всякий случай его расстреляли. Даниловы в это время не жили у себя в имении. Их чудный дом с колоннами был разграблен, а затем сожжен до основания.

Мы переночевали на ферме, где наши служащие постарались устроить нас как можно лучше. А на другой день мы пошли в дом. Картина представилась нам ужасная: окна все были выбиты, зеркала разбиты вдребезги, мебель, которую не сожгли, была порублена шашками, все обивки, занавески сорваны. В кабинете все книги, журналы, документы, фотографии были разорваны на мелкие клочки, и ворох разорванной бумаги толстым слоем покрывал пол.

Рвали книги в поисках денег. У пианино были отрублены все молоточки, и оно было набито тухлыми помидорами. На стенах всевозможные безобразные надписи и рисунки, в углах комнат… уборные!

Трудно себе представить картину, которую мы увидели! Вокруг дома все было вытоптано и… поломано!!!

В кладовке стены были все исковерканы, и, если бы мы не

взяли вещей с жемчугом, — все бы пропало! Небольшое количество денег, которые папа зарыл за беседкой, исчезло — большевики копали вокруг дома в поисках клада и, конечно, наткнулись на эти деньги. Но драгоценности, которые были зарыты далеко в лесу, остались целы.

Положение наше было отчаянное, но выбора не было. Хотя все было разорено, урожаи почти полностью пропали, мы остались почти без денег и вообще без ничего, единственная возможность как-то прожить была — оставаться у себя, приводить все в порядок и начинать все сначала.

Здесь, по крайней мере, была крыша над головой и мы были у себя. Мы сразу же начали очищать дом. Перебрали все разорванные бумаги и книги в поисках документов и фотографий, кое-что находили, подбирали и склеивали, несколько кусков фотографий нашли в помойной яме. Из запасных стекол починили окна, а другие забили досками. Удалось починить кое-что из мебели, кровати, матрасы. Все надо было как следует вычистить, вымыть. Это заняло дней пять, и мы перебрались к себе. Кухарке удалось припрятать кое-что из посуды, а некоторые служащие получили в подарок от большевиков кое-какие наши вещи, которые они нам вернули. Все это была капля в море, но позволяло нам как-то обернуться.

Мы стали ходить по имению и искать брошенные и потерянные грабителями вещи. Так, я нашла свой кожаный несессер, в котором остались некоторые предметы — мыльница, щетка… Нашли два куска от папиного бобрового воротника его николаевской шинели, из которых мы с Аней смастерили себе шапки. В общем, все, что находили, чистили, мыли и приспосабливали к употреблению. Несколько вещей нам вернули крестьяне из Небуга, сказав, что это им подарили. Может быть, это и так, а может быть, и сами грабили.

Комендант Туапсе прислал нам большой кусок суровой бязи с красными полосками — из нее было сшито каждому из членов семьи по одной вещи: я получила платье, тетя Энни — блузу и т. д.

Труднее всего было с питанием. Особенно трудно с хлебом, так как муку можно было достать с большим трудом, и все меньше и меньше, — наше побережье своей муки не имело, а все запасы были увезены большевиками. Не было ни мыла, ни сала. Подвоза же не было никакого. Железная дорога была перерезана, там шли бои, а пароходы не ходили.

Во всей губернии начинался голод. Наше положение становилось безвыходным: денег почти не оставалось. Правда, предвиделась продажа оставшихся недозрелых фруктов, но этого,

конечно, было недостаточно, да и надо было ждать, пока они поспеют к сбору. Других доходов не было никаких, а жило нас, кроме нашей семьи и семьи Княжецких, еще учительница и три прислуги: всех надо было накормить, одеть и снова налаживать хозяйство. Кроме того, надо было Пете учиться дальше. Женя еще был маленький и проходил все с учительницей. Все, конечно, волновались, но ничего придумать не могли: ведь мы были отрезаны от всего мира.

Но вдруг один раз утром мы услышали на шоссе несмолкаемый грохот телег и сейчас же пошли посмотреть, что там происходит.

Перед нами по всему шоссе тянулась вереница пустых подвод, едущих по направлению к Новороссийску. После расспросов оказалось, что крестьяне, да и все, кто имел лошадей, решили ехать за мукой в Кубанскую область.

У папы сейчас же созрел план, и мы решили сделать то же самое и одновременно узнать о положении и попытаться как-нибудь наладить и нашу судьбу.

Часть третья. В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

Глава 1. ПЕРЕЕЗД В ЕКАТЕРИНОДАР

Приняв решение послать подводу на Кубань, папа предложил нашему соседу, профессору Филиппову, сделать это совместно. Они сейчас же сговорились и решили, что ехать надо до самого Екатеринодара, чтобы, помимо муки, которую можно было достать в станицах ближе, можно было бы все узнать о положении и устроить кой-какие дела.

Каждый из них дал по одной лошади; дилижан, как более прочный, взяли наш. Профессор Филиппов послал своего второго сына, гардемарина, а папа — нашего рабочего, Николая Коростылева, зятя расстрелянного Фурсова. Кроме того, с ними командировали меня, для устройства Пети в какое-нибудь учебное заведение и чтобы узнать, можем ли мы с Аней найти там какую-нибудь работу. Ане очень хотелось ехать с нами, но ее не пустили, желая как можно больше привезти муки.

Мы знали, что в Екатеринодаре живет тетя Катя Эккерт с тремя дочерьми, которые приехали туда из-за голода и беспорядков в Петербурге. Они жили в квартире у Вани Кобылина, так что я могла остановиться у них. Сборы были недолгие, и мы пустились в путь.

Считалось, что до Екатеринодара сто сорок верст, но никто их не мерил. Крестьянские телеги, не переставая, тянулись по шоссе, и мы влились в общее течение. Сначала ехали по шоссе в сторону Новороссийска, затем оставили его и повернули в горы по другому шоссе, которое шло до Архипо-Осиповки. Сколько верст, не помню, но, выехав утром, мы вечером были там. Переночевали хорошо у сестры Николая, которая была замужем за учителем.

Рано утром на другой день двинулись дальше в горы. Шоссе уже кончилось — сначала была приличная проселочная дорога, но, как только мы удалились от Архипо-Осиповки и начали подниматься по лесу, на перевале ее уже дорогой нельзя было назвать: страшно крутая, такая узкая, что разъехаться две телеги могли лишь только в редких местах. Вся в ямах, корнях деревьев и колеях. Мы поднимались порожняком и поэтому особого труда не было. Но когда поднялись на перевал, то услышали крики, понукания, ругань мужиков и скрип телег: это нам навстречу поднималась партия с мукой. Мы и все телеги, которые были с

нами, остались ждать наверху, чтобы пропустить встречных.

Сколько стоило трудов, чтобы поднять воз с мукой! Многие мужики соединялись вместе, оставляли одну телегу внизу и на двух парах лошадей поднимали каждую телегу. Другие сгружали внизу половину муки и, подняв одну, возвращались за другой. Все время была опасность, что телега перевернется на пнях и ямах, тем более что тот склон был сырой и по дороге были колдобины с водой.

Когда мы пропустили партию встречных, мы спустились в долину, где ехать было лучше, но несколько раз надо было переезжать речки вброд.

К вечеру доехали до деревни в глубокой долине, окруженной горами. Меня поразила яркая зелень и сочная большая трава: у нас в сентябре все уже давно выжжено солнцем. Ночевать остановились на краю большой поляны под высокими деревьями. Лошадей пустили пастись, я устроилась на дилижане, а Николай и Андрюша под ним: они должны были по очереди слушать лошадей, но оба спали мертвецким сном. Я спала тоже хорошо, но все же раза два их будила и посылала их за лошадьми. К утру я заснула крепко, и разбудил меня, как мне показалось, дождь: все было мокрое, и на меня капали крупные капли, но оказалось, что это страшный туман. Когда он рассеялся, была чудная погода — нам сказали местные жители, что у них так всегда. В этот день мы перебрались через второй перевал, такой же трудный, как и первый.

После него стало ехать все легче и легче: сначала пошли перелески и речки, которые переезжали вброд, а затем Кубанская степь. Вечером мы были в станице Ново-Димитриевской, где и заночевали. Казаки рассказывали, что недавно у них хозяйничали большевики.

На другое утро мы поехали дальше и скоро уже были в Екатеринодаре. Остановились прямо на базаре, заваленном продуктами. Я там оставила Андрюшу и Николая, которые должны были все закупить, а сама пошла к Ване Кобылину и тете Кате. Встретили меня все очень радостно и предложили остановиться у них, пока я не закончу все свои дела. Очень скоро после моего прихода прибежал какой-то человек с запиской от Андрюши Филиппова, где он сообщил, что он арестован и умоляет его спасти, указав, куда обратиться. Тетя Катя и я сейчас же пошли, взяв свои бумаги. У меня был папин послужной список, уцелевший от разгрома: он был со мной — для определения Пети в гимназию.

Когда мы показали бумаги, с нами стали разговаривать: оказалось, что Андрюшу арестовали, приняв его за матроса, так

как он бродил по базару в бушлате и белых затасканных брюках. Как матроса, его собирались расстрелять: ведь матросы были самые ярые и жестокие большевики, а в это время долго не разговаривали!

Никто Андрюше не верил, даже когда он говорил, что приехал записаться в Добровольческую армию. Мы с тетей Катей за него поручились, рассказали все наше дело, и Андрюшу отпустили.

Провели мы в Екатеринодаре два или три дня. Петю я устроила в гимназию. Ваня Кобылин и тетя Катя согласились дать нам одну комнату, чтобы Аня, Петя и я могли переехать в Екатеринодар.

Обратный наш путь был довольно тяжелый: мы взяли сорок пудов муки, много сала и мыла. По Кубанской области проехали без происшествий. Затруднения начались перед горами, где надо было вброд переходить речки. Один раз река была довольно глубокая, и пришлось часть мешков сгрузить и, перевезя первую, вернуться за второй. Другая река была страшно быстрая и довольно широкая. Андрюша и Николай пошли по воде, помогая лошадям, я же водрузилась на вершину воза и самым энергичным образом правила и кричала, как самый заправский деревенский кучер. Лошади были сильные и вывезли благополучно.

Оставалось два трудных перевала. Узнав, что можно очень дешево нанять пару волов, мы это и сделали. Их как-то прицепили перед лошадьми, и мы в таком оригинальном «экипаже» довольно легко поднялись на первую гору. Там отпустили волов и осторожно спустились. На второй перевал снова наняли волов, — эта пара была молодая и очень сильная. Их впрягли прямо в дилижан, а лошадей привязали сзади. Волы оказались такими резвыми, что быстро нас дотянули наверх и спустили на другую сторону. Иногда даже они бежали рысцой, размахивая своими длинными хвостами. Нам показался их вид такой смешной, что мы ехали и весело хохотали. Дальше мы добирались уже без приключений.

Дома все встретили меня радостно, увидя, сколько муки мы привезли, и узнав результаты моей разведки. Нас сейчас же стали собирать в дорогу, чтобы мы могли уехать, как только пойдет первый пароход. Ждать пришлось недолго, и мы трое уехали в Екатеринодар — в начале октября.

К тому времени одна из горничных устроилась в Туапсе. Вскоре уехал в Екатеринодар и Н.Н. Княжецкий: он там устроился в Военно-санитарное ведомство. Народу в Москалевке стало намного меньше.

В Екатеринодаре Ваня Кобылин и Эккерты дали нам большую

комнату, где мы разместились втроем. Хозяйство вели самостоятельно и начали понемногу устраивать нашу новую жизнь.

Сначала нам жилось там хорошо, но потом тетя Катя и три кузины стали все хуже и хуже к нам относиться и делали всевозможные каверзы. Ваня за нас заступался, но это не помогало. Тетю Катю и ее старшую дочь, мою сверстницу Зину, я очень любила, и раньше мы были очень дружны. Но в беженской обстановке они стали неузнаваемы, их примеру следовали младшие — Нина и Ава. Они от большевиков не пострадали, приехали в Екатеринодар из Петербурга, боясь революции и голода. Дядя, доктор, посылал им деньги, они не работали, ничего не делали, скучали. Добровольческая армия их не интересовала, а когда образовался фронт, их отрезали от Петербурга и они стали нуждаться, их это раздражало и даже злило. Работать они не хотели, а наши добровольческие идеи и радости им были не только непонятны, но приводили в ярость. Может быть, они боялись, что мы их скомпрометируем перед большевиками, так как они мечтали вернуться в Петербург. Они это и сделали, но когда нас там уже не было. Потом, за границей, я получила от них ласковые, хорошие письма. Зина там вышла замуж, была счастлива, а потом ее мужа арестовали, он пропал, а ее сослали в лагерь в Сибирь. Вероятно, ее давно нет в живых. Но в Екатеринодаре наша жизнь у них стала адом.

Петя начал ходить в гимназию, а мы обе стали искать работу. Я нашла почти сейчас же: приводилась в порядок большая библиотека какого-то кубанского министерства, и я туда устроилась. Ане не повезло: настоящей работы она не могла найти и устроилась подавальщицей в громадной офицерской столовой, где я завтракала как сестра. Аня жалованья не получала, но кормилась там. Так что мы сводили концы с концами. Аня, кроме того, в свободное время работала в комитете генеральши Алексеевой по сбору вещей. Это — работа идейная и, конечно, безвозмездная. Ей приходилось много бегать и часто таскать тюки.

С Петей у нас скоро начались недоразумения: он заявил, что хочет записаться в Добровольческую армию, что он учиться и делать карьеру не имеет права, пока его корпус не освобожден и другие кадеты сражаются. Никакие уговоры на него не действовали. Гимназию он возненавидел. Кроме того, стыдился своего вида. Формы у него, конечно, никакой не было, ходил он в рубашке с красной полоской, которую ему сшили дома. На голове была какая-то шляпа. Он, который всегда прекрасно учился, стал получать единицы. Уроков учить не желал. Я стала по вечерам

после службы с ним заниматься, но результаты были самые плачевные. Помню урок русской литературы — Державин. Петя мне сказал, что он ничего понять не может. Я билась, ему объясняя и вдалбливая в голову. На все мои старания он отвечал: «Оставь своих Державиных и Лермонтовых, я все равно ничего не понимаю, я вижу только Добровольческую армию». Я начала бояться, что он убежит. Стала его сама водить в гимназию и тащила его буквально силой.

Глава 2. В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ

К этому времени, 6 ноября 1918 года, я получила назначение в формирующийся 3-й Кауфманский госпиталь и переехала туда. Аня и Петя остались вдвоем, и с Петей стало еще труднее. Меня из госпиталя отпускали по вечерам к ним, когда я не дежурила ночью. Петя приводил меня в отчаяние. Чем бы это кончилось, не знаю, но он 23 ноября заболел брюшным тифом. Я стала просить старшего врача, доктора Корилоса, положить его в наш госпиталь. Сначала он и слышать не хотел, так как госпиталь был хирургический, но в конце концов, под давлением старшей сестры Амелуг, он согласился, но под мою ответственность, что никто не заразится. Петю положили в мою палату в углу и символически изолировали ширмой. Госпиталь был прекрасно оборудован — сестры все кауфманки, хорошо дисциплинированные санитары из пленных немцев, так что нетрудно было для Пети иметь отдельную посуду и принимать все меры предосторожности.

Госпиталь был для тяжелораненых, работы было много, и мы почти не выходили. Жили в больших комнатах, по четыре — по пять. Кроватей для нас не хватило, и мы спали на носилках, под которые подставили деревянные кубышки, чтобы они были выше. Кормили нас хорошо. Формы у меня не было, и поэтому первое время я всегда ходила в халате. Косынки мне сделали, потом постепенно я обзавелась всем необходимым. Правда, бязевое платье с красной полоской долго носила, вместо форменного, с передником, крестом и косынкой.

Когда Петя поправился, меня пустили (15 января 1919 года) отвезти его домой. Аня в это время нашла службу в каком-то министерстве.

Глава 3. ПЕРЕМЕНЫ В МОСКАЛЕВКЕ

В Москалевке наши понемногу устроились и жили тихо и мирно. Папа решил заняться дровяным делом. Дрова тогда стоили очень дорого. Сначала папа начал рубить в своем лесу, а

когда дело пошло, стал арендовывать у соседей. Постепенно стали продавать не только дрова, но и брусья и доски. Была куплена еще пара лошадей. Дело было сложное, так как все надо было доставать, искать и выписывать из разных мест: инструменты, муку для рабочих, корм для лошадей и т. д.

Постепенно папа начал все лучше и лучше зарабатывать и надеялся не только прожить на доходы, но и снова поднять имение. Петя дома стал быстро поправляться, но все мысли его были о Добровольческой армии. В моей палате в Екатеринодаре лежало несколько раненых кадетов, и, когда Петя перестал быть заразным и уже ходил, он все время проводил с ними и там бесповоротно решил записаться в армию, как только поправится совсем. Он сообщил папе и тете Энни о своем решении, но они и слышать об этом не хотели. Петя как будто смирился.

Вскоре он поехал в Туапсе, там встретился с добровольцами-кадетами и решил удрать. Дома все приготовил, но Женя его выдал. Папа и тетя Энни были в отчаянии. Мы с Петей были очень дружны, он с моим мнением считался, и я решила с ним поговорить.

Мы пошли гулять по розовой аллее к обрыву и долго разговаривали. Он мне сказал, что со многими моими доводами согласен, но остаться не может, так как это выше его сил. Я просила его нас понять и дать нам обещание не удирать и постараться примириться с мыслью, что надо дальше учиться и поберечь папу, который не перенесет Петиного отъезда. Но если ему не под силу будет сдержать это обещание, он должен будет пойти к папе и все ему сказать. Я сказала, что поговорю с папой и попрошу его обещать отпустить Петю, когда он придет сказать, что больше оставаться дома не может. Петя согласился, мы пошли к папе, они поговорили и друг другу дали обещание.

Теперь все были спокойны, зная, что Петя сдержит свое обещание. Но надолго ли хватит его воли, чтобы не попросить его отпустить?

23 января 1919 года я уехала обратно в Екатеринодар. Вскоре после моего возвращения я узнала, что начали восстанавливать флот.

Адмирал Герасимов написал воззвание, призывая всех моряков. Я поехала в Новороссийск все узнать и послала это воззвание Пете и папе.

Сейчас же было решено Петю отправить во флот. Он был страшно рад. Папа за него попросил, и очень скоро Петя получил назначение на миноносец «Дерзкий», который ремонтировался в Новороссийске. В это время я приехала в отпуск (7 апреля), пробыла две недели. Была Пасха.

Петя немедленно туда явился, был принят матросом и принял деятельное участие в ремонте (Петя уехал до меня). Потом в плавании был назначен сигнальщиком.

Вскоре после Петиного и нашего с Аней отъезда в Москалевку пришли разбойники под видом каких-то депутатов. Всех построили в одной комнате, стали обыскивать дом (с целью грабежа). Но наши почти не пострадали, так как грабить уже нечего было. Но Нина Романовна Княжецкая, которая все еще держала свои драгоценности в ночном столике, конечно, не успела их передать Юрику, и все у нее было взято.

После этого случая стало ясно, что оставаться жить в глуши одним слишком опасно.

Нина Романовна с Юриком уехали к Николаю Николаевичу, а учительница нашла службу в городе, так как Женя благополучно сдал экзамен в следующий класс при Туапсинской прогимназии. Наши перебрались ближе к Небугу, около имения Еремеевых. У них была санатория для выздоравливающих, и они занимали все соседние пустые дачи. Одну из них они предоставили нам. Там было спокойнее, кругом жили люди, и недалеко был казачий пост.

В это же время папа узнал, что восстанавливается в Севастополе Морской корпус. Он повез туда Женю, определил его, а также и Петю, которого вызвали с миноносца приказом. Папа и тетя Энни жили некоторое время около Еремеевых. Я один раз туда приехала, но, когда казачий пост ушел, а на фронте началось отступление, они решили переехать в Туапсе. Поселились на краю города, в доме лесничего: он сдали им одну комнату. Лесничий и его семья были очень симпатичные и хорошие люди, и нашим жилось там неплохо.

Глава 4. В ПОХОДАХ С ТЕРСКОЙ ДИВИЗИЕЙ

После моего отпуска, в апреле 1919 года, я уже больше в госпитале не работала: вернулась и получила назначение в 4-й Передовой отряд Красного Креста при Терско-Кубанской дивизии генерала Топоркова в корпусе генерала Шкуро. Еще зимою мы, сестры, узнали, что на фронте совершенно нет настоящих сестер, видели, в каком виде приезжают тяжелораненые, и решили, что наше место там. Кроме того, начался сыпной тиф, и многие фронтовые лазареты остались без персонала. Мы стали просить о переводе, но наши врачи и слышать не хотели и делали все, чтобы нас задержать, говоря, что хорошая сестра нужна и в тылу. Мы же доказывали, что в тылу они всегда найдут других и что во всяком случае им легче обойтись без нас, чем на фронте, где

зачастую не было и врачей. После долгих хлопот все сестры, которые просили, получили назначения в отряды, лазареты и поезда. Нас заменили другими: мы оказались правы. Но после нас поехало еще много других.

Аня осталась в Екатеринодаре — она подружилась с одной барышней, своей сослуживицей, Тамарой Стуловой. Они нашли комнату с кухней и поселились вдвоем.

Назначение в отряд я получила *30 апреля 1919 года* — он формировался в Екатеринодаре; сестры были назначены очень разные. Из кауфманских только Шура Васильева, с которой я была дружна, но накануне отъезда она заболела и осталась. Были три хороших сестры какой-то провинциальной общины: Ларькова, Гришанович и Абелыкина, затем еще Васильева, очень простоватая и неизвестно как попавшая под видом сестры, а также еврейка, «сестричка» Вера Ходоровская. Никакого представления о медицине она не имела, поехала развлекаться, флиртовать и играть роль! Из-за нее было очень много неприятностей и ссор, даже скандалов: она заводила романы со всеми начальниками и пыталась нами командовать.

16 мая. Отряд эшелоном выехал догонять дивизию. В Ростове-на-Дону простояли четыре дня. Там я нашла Аню Думитрашко. Хорошо провели время: столько надо было рассказать друг другу! Эшелон дошел до станции Авдеевка, вернулся до Ясиноватой и дошел до Славянска, где мы стояли три дня. Рядом с нами оказался эшелон с Вадиной (мой двоюродный брат) батареей, и мы с ним неожиданно столкнулись. Не видались с Петербурга, с самого начала революции.

30 мая. Прибыли в Изюм и выгрузились. На вокзале были раненые терцы, и я дежурила ночь.

1 июня. Вышли из Изюма походным порядком, проехали поздно ночью через деревню Староверовка, где недалеко стоял большевицкий броневик. Ночевали тревожно в двух верстах в деревне Няволодовке.

2 июня. Прибыли в Купянск и соединились с дивизией. Мы расположились лагерем. Меня посылали, с десятью двуколками, перевезти больных и раненых за две версты на станцию Заосколье.

3 июня. В 8 часов утра вся дивизия собралась на площади, был парад, и полки с музыкой начали выступать; за полками шла артиллерия, несколько крестьянских повозок со снарядами, и за ними мы. Весь обоз шел сзади. Мы ехали по одной сестре на двуколке — сидели спереди рядом с ездовым (то есть с тем, который правил). В ногах стоял походный сундучок с самым необходимым: остальные вещи были в обозе. На дне двуколки

было всегда свежее сено, и, если не было раненых, мы могли там отдохнуть и поспать. Сначала все двуколки имели брезентовые крыши и бока (аэропланы, как говорили казаки). Но очень скоро начальник дивизии приказал их снять, так как они были видны издалека и выдавали дивизию в походе. Обыкновенно мы выступали рано утром, шли весь день и вечером ночевали в какой-нибудь деревне. Среди дня останавливались и недолго отдыхали, если все было спокойно. Нам квартирьеры отводили хаты. Там мы спешно ели, что находили, — простоквашу, яйца — и заваливались спать на носилках. Бабу просили сварить суп из курицы. Варилась она ночью в русской печке. Утром, встав, съедали приготовленное и остатки курицы брали с собой. Днем на ходу крутили гоголь-моголь, ели подсолнухи, которые наши ездовые рвали в полях для себя и для нас. Яйца всегда у меня были: мой ездовой обожал сырые белки, поэтому у него всегда был запас свежих яиц. Я крутила гоголь-моголь, а он глотал белки. Когда мы получали раненых, мы на ночевках почти не отдыхали: приехав вечером в деревню, надо было их устроить по хатам, перевязать, накормить, оставить дежурную сестру, так что ложились спать очень поздно, а вставать надо было рано, чтобы к выходу дивизии все раненые были накормлены, перевязаны и отправлены в тыл; если их отправить было нельзя, то надо было уложить их на наши двуколки, чтобы везти дальше с собой.

Очень часто мы попадали под обстрел, главным образом броневиков, так как одна из задач дивизии была взрывать железнодорожное полотно. Броневик — это бронированный паровоз с тоже бронированными вагонами-площадками для артиллерийских пушек и пулеметных гнезд; их задача была охранять железнодорожные мосты и железнодорожные пути и станции.

Когда начинался обстрел, летучку старались отвезти в сторону, но не всегда это было возможно. Очень меня забавляла сестра Ларькова: она всегда имела при себе большую красную подушку и, когда начинался обстрел, она, как страус, прятала под нее голову.

Из Купянска начался Харьковский поход. В первый день нашего похода пришли в селение Великие Хутора. Нашему отряду отвели несколько халуп. Двуколки остались на улице. Мы бегали и покупали яйца и молоко. Казаки сразу же повесили на телеграфном столбе учителя-коммуниста, а двух учительниц выдрали.

6 июня. В 6 часов утра выступили дальше. Весь день шли благополучно, только в 11 часов подскакал легко раненный казак разведки; они еще рано утром наскочили на большевиков, но те

исчезли. К вечеру мы подошли к деревне Хотомля. Послали разведку и квартирьеров. Жители сказали, что красных нет, но, как тронулись к деревне, началась стрельба: оказалось, что человек тридцать красных сидело во ржи. У нас один убит, три раненых. Когда началась стрельба, мы все остались стоять на дороге, в том порядке, как шли. Большевиков прогнали — у них было много раненых, остались лежать убитые. Мы взяли наших раненых и въехали в деревню. По дороге видели трупы красных во ржи.

7 июня. Дневка в Хотомле. Изредка слышна артиллерийская стрельба. Раненые лежат в халупе.

8 июня. Отправили раненых на обывательских подводах на железнодорожную станцию и выступили. Доехали до деревни Некрытая и остановились под откосом дороги, у моста. В это время шел бой, непосредственно за деревней. Полковые сестры на тачанках подвозили раненых. Наша дежурная сестра их принимала и клала в двуколки. Бой продолжался часа два. Мы двинулись дальше. На дороге лежали убитые лошади (с одной уже была содрана кожа). Проехали мимо трупов большевиков. Наши санитары и казаки бросились их осматривать и снимать то, что годилось: сапоги, обмотки, брюки. Много убитых лежало во ржи и в кустах. То место, где красные бежали, было все усеяно котелками и разными вещами.

Всю дорогу нам подвозили раненых. Работали все сестры. Дорога была отвратительная, шел ливень. Двуколки отставали друг от друга. По дороге умерло двое: хорунжий Стрепетов и казак, их мы везли все время с собой. Поздно вечером приехали в деревню Русские Тишки, в двенадцати верстах от Харькова. Ночевали там. Раненых устроили в двух хатах. Легли усталые в 12 часов ночи.

На другое утро, в 6 часов, поехали к Харькову через деревню Малая Лозовая. Очень быстро пошли по Белгородскому шоссе и остановились в четырех верстах от города, около здравницы Красного Креста.

Нас встретили с цветами, угощали молоком. Войска были уже почти в городе. Изредка была слышна артиллерийская стрельба. Вдруг затрещали пулеметы и раздались ружейные выстрелы. В это время мы, сестры, бродили по парку около шоссе. Сестра Васильева и особенно Вера Ходоровская (еврейка), как безумные, вскочили в первую двуколку и понеслись обратно. Увидев, что помощник начальника отряда, капитан Константин Максимович, и многие солдаты лежат за бугром, оставшиеся сестры и я легли тоже. Пули летели через нас, и в отряде началась паника. Несколько двуколок с ранеными повернули и унеслись. Капитан

пробовал их остановить, но это оказалось невозможным. Оставшимся он приказал медленно отходить, но паника продолжалась. Тогда капитан с винтовкой в руках встал навстречу бегущим и крикнул, что будет стрелять. Тогда только все успокоились и медленно отошли. Все обозы отступали на Малую Лозовую, нас прикрывала сотня казаков. Потом оказалось, что около Харькова близко к нам подошел броневой автомобиль. Он-то нас и обстреливал, идя за нами. Выбравшись из-под обстрела, мы попали на песчаную дорогу: колеса совершенно утопали в песке. Все сестры и ездовые шли пешком, кое-кто из легкораненых тоже. Так, усталые и голодные, мы добрались до деревни Большие Проходы, где живут великороссы, очень красивые и в интересных костюмах. На другой день была дневка. Раненых отослали на железную дорогу и днем хоронили умерших. Мы пели в церкви.

11 июня. Выехали рано утром. Наши части взорвали железную дорогу Харьков — Белгород и на Льгов. Мы очутились в городе Золочев, уже севернее Харькова, то есть в тылу у большевиков. Там застряло много поездов. Говорили, что был и поезд Троцкого, сам Троцкий будто бы на лошади удрал в последний момент. Стояли полные эшелоны со снарядами, мукой, крупой и целый поезд с сахаром и инжиром. Началась вакханалия! Пылающие вагоны и толпы людей, бегущих за добычей. Нам тоже хотелось поесть винных ягод, но нам неудобно было брать самим, и мы, сидя в двуколках, кричали и просили нас не забыть. Получили много и ели до тошноты. Ночевали в деревне Рогозянка.

12 июня. В 11 часов утра двинулись на соединение с армией на Харьков, опять через Золочев. Ночью большевики починили путь и четырьмя эшелонами пришли туда, но наши эти эшелоны захватили. Войска ушли обратно. От Золочева одна наша бригада пошла по одну сторону железной дороги, а другая — наш отряд — перешла железнодорожное полотно и пошла по другой стороне, вдоль насыпи. До 6 часов вечера все было благополучно. Мы стали из леска, по ржи, подниматься вдоль железной дороги на гору. На другой стороне увидели нашу другую бригаду, которая шла на соединение с нами. Часть полков была впереди. Вдруг началась канонада. Мы спустились в лощину. Стрельба все больше и больше: снаряды рвутся и спереди, и сзади, и наверху. Идти некуда! Мы остановились, легли все в канаву и ждали. Со стороны железной дороги выехала вторая бригада и пошла на гору. Ее обоз остался на той стороне. Наши же столпились около летучки. Сестрам приказали перебежать под мост и на ту сторону. Но в этот момент обоз двинулся за полками; сестры Васильева,

Ходоровская и я вскочили на тачанки-летучки и поехали за ними. Снаряды рвутся кругом! Вижу убитых лошадей! Началась ружейная и пулеметная стрельба! Наши отступают!

Мы остановились на бугре и не знали, что делать. Ранило полковую сестру. Убило врача. Обоз понесся в панике обратно (все обозы на крестьянских телегах с мужиками). Все стремились проскочить под мостом — одни проскакивали, другие цеплялись и не попадали. Мы три поспешили туда пешком. В это время позвали взять раненого. Санитаров не было. Сестра Васильева и я стали тащить его сами. Я вся была залита кровью. Удалось остановить одну повозку, двуколку, и положить или, вернее, бросить его туда. Снова позвали к раненому. Наши двуколки уже ускакали. Я положила раненого на телегу и поехала с ним сама. Сумки со мной не было, и я пока зажала его рану его же рубашкой. Здесь я уже не помню стрельбу, которая все продолжалась. Цепи большевиков были уже видны. Одно мне казалось ясным — это что если мы не будем убиты, то попадемся большевикам. Но телега, на которой я ехала с раненым, проскочила и поехала по полю, которое оказалось болотом. Доехали до широкой глубокой канавы, через которую было устроено подобие моста из валежника и соломы. Кое-кто проскочил по нему, но парный экипаж дивизионного врача свалился в воду. Его там бросили, но лошадей отпрягли. За ним окончательно провалился мост и провалилась наша кухня. Одна лошадь затонула. Проезда нет! Цепи близко! Все двуколки и подводы собрались в кучу. Капитан приказал всем сестрам перебираться на ту сторону и бежать что есть силы. По провалившейся кухне и экипажу мы перебрались и побежали. Осталась только немолодая сестра-бельгийка. Но двуколки не растерялись и пошли в обход, за ними телеги. На болоте они все разъехались в разные стороны. Одна затонула, и ездовой под страшным огнем ускакал на пристяжной. Моя двуколка не утонула благодаря чудному кореннику Орлу, который и вытянул, хотя сам завяз уже глубоко. Четыре двуколки пошли за одним из полков, потеряли его и, после долгих мытарств, через два дня догнали остальных. С ними была и мадам бельгийка. Когда она по болоту шла пешком, ее сбило орудие — ей переломило руку и сильно повредило ногу. Она отделалась еще легко благодаря болоту, в которое она была вдавлена, а на твердом грунте ее могло бы раздавить совсем.

Когда мы, сестры, перебрались через канаву, каждая побежала, как могла, по направлению, куда ушли обозы второй бригады. Я бежала последней, чувствуя, что не догоню. Увидала лошадь с постромками, поймала ее, но не успела сесть, как

подбежал наш взводный Стеценко, вскочил на нее и ускакал. Я осталась одна. Обгоняет верхом офицер, обещает задержать подводу. Сели сестры Васильева, Ходоровская, которые были недалеко, и я. Проехали немного, кричат: «Берите раненого». Я соскочила, сестры были рады, так как лошадь уже устала, и уехали. К счастью, подъехала тачанка, я положила казака на нее и села сама. Догнали уходившие обозы. Я кричала, чтобы давали дорогу раненому, нас пропускали, и я наконец соединилась с частью отряда, который выбрался. Стемнело, стрельба окончилась. Подъехал казак и приказал летучке ехать за ним. Ехали недолго, и нас остановили на ночлег. Двуколки встали в круг, обоз сзади нас. Лошадей не отпрягали. Двуколки были переполнены ранеными. Мы легли кучей во ржи и заснули: спали все, даже дневальные. Ходил и дежурил за всех один капитан, Константин Максимович.

Рано утром нас разбудили летящие в нас снаряды от «товарищей». Казаки ночью ушли, куда ехать, мы не знали, а снаряды все летят. Наконец кто-то приказал ехать. Лошади заморены, двуколки многие поломаны, люди едва держатся на ногах; мы большей частью шли пешком, так как все телеги были заполнены ранеными и места на телегах для нас не было.

Ехали почти все время без дорог, иногда по полю в гору, и лошади едва-едва вытягивали. Попали в лес, шли по узкой глинистой дороге, которая была вся в ямах, наполненных водой, и там попали под ружейную стрельбу. Лошади, как могли, пошли рысью, мы бежали рядом. Наконец выехали из леса и поскакали в овраг. Стрельба затихла, но, как только поднялись на гору, опять летят снаряды. Мы крутились, окруженные большевиками, заехали в деревню — стреляют туда.

Так длилось до вечера, когда мы добрались снова до Золочева, перешли опять железную дорогу и встретились со своими отставшими.

Сбоку шел бой, рвались снаряды и слышна была ружейная и пулеметная стрельба. В этом месте мы были спасены, так как вырвались из кольца, которое не надеялись прорвать. Харьков был взят, и отступавшие большевики наткнулись на нас и окружили. Но мы прорвались, и в эту ночь спокойно проспали в деревне Мироновка, где на другой день была дневка.

Сестры некоторые так разнервничались и перепугались, что едва могли работать, а раненых у нас было тридцать один человек. Гораздо позже я получила бумагу о награждении меня медалью святого Георгия. Еще были награждены, не помню, кажется, сестры Ларькова и Гришанович.

15 июня. Выступили к Харькову. На станции Пересечная

погрузили всех раненых на поезд. Сопровождать послали меня и четырех санитаров. Отряд пошел к месту стоянки на станцию Куряж.

В Харькове я сдала раненых и пошла искать С.Вл. Данилову, но, к сожалению, не застала ее дома. Вернулась в отряд поздно ночью, страшно усталая после всего пережитого. Хотела успокоиться и отдохнуть. Но мне не дали и сразу же послали в командировку на базу, которая стояла в городе Славянске.

19 июня. Вернулась рано утром, устроилась хорошо с новой сестрой: ходили купаться на реку. Здесь был назначен длинный отдых.

В Куряже простояли до 25 июня, и нас перевели в деревню Огульцы, дальше от Харькова, где казаки начали себя плохо вести. Приехал новый доктор, назначенный старшим врачом. Он всех поднял на ноги, работа закипела. После взятия Харькова Кубанская бригада от нас ушла и пришла 2-я Терская. Начальником дивизии назначен был генерал Агоев (старший), но до его приезда временно командовал его брат, полковник.

2 июля. Дивизия выступила в поход. Взяли с собой только часть отряда и никакого обоза — старший врач, сестра Гришанович, я и еще три санитара, несколько двуколок с ездовыми, за начальника был капитан Константин Максимович. Сказали, что короткий налет: пробудем дня два. Приказали не брать никаких вещей. Остальная часть отряда с обозами перешла в Люботин.

В первый день прошли мимо винокуренного завода. Казаки и санитары развеселились, ехали с песнями.

На другой день по приказанию начальника дивизии сняли с двуколок «аэропланы», так как их было видно издалека. Ехать стало лучше: больше воздуха и все видно. Проехали имение Харитоненко, превращенное в коммуну. Там казаки поживились: взяли и много сахару, и лошадей. Около села Городнянка остановились, так как впереди шел бой.

Стояли довольно долго и пошли дальше степью. Впереди видны были разрывы снарядов и слышалась стрельба из ружей и пулеметов. На ночь повернули обратно и ночевали в деревне Козиевка. Без начальника отряда, нудного педанта, все почувствовали себя гораздо лучше. У нас создались прекрасные отношения с командой — так как с нами не было кухни и питаться мы должны были чем Бог послал, мы стали питаться с командой. Днем добывали кто что мог, вечером сваливали все в общий котел и по-братски делили.

4 июля. Выступили в 5 часов утра, опять в ту же сторону, но очень скоро начался бой. Большевики обстреливали с броневика

нашу батарею. Мы остановились в степи, куда нам подвозили раненых. Сестры их перевязывали и клали в двуколки — было два очень тяжелых, и один из них почти сразу же умер. Но бой скоро кончился, и мы еще днем доехали до линии железной дороги в деревне Яблочная, около станции Кириновка. Снаряды с броневика летели через нас. На другое утро отправили раненых, выступили из деревни и стали около батареи. Стоящий недалеко наш броневик «Князь Пожарский» начал стрелять. «Товарищи» немедленно стали отвечать, и нас вернули в деревню. К вечеру дивизия неожиданно выступила, и мы на рысях пошли по страшнейшей грязи. Сбоку шел бой, у завода Терещенко. Мы пошли в обход Ахтырки и в 12 часов ночи остановились в селе Высокое, у очень симпатичной учительницы.

6 июля. В 5 часов утра пошли дальше. Часа в 3 вошли в село Колонтаевка, где нас совсем не ожидали. Место удивительно красивое, в низине и все в зелени. Нас обеих поместили в школе и сказали, что будет дневка.

Мы были в походе уже четыре дня и конца его не видели. Поэтому решили заняться собой: ведь вещей с нами не было никаких, ни одной смены белья. Нам растопили печь, мы постирали и повесили все, что на нас было надето, поставили ужин, вымылись, намылили головы, и вдруг начался обстрел снарядами, а вслед за тем ружейная и пулеметная стрельба и перестрелка. Капитан побежал в штаб и узнал, что надо немедленно уходить. В десять минут все было готово — лошади запряжены, а мы — одеты во все мокрое, с косынками на намыленных головах. Пули свистали уже во дворе. На улице паника. Снарядные телеги стараются обогнать одна другую, цепляются. Мы продвигались среди них. Было очень жутко! Ночь, ничего не видно. Но наконец мы выбрались мимо мельницы на гору, на открытое место. Подошел штаб дивизии. Нас всех выстроили на дороге, возле ржи, по три повозки в ширину, спиной к деревне и приказали стоять до утра. Думали, очевидно, утром нас двинуть дальше. Нам, мокрым, было холодно, и мы зарылись в сено в своих двуколках.

Почему нас оставили стоять на бугре до утра, не знаю. Но как только взошло солнце, красные открыли по нам стрельбу из тяжелых орудий: они стояли по ту сторону деревни, в лесочке, а мы растянулись вверх по открытой горе — вся дорога была перед ними! Наши так крепко спали, что не проснулись от первых выстрелов. Сестра Гришанович и я стали их будить. Обозы в панике уже неслись. Пока наши все проснулись, запрягали лошадей, разорвалось еще несколько снарядов, и все ближе и ближе.

Наконец мы поехали. Капитан в таких случаях держал себя удивительно спокойно и твердо. Он выстроил всех по порядку и свернул с дороги на пашню. Командовал отчетливо и строго. Но было очень страшно, и в тот момент мы мысленно возмущались, что он не позволяет ехать скорее: мы отступали шагом, а снаряды нас догоняли. Капитан это делал, чтобы не удаляться от полков, где могли быть раненые.

Мы свернули в высокую рожь, но, когда снаряды стали нас догонять, мы перешли на другую сторону дороги и там снова пошли по ржи.

Наконец мы вышли из сферы огня и остановились. Привезли раненых, мы их перевязали и отправили в тыл. Вечером вернулись в Колонтаевку. Красных выгнали из болота, где они прятались, и погнали.

В Колонтаевке мы нашли еще раненых. Мы заехали в ту же школу, чтобы их перевязать. Одного надо было оперировать. Дивизия ушла дальше: нас торопили, но мы не успели, и пришлось потом догонять одним. Как охрану, нам оставили шесть казаков с пулеметом. Ехали в сумерки. Было жутко. Проехали мимо большевицких окопов, видели трупы. В 10 часов вечера приехали в деревню Рындау и остались на ночь. Красные ночевали в соседней деревне, за две версты. Было приказано, что, если ночью будет три выстрела, значит, надо бежать. Лошадей не распрягли. Под таким впечатлением, конечно, мы легли не раздеваясь. Но проспали благополучно до 5 часов утра, когда двинулись дальше. В первой же деревне мы попали под еще больший обстрел. Обоз стал отходить. Мы въехали в самую деревню. Капитан сказал нам обеим сойти с двуколок и сесть под деревья в тенистом вишневом саду, так как стреляли больше высокой шрапнелью. Но когда снаряды стали рваться все ближе и ближе, он нас отослал за хату, стоящую в стороне. Но скоро и там нельзя было оставаться; тогда нас обеих и одного раненого он на одной двуколке послал за обозами. С нами пошла и аптечная двуколка. Сам он с отрядом спустился под откос и едва спасся. Мы ехали по дороге. Снаряды стали нас догонять. Наконец, думая, что мы достаточно отошли, мы остановились — сразу же летит снаряд! Мы — дальше, и так несколько раз. Наконец я решила свернуть с дороги и поехать по ржи. Нашли овраг, там были казаки с конями, мы присоединились к ним и уже от них не отставали. Как только снаряды начинали лететь к нам, мы меняли место. Только среди дня к нам подошел отряд. Постепенно в этот овраг стянулись и обозники, и части полков.

Раненых было много: снаряд, упавший среди обоза, перевернул три повозки и контузил двух мужиков. К вечеру нас

тронули на старое место, но там началась перестрелка, и мы повернули в другую сторону. Шли медленно, так как кругом были бои. Мне пришлось один раз вернуться на моей двуколке в деревню за ранеными.

Наконец мы дошли до села Первозвановка, около станции Кочубеевка, и заночевали. Думали, что поход и все волнения окончены, так как задачу исполнили: перервали полотно на Полтаву и ночью заставили крестьян сровнять полотно. Броневики красных (было четыре) отогнали. Но когда они стреляли, снаряды рвались сплошной стеной.

9 июля. Раненых на подводах и двух двуколках отослали прямо в Люботин. Сами пошли обратно тоже, но круговой дорогой. Ехали не торопясь. Начальник дивизии, полковник Агоев, объезжая дивизию, благодарил за поход, и мы спокойно тронулись в путь.

Вдруг сбоку началась ружейная стрельба. Сейчас же все приняло боевой вид. Нас отставили назад. Оказалось, что очень большое количество красных было окружено другими частями и прорывалось. Они на нас натыкались в каждой деревне, отстреливались и бежали. В одной деревне они оставили записки с поклонами от терцев-большевиков. Вечером мы наткнулись на большое количество красных: кроме конницы, было много пехоты. Бой завязался серьезный! Мы тоже попали под пули, но нас скоро оттянули обратно. В полной темноте в поле стояли наш отряд и обозники. Курить, говорить запретили: кругом нас, и близко, бой. Везут все время раненых — уже нет места. Вдруг из темноты выползло несколько фигур с винтовками.

Какой ужас мы в этот момент пережили! Но оказалось, что это разведка Самурского пехотного полка.

Подвели одного казака, который десять минут пробыл в руках красных, — ему успели сильно порезать руки. Между прочим, старший врач в начале похода дал нам обеим порцию морфия, чтобы не попасться живыми в руки большевиков. Мы эти «ладанки» носили на цепочке с крестом.

Наконец приказано было отступать. Все безумно устали. Лошади, люди едва поднимают ноги. Мы пошли по давно заброшенной дороге, по которой уже несколько лет никто не ездил. Она проходит частью по болоту и на протяжении версты залита водой, и только кое-где торчат подобия мостов. За болотами страшнейшие пески. Ночь была темная, не видно ничего. Лошади не идут. Раненые тяжелые, их много и они стонут от всех толчков. В воде постоянно останавливаемся, чтобы не упасть с гати, едва взбираемся на мосты. Многие двуколки ехать не могут, и их тянут люди. Растянулись далеко и стали

теряться, — едва нашли снова друг друга.

Остановились около селения в третьем часу ночи, а в пять уже пошли дальше. В довершение всего нас подмочил дождь. Ехали дремучим лесом: дорога тяжелая — грязь, кручи, пни. Наконец в 8 часов утра добрались до селения Искровка, около станции. Расположились там. Сил совершенно не было: едва волочили ноги. Устроили раненых, накормили, перевязали. Один скончался. В 6 часов вечера я отвезла их и сдала в летучку, которая подошла к станции.

Переночевали в Искровке и думали простоять весь день и отдохнуть. Но вдруг во время обеда — обстрел и вслед за тем ружейный и пулеметный бой в самом селении. Оказалось, что у нас не были выставлены дозоры, а красные вошли в село, совершенно не ожидая, что оно занято нами. Это были те же, с которыми мы сражались накануне и от которых бежали болотом кратчайшей дорогой. Они же бежали по круговой и пришли в то же место, что и мы. Моментально обоз и нас отослали на станцию Коломак. Там мы простояли недолго: большевиков отогнали, и мы вернулись обратно, но не на старые квартиры, а просто под бугор, где и заночевали.

12 июля. В 10 часов утра пошли на Коломак, где встретились со всеми обозами и нашим отрядом, пришедшим из Люботина. Наш сухой и неприятный начальник отряда, Михаил Иванович Пестич, встретил нас не очень милостиво: был недоволен, что сняли с двуколок «аэропланы» и что вообще были так долго без его надзора. И верно, мы без него жили дружно, свободно и просто. У нас иногда бывали гости — офицеры, полковой врач, кое-кто из штаба. Стали говорить, что на Полтаву пойдем все вместе. Наша часть отряда, проделавшая поход, не была этому рада: мы надеялись, что поедем в Люботин и отдохнем.

Остановились в деревне Коломак, и там вышел приказ — идти в поход только части отряда. Начальство по этому случаю перессорилось: санитарам сказали, что уставшие могут оставаться, и взяли других. Мы обе тоже хотели остаться, но старший врач, который ехал снова, сказал, что нас не отпустит. Остальных же четырех сестер назначил начальник отряда. Так что поехали все шесть. Вечером, совсем разбитые, мы приехали в деревню Шелутьново. Устроились хорошо. Ночевали в клуне[10].

1-й Терский полк пригласил нас на шашлык, но мы обе так устали, что не пошли. Остальные пошли. Мы же твердо решили настоять на своем и упросить доктора нас отпустить.

Утром 13 июля начали просить его, но он упирался, делал все возможное, чтобы нас задержать. Но мы все же доказали, что пользы от нас ждать нельзя, что мы не в силах перенести новый

поход, и он нас отпустил. Дал нам двуколку, и мы поехали через Коломак на Перекоп, где стоял обоз. Когда мы въехали в Коломак, где стоял штаб, начальник штаба полковник Дурново крикнул нам, чтобы мы проезжали скорее. Как только мы выехали из села, оно стало обстреливаться, и затем затрещали пулеметы.

До обоза доехали благополучно. Там встретили начальника отряда, который через Харьков собирался ехать по делам в Ростов-на-Дону.

В Харькове стояла наша база, и мы решили поехать туда. Ехали мы в отдельном вагоне с начальником штаба, капитаном Нефедовым, полковником Негодновым и другими. Михаил Иванович был не очень доволен: он не переносил, когда мы встречались с офицерами.

Когда мы приехали в Харьков, Михаил Иванович пошел искать базу. Мы остались на станции с капитаном Нефедовым, который хотел переночевать у нас на базе. Вагоны ушли, и мы сели на вещах под забором. Наступил вечер, стало темно, пошел дождь, а Михаила Ивановича все нет. Ждали мы долго, закусили, наконец, сами стали искать, но тщетно. Тогда начальник штаба отыскал будку стрелочника. Мы перетащили туда вещи. Стрелочник нас угостил хлебом с салом и чаем. Потом мы все трое улеглись спать на скамейках. Утром только увидели Михаила Ивановича, который проспал на скамейке на станции. Смеялись мы всему этому страшно. Только утром мы нашли базу: там было скверно — грязно, жарко и нечего есть.

Я стала стремиться обратно в обоз, хотела сразу же уехать, но сказали, что база вся туда перейдет, и я осталась ждать. Три дня я все ждала переезда в обоз: скучища была страшная! Настроение испортилось: мечтала бросить все и ехать в Москалевку.

17 июля. Наконец мы уехали пассажирским поездом. В Люботине пересели на поезд-летучку нашей дивизии и 18 июля приехали в Полтаву. Там нашли доктора, который жил в бывшем помещении чрезвычайки. Дивизия уже ушла, и мы остались ждать обозов, которые должны были пройти через город за дивизией. Город порядочно разграбили казаки, особенно досталось жидам: пухом из перин были покрыты улицы.

19 июля. Утром сестра Гришанович, я и доктор выехали на обывательских подводах догонять обоз, так как он, не входя в город, обошел вокруг. Догнали за селением Мачеха. Доктор вернулся в Полтаву, а мы поехали дальше. Ночевали в Ново-Санжарезе, обоз был без начальника; безобразия творились страшные: пьянство, грабежи, торговля… Большинство команды превратилось в форменных большевиков! Мы не знали, что нам делать.

20 июля. В городе Кобеляки догнали дивизию и отряд. Устроились очень хорошо. Принял дивизию генерал Агоев. В Кобеляках простояли до 31 июля. Городок маленький, весь в зелени, ходили купаться в реке Вор… Очень красивый вид на реку с гор, где стоит собор; гуляли в городском саду, раз слушали приезжего лектора. Жили тихо и отдыхали. Но из-за сестры Ходоровской пошли большие скандалы: она вскружила головы начальству, и все переругались. Пошли интриги и чуть ли не драки. Все сестры ею возмущались и открыто высказывали! Поэтому влюбленное начальство обрушилось на капитана. Михаил Иванович хотел даже кое-кого откомандировать. Мы требовали, чтобы откомандировали Ходоровскую. Но она осталась. Ушли старший врач, очень хороший, и две сестры.

Нас, считая Ходоровскую, осталось четыре, и с нами младший врач Знаменский: личность, как нам казалось, «бледная», и как врач — «ноль».

Впоследствии мы постепенно убедились, что он большевик. Он был взят в плен белыми и доказывал, что он за нас, а на деле оказалось иначе.

1 августа. Днем сели на двуколки и поехали за двенадцать верст на станцию Лещановка, где грузилась вся дивизия, которую перебрасывали на другой фронт. Наша очередь к погрузке подошла только поздно вечером. Ночью тронулись.

2 августа. Проехали Полтаву. В вагоне места много, так как нас было всего четыре сестры. Но погода скверная, дождь, и вагон протекает. Проехав через Люботин, Богодухов, 4 августа мы выгрузились на станции Низы и на двуколках переехали за четыре версты в деревню. Там произошел снова большой скандал из-за нашей Ходоровской. Мы, три сестры, хотели даже уйти из отряда, но начальник отряда нас не отпустил, а Ходоровская дипломатически заболела.

6 августа. Снова погрузка, которая длилась весь день. Мы познакомились со всеми офицерами конно-горной батареи: она все время попадала в наш эшелон.

7 августа. Приехали в Белгород, выгрузились и поехали в деревню Черная Поляна. Дорога очень красивая, через меловые горы, но вся в ямах — то горы, то болото: едва дотянулись. Устроились довольно хорошо.

9 августа. Простояли в Черной Поляне, где очень красиво. Купались в Донце, около мельницы. Но там сестра Гришанович заболела возвратным тифом, ее на другой день рано утром эвакуировали. Сами мы выступили в 8 часов утра. Около самой деревни, у мельницы, надо было переехать Донец по гати. Возились там два часа. По одной перевозили двуколки, настилали

доски, которые выламывали из мельницы. Все же одна двуколка упала в воду и одну лошадь едва спасли.

Но красиво там было замечательно! Течение быстрое, вода синяя, кругом камыши. Вода такая прозрачная, что видно было много рыбок. Один берег высокий, обрывом, а на другом — деревня вся в садах!

Дальше — меловые горы и Белгород. День был чудный, солнечный. Остановились в деревне Мелихово, где простояли и следующий день.

12 августа. Ночевали в деревне Пожарская. Был дождь.

13 августа. Перешли, за семь верст, в деревню Коренек. Думали, будет дневка, стали готовить обед — вдруг недалеко стрельба; моментально собрались, бросили готовые обеды и поехали. Остановились снова в семи верстах, в деревне Зайцево. Уже было темно. Я была дежурная. Стали привозить раненых — двенадцать человек, и все тяжелые. Особено один казак, с которым я промучилась всю ночь: у него была ранена рука, сделали перевязку, но кровь не останавливалась. Очевидно, была перебита артерия. Я наложила жгут, но, как только сняла, кровь снова появилась. Наш доктор Знаменский ранеными не интересовался, и все мы должны были делать сами. Снова наложила жгут, но, так как его долго держать нельзя, я его сняла и стала держать руку кверху. Кровь остановилась, но скоро у меня не стало сил держать. Я заметила свисавшую с потолка люльку и привязала руку казака к ней. Иногда отвязывала, опускала, меняла положение — к утру кровь уже не шла, когда я опускала руку. Вообще же ночь была страшно тревожная. Почти никто не спал, так как был приказ быть готовым к отступлению. Мне было страшно среди таких тяжелораненых. Но все обошлось благополучно. Утром привезли еще раненых, и мы всех отправили в Белгород. Сопровождающему я сказала — очень следить за рукой казака и по приезде немедленно на него указать врачу. Мы в этот день ночевали в деревне Приходной.

15 августа. Идут бои. Но мы пока в обозе второго разряда и только издалека слышим и даже видим сражение. Ехали целый день. Большевики со всех сторон. Нас посылали то туда, то сюда. Наконец, уже поздно ночью, нас остановили в деревне Слонов-ка, на реке Оскол.

16 августа. Пошли по направлению станции Новый Оскол. Перешли реку и полотно железной дороги. Но еще у реки услышали сильную стрельбу. Прошли версты три, поднялись на меловую гору и стали. Шел сильный бой с двух сторон: под Новым Осколом и около Слоновки. С нашей горы все было видно. Нашу летучку двинули дальше. Прошли мимо штаба. Офицеры

стояли и смотрели, как мы проезжаем. Сушь была страшная, и мы подняли невероятную пыль. Нас красные заметили и начали посылать снаряды. Сразу же из штаба приказали поворачивать обратно. Наши три сестерские двуколки шли одна за другой — моя последняя. И когда первая, повернув, поравнялась с моей, а вторая, заворачивая, оказалась посреди дороги, поперек, дистанционная трубка со страшным свистом упала в маленькое пространство между нами тремя и зарылась в пыль. Чудом ни одна из нас не была задета. В штабе все были уверены, что сестер разорвало, волнение страшное. И когда мы проезжали мимо них, какая была радость и удивление! Нас спустили с горы и остановили недалеко от реки.

Мы наблюдали, как рвутся снаряды наших батарей, перекрестным огнем. Обе батареи были недалеко и прекрасно видны. Бой шел в лесу совсем рядом. После окончания боя мы вернулись в Слоновку принимать раненых. Потери очень большие, но большевиков разбили. Масса убитых. Тысяча человек пленных. У нас убитых восемь и семьдесят четыре раненых. Я в этот день была дежурная. Раненые лежали в шести халупах, много было очень тяжелых. Кроме наших казаков, привезли и одного тяжело контуженного курсанта (большевицкого юнкера). Его положили отдельно.

До вечера работали мы все три, считая еврейку Ходоровскую. Вернее, только сестра Ларькова и я. Ходоровская занялась раненным в ногу есаулом — он лежал один. Мы же носились по всем другим. Но тут Ходоровская оказалась на высоте и забыла всю свою важность: она, взволнованная и бледная, прибежала нам сказать, что она не в состоянии перевязать ногу есаула и просит ей помочь. Мы сейчас же пошли.

Действительно, нога была в ужасном виде: перелом ниже колена, флегнома, которая грозила перейти в гангрену. Операция требовалась немедленная. На наш взгляд, можно было еще не ампутировать, но хорошенько очистить, вынуть осколки кости и т. д. Послали за доктором Знаменским, который, как я уже говорила, ранеными не интересовался. Он пришел, посмотрел и сказал, что рана пустяшная. Мы настаивали, чтобы он занялся ногой, доказывали, что ничего сами сделать не можем. Он возмущенно нас отчитал, сказал: «Какие же вы сестры, если не можете перевязать такие пустяки!» И ушел. Делать было нечего. Ходоровская и санитар нам помогали, а мы две сделали все, что было в наших силах: очистили, как могли, продезинфицировали, вытянули и хорошо забинтовали в лубки.

Перед тем как пойти к есаулу, я была в хате, где лежало три раненных в живот. Они просили пить и есть. Я строго-настрого

запретила санитару что-либо им давать. Да санитары знали это уже сами. Когда после перевязки есаула я вернулась туда, санитар, взволнованый, мне сказал, что без меня приходил доктор и приказал давать не только пить, но и есть. На ответ санитара, что «сестрица запретила», доктор сказал не слушать сестру: она ничего не понимает. Слава Богу, санитар доктора не послушался!

На ночь я осталась дежурить одна. Очень было жутко в полной темноте ходить из хаты в хату по деревне, где все спало мертвецким сном. Но панический страх меня охватывал, когда я проходила мимо хаты курсанта. Все же надо было заходить и к нему: он лежал один, без санитара. Насколько я помню, он был контужен. Думаю, что был без сознания, но я не была уверена, и мне казалось, что он притворяется. Большой, черный, лохматый, смотрел на меня в упор безумными глазами. Мне казалось, что он сейчас вскочит и начнет меня душить. В темноте он представлялся не человеком, а каким-то чудовищем из другого мира. Побороть этого чувства я не могла. Он не стонал, ничего не говорил. Я быстро меняла ему компресс на голове и удирала. Этот невероятный страх помню и сейчас. К утру он скончался.

Утром я смениться не могла: нас было слишком мало.

Приехал генерал Шкуро, награждал казаков Георгиевскими крестами, а затем пошел в обход раненых. Мы его сопровождали. Когда он вышел из хаты есаула, сестра Ходоровская, которая никого не боялась, подскочила к генералу Шкуро и громко сказала, что у есаула гангрена. Генерал Шкуро остановился, хотел войти обратно и обратился с вопросом к доктору, но тот с самым спокойным и нахальным видом ответил, что это неправда, что сестра ничего не понимает. Генерал Шкуро ушел. Присутствовал дивизионный врач, но он никак не реагировал.

Когда я через некоторое время попала в поезд нашего корпуса, среди тяжело оперированных я нашла есаула. Ему отняли всю ногу, привезли со страшной гангреной. Если бы операция была сделана в Слоновке, ногу можно было еще спасти и если ампутировать, то ниже колена. Впоследствии доктор Знаменский работал в Севастополе в эпидемическом госпитале. На него многие указывали, даже подавали жалобы, но начальство его не трогало. Наконец он заразился не то холерой, не то тифом и умер.

После отъезда генерала Шкуро из Слоновки в то же утро стали грузить раненых на обывательские подводы для эвакуации. С этим дивизия торопила, и поэтому мы не успели сделать все, что было надо. И многим оказывали помощь, когда они уже лежали на телегах.

На другой день мы вышли из Слоновки и снова вернулись. Я так устала — нервы больше не выдерживали, и я попросила меня перевести в другое место. (*Дальше в моей книжке ничего не записано. Точно все не помню.*)

Поход продолжался. Помню обстрел в подсолнечном поле, обстреливали нас — по пыли в степи, но ничего особенного не было.

Глава 5. ДОЛГИЙ РЕЙС

Наконец я получила назначение в санитарный поезд «Единая, Неделимая Россия». Была 6 сентября в Туапсе — в отпуску — и вернулась уже на поезд.

Этот поезд состоял при нашем же корпусе генерала Шкуро. Он двигался за корпусом и стоял на ближайшей от него станции. Был оборудован как госпиталь, с прекрасной операционной и хорошим хирургом.

Раненых сразу же оперировали, их не эвакуировали, и они лежали в хороших вагонах. От поезда отделялась летучка, в два или три вагона, и на ней отправляли в тыл легкораненых и тех тяжелых, которым дорога не могла повредить.

Сестры были все кауфманские: Звегинцева, Таннберг, Скобельцина, Трегубова. Чудные вагоны, у каждой свое купе. Столовая с портретами Деникина, Колчака… Работали дружно! Всех сестер было, кажется, шесть. Сестра-хозяйка — не кауфманская. Старший врач — Сапежко, который был женат потом на сестре Таннберг. На поезд я попала совершенно случайно: когда я откомандировалась из отряда и ехала в Ростов за новым назначением, на ближайшей железнодорожной станции я увидела этот поезд. Я знала, что там работают наши сестры, и пошла к ним. У них как раз освободилось место. Они попросили старшего врача взять меня. Он запросил в Красном Кресте — и я осталась. Я была страшно рада. Во-первых, попала к своим, а во-вторых, осталась в нашем корпусе. Где мы стояли — не помню. Куда передвигались? Тоже забыла!

Но когда попали в Луганск и отправили летучку с ранеными в тыл — в Ростов, меня назначили их сопровождать. Было оборудовано две теплушки: одна с нарами для раненых (их было около двадцати человек) и вторая — кухня. Там из кирпичей поставили плиту. В этой теплушке ехали кашевар и санитар. Я ехала с ранеными. Большинство были ходячие. Лежачие были не тяжелые или уже отлежавшиеся в поезде.

Мне выдали все документы на раненых и на вагоны. Мы должны были прицепляться к поездам. Сначала все шло гладко:

нас прицепляли, подвозили и снова цепляли. Но на какой-то большой станции мы застряли. Я пошла к начальнику станции. Он мне ответил, что нас ни к какому поезду прицепить не может и что надо ждать. Я ему поверила и ушла к своим.

Ждали долго: какие-то поезда приходили и уходили, но нас не трогали. Я пошла снова, и снова отказ. Сколько я ни настаивала, ни просила, говоря, что раненых надо скорее довезти до госпиталя, он не соглашался нас отправить дальше. Я поняла, что это просто нежелание начальника станции, и стала с ним говорить серьезно и требовать отправки. Он стал грубить. Я ему угрожала, что пожалуюсь нашему командиру корпуса, генералу Шкуро. Но начальник станции в ответ только рассмеялся. Я видела, что нас он не пропустит, вернулась к своим казакам и все им рассказала. Они, конечно, страшно рассердились. Мы устроили совет, после которого я снова пошла к начальнику станции и сказала ему, что если он нас не прицепит к стоящему поезду на станции, то казаки придут и с ним расправятся по-своему. Он мне нахально ответил: «Пусть попробуют!».

Я вернулась снова к своим. Мы сделали маленькую инсценировку: я подмотала лишние бинты на повязки, чтобы было больше, и все ходячие, кто прихрамывая, кто поддерживая забинтованную руку, с винтовками и нагайками в руках пошли объясняться…

Я шла впереди с раненым есаулом, который и должен был говорить. Наше появление произвело на начальника станции потрясающее впечатление! Разговоры были короткие. Есаул сказал пару приятных слов, казаки эти слова усилили, и был дан приказ нас прицепить.

Сейчас же пришел паровоз, сделал маневр, и нас поставили в хвост уходящего поезда. Отъехали мы с песнями и гиканьем казаков!

Был уже вечер, и мы улеглись спать. Ехали уже несколько часов, была ночь. Вдруг нас разбудил страшный толчок. Все проснулись. Мы несемся дальше, но трясясь, и слышны крики санитаров из кухни. Сейчас же открыли дверь и увидели, что вагон кухни сошел с рельсов и скачет за нами по шпалам. Необходимо было дать знать машинисту и остановить поезд, который был очень длинный. Но как это сделать?

Казаки сразу же сообразили: ходячие встали в дверях и стали палить из винтовок не переставая. Все лежачие спешно достали свои патроны, и я их передавала.

Машинист услышал нашу пальбу и остановил поезд. Санитары перетащили к нам всю свою провизию и утварь, пересели сами, и мы поехали дальше, оставив кухню между

рельсов. Оказалось, что кирпичная плита была слишком тяжела: пол теплушки осел на колесо, которое пробило пол и, зацепившись, сошло с рельсов. На ближайшей станции я сделала заявление — просила выручить вагон и сказала, что на обратном пути я его возьму.

Доехали до Ростова, там я сдала раненых, и с одним вагоном мы перешли на станцию Ростов-Сортировочная искать кухню и после долгих поисков ее нашли. Плиту мы разобрали. Санитары перебрались в теплушку ко мне, где была печка, и мы могли на ней себе готовить. Так мы отправились в обратный путь.

До Харцызска доехали хорошо, но там застряли. Снова я нарвалась на такого же начальника станции: очевидно, что и тот и другой были большевики. Когда я пошла к нему с просьбой прицепить наши две теплушки к поезду, он просто ответил: «Нет!». И не пожелал со мной разговаривать. Ходила я к нему по нескольку раз в день, он грубо мне отказывал и откатывал теплушки все дальше и дальше на запасные пути, где стояло несколько составов с картошкой, которые он тоже задержал. А были уже заморозки, и картошка замерзала.

Я несколько раз пыталась позвонить по телефону коменданту города, но начальник станции меня к телефону не подпускал. Я угрожала, говорила, что подам жалобу генералу Шкуро, но ничего не помогало. Моей телеграммы на поезд он не принял. Мы стояли там уже неделю, и положение было безвыходное: уйти к коменданту со станции было невозможно, так как начальник станции, узнав об этом, угнал бы вагоны. Я не знала, что делать.

Целыми днями сидели мы с санитарами около печки, волновались, возмущались, но были бессильны.

Вдруг со стороны Ростова подошел броневик «Гундоровец». Я бросилась к нему, рассказала, в чем дело, и просила меня прицепить и вывезти: «Гундоровец» шел как раз в Луганск. Они согласились нас взять, но под условием, что я дам им спирту. Его у меня не было, но я сказала, что в Луганске они получат из поезда.

Они согласились, сейчас же сделали маневры, прицепили теплушки и медленно стали проходить мимо станции. Начальник, который ничего не подозревал, вышел на перрон смотреть, как проходит броневик, и вдруг увидел нас. Какое удивление и злоба были написаны на его лице! Оба санитара и я стояли в открытой двери и смеялись. Мне ужасно хотелось «показать ему нос», но я все же сдержалась!

Когда мы приехали в Луганск, к моему страшному огорчению, оказалось, что поезда нет: корпус был переброшен к Екатеринославу на махновский фронт, и наш поезд ушел за ним.

Надо было снова искать возможности ехать туда. Мне было очень неловко перед гундоровцами, так как я не смогла сдержать обещания, но они сразу же поняли положение, и мы мирно расстались, а нам удалось скоро уехать и догнать поезд.

На махновском фронте были недолго и снова вернулись в Луганск с тем, чтобы перейти в Косторную, где находился корпус, наступавший на Воронеж.

Перед выходом из Луганска было страшное волнение. В чем было дело, точно не помню. Говорили о том, что железнодорожное полотно спускается круто под гору и проходит через большой и густой лес, где прячутся большевики, которые могут на нас напасть или попортить путь. Почему-то больше всего волновались из-за тормозов. Судили, рядили и, наконец, на все тормоза вагонов поставили санитаров. Поезд был длинный, очень тяжелый: весь из пульмановских вагонов. Ехали мы со страхом, но все обошлось благополучно.

Но за несколько станций до Косторной нас остановили и приказали уходить обратно в Луганск. Объяснений не было дано никаких. В Луганске приказали грузиться, не только ранеными, но и больными, и взять возможно больше. Началось отступление.

Когда на поезде уже не было ни одного свободного места, мы медленно поползли на юг. Ехали довольно долго. Стояли на станциях.

Работы было очень много. Всеми силами старались держать все в чистоте, но большинство больных были в своем платье, и появились вши. Не доезжая до Ростова, заболели тифом четыре сестры и многие санитары. Работать стало очень трудно: персонала меньше и прибавились еще больные из своих. Заболевшие сестры лежали по своим купе. Наш хирург Сапежко еще раньше заболел легкими, и его заменили доктором Ложкиным, попавшим в Добровольческую армию недавно, когда взяли город, где он был земским врачом. Человек уже немолодой. Когда начали заболевать сестры, он испугался заразы и заперся в своем купе, из которого не выходил. Мы остались с одним младшим врачом, но и его редко удавалось уговорить пойти к больным.

Я не помню, когда мы пришли в Ростов и где провели рождественскую ночь. Я еще заранее на какой-то станции достала себе малюсенькую елочку и берегла к празднику. Сестры надо мной подтрунивали, говоря, что я занимаюсь такими пустяками в это страшное время. Мне удалось купить несколько яблок и леденцов. Хуже всего было со свечами: как я ни старалась, нигде не могла достать. Наконец купила толстую фонарную свечу у стрелочника.

В Сочельник я поставила елочку на столе в моем вагоне. Нацепила на нее вату, свечу разрезала на кусочки и тоже налепила на елку. Когда я ее зажгла, все больные, которые могли двигаться, столпились около меня. Лежачие старались смотреть со своих мест (это был вагон четвертого класса). Свои несколько яблок я нарезала на кусочки и раздала более здоровым, тяжелым же дала по леденцу.

Какие радостные и торжественные были лица у всех!!! Когда сестры узнали, что у меня елка, все прибежали в мой вагон. У нас действительно был праздник. И… праздник незабываемый!

Совершенно неизвестно было, куда наш поезд пойдет после Ростова. И потому четырех больных сестер перегрузили на другой поезд, который шел в Екатеринодар. Нас осталось всего три: Звегинцева, я и Каневская, кажется, Полтавской общины. Она перебежала в Добровольческую армию в Полтаве, когда наши туда пришли, и попала на наш поезд.

Пока мы стояли в Ростове, к нам прибежали двенадцать сестер Свято-Троицкого госпиталя, стоящего в Ростове: их старший врач не желал эвакуироваться и, очевидно, для спасения своей шкуры решил передать большевикам госпиталь в полном составе. Поэтому запретил сестрам выходить. Они же удрали и просили нашего старшего врача взять их с собой. Он сразу же согласился, но поставил условие, чтобы они работали с нами, тем более что мы втроем не могли справиться. Те сразу согласились. Мы их разместили в пустые купе эвакуированных сестер и, кроме того, каждая из нас взяла в свое купе еще по одной сестре. Работать стало много легче, и, что главное, мы могли делать все как полагается, а не кое-как, наспех.

Кроме сестер, к нам стали проситься и беженцы из Ростова: это были все «бывшие люди» — дамы и мужчины. Доктор предоставил в их распоряжение пустой салон вагона, в котором я жила: половина его имела несколько купе, где жили сестры, а другая была без перегородок, совсем пустая. Туда-то и пустили желавших уехать. Их было человек пятьдесят. Разместились они на своих вещах, кое у кого были раскладные стулья.

Теснота у них была страшная. Этот вагон стоял в хвосте хозяйственных, персональских вагонов и кухни. За ним шла аптека, затем вагон операционный и еще дальше вагоны с больными. Сам «салон» с беженцами был у двери, к переходу в аптеку. Другими словами, через него весь день и даже ночью проходил весь персонал, носил еду и т. д.

Когда эти господа разместились и успокоились за свою судьбу, зная, что они уедут, они подняли голову: им не нравилось, что все ходят через их помещение. Сначала

протестовали, а потом стали требовать, чтобы все сестры и санитары выходили из вагона и обходили их во время стоянок по перрону. Конечно, на это никто не обращал внимания, и мы продолжали ходить, как и прежде.

Тогда делегация от беженцев пошла к старшему врачу с требованием запретить сестрам ходить через них: это им мешает!

Доктор их требование, конечно, отклонил. Получив отказ от доктора, они стали не оставлять прохода, ставя там свои вещи и садясь на них. Страдающими оказались они, так как мы продолжали ходить и перебираться через них, и в состоянии усталости и нервного напряжения, в котором мы были, делали это не очень деликатно.

Вши заедали нас все больше и больше. Никакие меры не помогали: мы завязывали туго косынку, подсовывали камфору, забинтовывали рукава и воротнички, тоже с камфорой, и т. д., но все было ни к чему. Раз, когда я стояла в своем вагоне, меня подозвал лежащий на верхней койке больной офицер, сказал, чтобы я подошла ближе, и стал вынимать вшей из бровей. Беженцы, конечно, этих вшей боялись больше всего и еще больше взъелись на нас. Кончая работу, мы вешали наши халаты на крюках против своего купе. Беженцы потребовали, чтобы мы их брали к себе — этого, конечно, мы сделать не могли, но, вняв их просьбам, повесили халаты в уборную.

Но когда утром мы пошли за халатами, их на вешалке не оказалось. Они валялись затоптаными, грязными на полу в уборной. Всего этого оказалось мало. Эти «господа» стали требовать у старшего врача, чтобы их переселили в купе, говоря, что совершенно недопустимо, чтобы какие-то сестры жили по две в купе, а они сидят на чемоданах, что сестер надо потеснить и уступить место им. Конечно, и это требование не было удовлетворено. Слава Богу, проехали они у нас не очень долго и в Батайске куда-то испарились.

В Ростове нам еще прибавили больных. Все было забито. В вагонах четвертого класса на поднятых койках вместо двух лежало четыре человека. Лежали и на площадках. Первые дни, когда начали работать сестры Свято-Троицкого госпиталя, кое-как справлялись, но они почти сразу же стали заболевать, и их двумя группами эвакуировали в Екатеринодар.

Когда мы из Батайска двинулись дальше, из сестер остались три коренных и три свято-троицких.

В конце концов нас направили в Екатеринодар. Но там все так было забито больными, что нас не разгрузили. Я сбегала в свой Кауфманский госпиталь (3-й) и упросила взять несколько человек, оставшихся мы повезли дальше. Об эвакуации тогда еще

не думали, и нас направили в сторону Минеральных Вод с тем, чтобы мы где-нибудь разгрузились.

На нескольких кавказских станциях мы пытались разгрузиться, но везде получали отказ. На одной только у нас взяли несколько человек. По дороге многие умирали. В Минеральные Воды нас не приняли, и мы поехали обратно до Кавказской и повернули на Ставрополь.

Все время надо было держать вагоны запертыми на ключ, так как больные в бессознательном состоянии убегали. Раз разбежалось несколько человек — кто одетый, а кто и просто в белье. Они бегали, бродили по станции. С трудом всех переловили и водрузили обратно. Из-за того, что все же кое-кого мы сгрузили, и из-за большой смертности в поезде стало свободнее, каждый имел свою койку.

Но заболело еще четыре сестры и младший врач. На весь поезд из медицинского персонала осталась одна свято-троицкая сестра Махоткина и я. Заведующий хозяйством был тоже болен, и его заменила его жена, которая до того была его помощницей. Старший врач продолжал сидеть в своем купе.

При таком положении ни о какой нормальной работе нечего было и думать. Уход за больными сестрами взяла на себя заведующая хозяйством, очень милая дама. А на нас двоих лежал уход за всем поездом, где все, без малого исключения, были сыпнотифозные. Много очень тяжелых, много «дурачков», которые пытались убегать и делать глупости.

Мы разделили поезд пополам. Ночью, конечно, никто не дежурил. Оставались один или два санитара на всех, так как они тоже почти все были больны. Днем их было немного больше. Утром, когда мы вставали и шли на работу, мы сверху халатов надевали кожаные куртки и, проходя через аптеку, наполняли карманы всем необходимым (клали лекарства, градусники, шприцы, камфору, морфий) и начинали обход — каждая в своей части поезда. Смотрели пульс, иногда мерили температуру, впрыскивали кому камфору, иногда морфий, давали лекарства и кончали обход к обеду. После обеда до вечера проделывали то же самое. Вот все, что мы могли сделать.

Так доехали до Ставрополя, где начали разгружаться. Доктор решил оставить там и всех четырех больных сестер — мы воспротивились!

Махоткина, как чужая поезду, говорила мало, но я с доктором сцепилась и сказала, что сестер не отдам. Сами они тогда еще не совсем потеряли сознание и умоляли меня их не отдавать. Сражение со старшим врачом у меня было серьезное. Я с ним разговаривала не как сестра со старшим врачом, а по меньшей

мере как равная. Весь этот кошмарный месяц он сидел, спрятавшись в купе. Солдаты и офицеры болели, умирали, заболели почти все сестры, много умерли. И к концу рейса вся тяжесть работы и ответственности лежала на мне и Махоткиной. Если бы это было в наших силах, то мы бы никого в Ставрополе не оставили, но это было невозможно. Но сестер я ему не отдавала.

Наконец он сказал, что сделает так, как они сами захотят, и что пойдет их спросить.

Я успела забежать раньше его и их предупредить. Я очень боялась, что в полусознании они согласятся остаться. Наша Звегинцева и две свято-троицкие не согласились. Но маленькая Каневская из Полтавы осталась. Я при уговаривании старшего врача не присутствовала. Не знаю, почему она это сделала. Согласилась из-за слабости и потери сознания или сама захотела, думая попасть к себе домой (она недавно в Добровольческой армии, и все ей было чуждо, она никого не знала)? Я сама отвезла ее в госпиталь. Ее положили в отдельную палату. Больше о ней никаких сведений не было.

Поезд пошел обратно по направлению к Екатеринодару. Сестра Махоткина и я были этому страшно рады, так как уже выбивались из сил и волновались за больных сестер, за которыми мы могли теперь сами ухаживать. Мы были счастливы, что остались до конца здоровыми: ведь если бы мы слегли, что бы было со всеми больными? Но не прошло и двух дней, как Махоткина заболела. Я осталась одна. А на другой день я почувствовала, что заболеваю: поднялась температура. Я сейчас же сказала жене заведующего хозяйством, что я тоже больна, и попросила ее ухаживать за сестрами. Для себя я все приготовила в своем купе: поставила на столик питье, градусник, лекарства и т. п. и улеглась. Я определила, что у меня возвратный тиф, так как сыпной у меня уже был в Румынии.

Пролежала я с высокой температурой несколько дней. Меня навещала жена заведующего хозяйством. Потом температура резко упала, и я убедилась, что не ошиблась в диагнозе.

В это время мы дошли до станции Кавказская. Каково было мое удивление и негодование, когда я узнала от старшего врача, что мы в Екатеринодар не идем, а поворачиваем снова на фронт, к Ростову! Доктор Ложкин мне сказал, что он послал телеграмму в Главное управление Красного Креста, сообщив, что больные разгружены, поезд в полном порядке и готов к следующему рейсу. У меня началось новое с ним сражение. Это был не санитарный поезд, а грязный хлев. Без персонала, без продуктов, без перевязочных средств и без лекарств: все было использовано во

время этого бесконечного рейса. Но доктор уперся, решил ехать в Ростов, взяв с собой четырех больных тифом сестер и меня. Это повторялась история Свято-Троицкого госпиталя: доктор решил перейти к красным с поездом и сестрами, желая спасти себя. Когда я это поняла, я ему сказала, что, если он хочет ехать, пусть едет, но сестер я ему не дам.

Как раз рядом с нами стоял перегруженный больными военно-санитарный поезд, который шел в Екатеринодар. Я стала требовать, чтобы сестер перенесли туда. Доктор долго не соглашался, но в конце концов уступил. Тогда я сказала, что поеду их сопровождать. Он мне категорически запретил. Начались новые споры: я ему доказывала, что сама больна, что и мне надо в госпиталь, что работать я больше не могу. Но он объявил, что я абсолютно здорова, что все это мои выдумки, хотя во время моего первого приступа он ко мне и не заглянул, как вообще ни к одному больному. Но я не уступала. Уступил он, но потребовал от меня, чтобы я дала честное слово, что, как только я сдам сестер в госпиталь, я в тот же день поеду обратно на поезд. Я совершенно спокойно ему ответила: «Даю слово вернуться, если буду здорова». Я знала, что больна, и ничем не рисковала. Доктор мне разрешил, но сказал не брать вещей ни в каком случае.

Я не протестовала и сразу же пошла на соседний поезд и попросила нас взять. Затем быстро уложила все свои вещи и попросила санитара незаметно от доктора Ложкина отнести их в купе больных сестер. Сама же пошла к ним, уложила все их имущество, и тогда санитары перенесли их вещи, захватив и мои.

Хотя соседний поезд был переполнен больными, моим сестрам дали по койке. Вагон был третьего класса, без купе, и между отделениями были только низкие перегородки. Мы получили три места в одном отделении — два внизу и одно наверху, а четвертое внизу в соседнем отделении, за нижней перегородкой. Так что, в общем, были все вместе. На нижнее место в соседнем отделении я положила сестру Звегинцеву: она была почти без сознания, но лежала спокойно. В первом отделении наверху я устроила сестру Махоткину, которая была еще в сознании, а внизу на две койки положила сестер Г. и П… скую (фамилии я забыла). Они бредили, метались, и их надо было держать, чтобы они не упали на пол; я весь проход заложила нашими вещами, а сама забралась на них, чтобы было легче сдерживать сестер. На другой верхней полке лежал солдат.

Перебрались мы в этот поезд еще днем, но только вечером пришла сестра поезда. Она очень обрадовалась, увидя, что я сопровождаю своих, и сказала, что у них почти весь персонал лежит, а здоровые не успевают ничего сделать.

Поэтому она мне показала, где находится шприц и все необходимое для уколов, и попросила, чтобы я сама делала все, что надо. В вагоне не было даже санитара, и за всю дорогу никто в вагон даже не заходил. Я сказала сестре, что раз я еду, то буду следить за всеми и что она может сюда не заходить. Я занялась уколами, сначала сестрам, а затем обошла всех больных, кое-кого уколола, сделала что могла и уселась на чемоданах.

Наступила ночь, в вагоне почти темно; где-то в одной стороне горел слабый свет. Сестры метались и все время скатывались на чемоданы. Держать их обоих не было возможности, да не было больше и сил. Тогда я легла между ними на наши вещи: таким образом, им некуда было скатываться. В конце концов они навалились на меня с двух сторон и лежали уже тише. Но тогда я начала чувствовать, что меня заедают вши: они ползли сплошной массой по шее и по лицу. Я не могла двинуться, чтобы не потревожить сестер, и только ладонью сгребала вшей с лица и бросала вперед, к ногам. Их было так много, что я действительно снимала их слоями со своего лица.

Как только наступило утро, я осторожно выбралась, пошла в уборную, разделась и стала стряхивать вшей в умывальник, но воды не было: она замерзла, и белая чаша умывальника стала черной — она сразу же покрылась слоями вшей. Поезд шел довольно быстро, и днем мы уже были в Екатеринодаре.

Глава 6. В ОТПУСКЕ ПО БОЛЕЗНИ

Возвратный тиф

Я отвезла своих больных в эпидемический госпиталь, где лежали все наши сестры, заболевшие раньше. Места там не было: во всех коридорах лежали даже на полу и вперемешку мужчины и женщины, ожидая места в палате. Но сестер все же устроили в женские палаты. Когда они были приняты, я попросила, чтобы взяли и меня, сказав, что у меня возвратный тиф и скоро начнется второй приступ. Мне измерили температуру — она была нормальной, и меня не приняли, но сказали, что если она поднимется, то я могу прийти и меня примут. Я пошла к Ане, которая жила со своей подругой Татьяной Стуловой. Они занимали комнату с кухней в большой пустой квартире, где не было даже мебели.

Аня меня отвела в пустую комнату, положила на пол бумаги, принесла таз с горячей водой. Так что я смогла наконец вымыться, переодеться и уничтожить множество вшей. Бумаги с пола мы все сожгли. Ночевала я отдельно, тоже в пустой комнате на полу, чтобы не занести Ане вшей.

Утром у меня поднялась температура, и Аня на извозчике отвезла меня в госпиталь. Меня сейчас же приняли, вымыли в ванне, под машинку остригли волосы и отнесли в палату. Из наших сестер там лежала сестра Г.: она страшно бредила, металась и через два дня скончалась. Потом я узнала, что умерла сестра П…ская, которую я тоже привезла. Наши сестры все поправились, а из свято-троицких половина умерло, среди них две сестры Рейтмигер. Я думаю, что мы все не так скоро заболевали и выдержали тиф, потому что привыкли к работе в походе и кое-кто из нас побывал на фронте — мы постепенно втягивались в эту страшную работу и обстановку, в которой очутились около Ростова. Может быть, и первые, редкие укусы вшей дали нам некоторый иммунитет, тогда как свято-троицкие сестры, работавшие в нормальном хирургическом госпитале, попали в зараженный, грязный, переполненный поезд на тяжелую работу, когда с первой же минуты их стали массами заедать вши.

Тиф у меня был в очень тяжелой форме, и мне все время впрыскивали камфору. Во время второго приступа я сознания не теряла, но во время третьего говорила глупости и бредила. Между вторым и третьим приступами я была настолько слаба, что уже не могла вставать с постели, и меня перекладывали санитары на носилки, чтобы ее перестелить.

Аня приходила несколько раз меня навещать и, помню,

приносила сосать апельсины, которые она где-то доставала. После третьего приступа, когда я немного пришла в себя, доктор хотел мне влить силоварзин. Оказалось, что приступов может быть намного больше, чем три, а силоварзин сразу прекращает болезнь, но я узнала, что, прекращая болезнь, он уничтожает иммунитет, и можно снова заразиться. Поэтому, хотя доктор очень настаивал, я не согласилась. И хорошо сделала, так как четвертого приступа не было. Постепенно я начала поправляться, но очень медленно. Сыпной тиф в Румынии прошел у меня гораздо легче.

В Туапсе на поправку

Наконец 5 февраля меня выписали и дали отпуск на поправку. Аня отпросилась на несколько дней на службе и повезла меня в Туапсе. Я еще не твердо держалась на ногах. До вокзала мы доехали на извозчике, а там Аня взяла мои вещи, у меня же было в каждой руке по маленькому мешочку. Давка на платформе была ужасная! Мы отправились к офицерскому вагону. Там тоже с боем забрались в вагон. Аня энергично проталкивалась вперед, все время меня подбадривая, чтобы я не отставала. Но два моих мешочка в руках цеплялись за окружающих и не давали мне двигаться: они стали казаться невероятно тяжелыми и тянули меня вниз. Я же ни за что не хотела их выпустить из рук. Сил больше не было, я упала среди толпы и громко расплакалась. Послышался дикий голос Ани, подхваченный многими другими: «Сестру задавили! Сестру задавили!!!». Сразу все расступились, меня подняли на руки и внесли в вагон, сейчас же мне уступили целую койку внизу. Но я попросила положить меня наверх, где спокойнее, а внизу будет больше места. Так и сделали. Я стала засыпать под оживленные разговоры Ани, сидящей внизу с офицерами.

В Туапсе мы благополучно добрались до своих, живших недалеко за городом у лесничего. Нас накормили, уложили спать, с тем что на другой день Аня поедет обратно в Екатеринодар.

Я была еще настолько слаба, что туапсинский период плохо помню: есть даже провал в памяти. Записать все очень трудно.

На другое утро Аня уехала обратно в Екатеринодар. Мы с папой проводили ее до поезда, папа устроил ее в офицерский вагон, где было много народу. Он обратился к старшему из офицеров и попросил взять Аню под свое покровительство, тот папе обещал и сказал, чтобы папа не беспокоился — Аня будет благополучно доставлена в Екатеринодар. Это был полковник Генерального штаба барон Ш… (?). Фамилию, к большому сожалению, забыла. Возможно, что Штакельберг, но не Штромберг, не Штемпель и не Штенгель. Это был человек

средних лет, не очень высокий и полный.

Зеленые

На другой день после обеда папа и тетя Энни спустились в город. Я осталась одна с лесничим и его семьей, которая состояла из его жены, сестры жены и ее сына, добровольца-кадета Миши, лет пятнадцати-шестнадцати, приехавшего в отпуск. Дом лесничего стоял одиноко на склоне горы, над городом. Задняя сторона, где был вход, выходила в лес, поднимающийся в гору. Передняя часть была открыта и смотрела вниз на город.

Вскоре после того, как ушли папа и тетя Энни, с гор из леса начали стрелять из ружей в нашем направлении. Стрельба все усиливалась, приближалась, и пули стали попадать в дом. Мы сообразили, что это зеленые. Сейчас же стали прятать вещи, а кадет Миша и я заволновались из-за своих документов, форм, значков и т. п. Спешно куда-то все рассовали и, так как в доме опасно было оставаться, мы все спустились в большой подвал, где был склад продуктов для лесничества.

Заложили окна мешками с мукой. Миша захватил с собой свечку, и мы с ним, сидя на полу, жгли самые компрометирующие документы, добровольческие значки и т. п. Самым страшным было — это Мишина винтовка, которую не успели никуда забросить и только положили на полу на балконе. Патроны он бросил в уборную, ему за это попало, так как вода не могла проходить и их легко могли найти.

Сколько времени мы сидели в подвале, не помню, но в конце концов стрелять в дом перестали, и мы услышали, что зеленые его обошли и стали стрелять по городу, усевшись под противоположной стеной дома. Тогда мы поднялись наверх и стали ждать. Но не долго!

Вошли два или три человека с обыском. Сказали, что ищут оружие. Искали они тщательно, но ничего не брали. Я под свой матрац спрятала кусок материи, который мне выдали на форменное платье, и еще что-то. Когда один из них («кавказский человек») поднял матрац и вытащил материю, он на меня напал и стал кричать, что я напрасно прятала, что они честные люди, а не воры и грабители, как добровольцы! Меня это так обидело, что я упала на кровать и громко расплакалась.

Он подошел ко мне, стал хлопать по плечу и меня успокаивать. Очевидно, что это действительно был неплохой человек, случайно попавший к большевикам. Этим обыск в нашей комнате кончился.

У лесничего было, конечно, страшное волнение: там обыскивали серьезнее и все время повторяли, что если найдут оружие, то Мишу расстреляют. И когда они пошли на балкон, все

думали, что уже конец, но мать Миши успела встать ногами на лежащую у стены винтовку и закрыла ее юбкой. Чудом они не заметили. И — ушли!

Папа и тетя Энни выждали окончание стрельбы в городе и с волнением вернулись обратно. Город был занят зелеными. Это было приблизительно начало февраля 1920 года.

Зеленые — это был авангард большевиков — вошли в город неизвестно откуда. Это еще не была их регулярная армия, но просочившиеся от них. Сразу же начались регистрации, аресты и обыски.

Провокация

Вскоре после того, как вернулись папа и тетя Энни, к вечеру, появилась Аня. Она была страшно усталая и взволнованная. Оказалось, что еще на кануне, то есть в день ее отъезда из Туапсе, на какой-то станции в тридцати верстах от города их поезд был задержан спустившимися с гор большевиками. Офицеров всех сразу же арестовали, многие просили Аню им помочь и давали ей свои документы, деньги и ценные вещи. Но ее тоже захватили и заперли в какой-то сарай со всеми. Там они провели ночь. Пассажиров поезда тоже задержали на станции. Утром Ане удалось уйти. Кажется, она не была освобождена, но как-то улизнула. Перед уходом она вернула всем офицерам их вещи и бумаги.

Только полковник барон Штакельберг(?) (м.б., иначе: не помню точно) отказался взять свой пакет денег, на громадную сумму, сказав, чтобы она унесла и спрятала у себя. С Аней ушел еще какой-то офицер в штатском — был ли он офицер? Неизвестно! Пошли они обратно пешком. Этот субъект имел драгоценности, кольца и брошки с бриллиантами. Не помню, что произошло, но этот человек хотел заставить Аню взять эти бриллианты или, когда она их ему возвращала, он настаивал, чтобы она их оставила у себя. Тип этот ей очень не нравился, она не уступила, и бриллианты остались у него. Домой она принесла только деньги полковника. Пока ее накормили и обо всем расспросили, было уже очень поздно. После всего пережитого так устали, что решили деньгами заняться на другой день и найти, куда их спрятать, а на ночь забросили на шкаф в комнате.

Не успели мы заснуть, как пришли с обыском и сразу спросили, где у нас деньги. Мы ответили, что денег у нас нет, тогда начали обыскивать нашу комнату и почти сразу же полезли на шкаф и нашли. Они их забрали, больше ничего не искали, а в комнаты лесничего даже не заходили. Это было так неожиданно и непонятно!

Но на другой день все разъяснилось: полковник Генерального

штаба барон Ш. в Туапсе занимал видный пост у большевиков, а тип, который шел с Аней до Туапсе и говорил, что он офицер, оказался комиссаром.

Эти два субъекта все устроили и хотели Аню спровоцировать. Дальше я помню очень смутно и многому не была свидетельницей, знала из рассказов тети Энни и папы. На другой день после Аниного прибытия и обыска полковник Ш. прислал за деньгами. Ему подробно объяснили, что произошло, но полковник Ш., не появляясь сам, все более настойчиво стал требовать и начал угрожать, обвиняя Аню в краже или передаче денег кому-то другому. Он передал это дело в специальную комиссию, во главе которой был тип в штатском, провожавший Аню и совавший ей свои бриллианты. Дело приняло очень серьезный оборот.

К счастью, это была еще не настоящая советская власть, а отдельная группа, которая еще не чувствовала свою силу и действовала не так быстро. Но тем не менее комиссар, угрожая, начал вызывать Аню к себе. Но как-то удавалось оттягивать, и она не ходила. Боялись ареста; Аня страшно переживала, волновалась, и ей было очень тяжело все это.

Она с таким чистым сердцем и от всей души старалась помочь офицерам в вагоне, пряча их документы и деньги, а ее стали забрасывать грязью и угрожать. Положение стало безвыходным: получили еще бумагу от комиссара и боялись, что на другой день ее арестуют.

Но в этот день она заболела тифом, и ее отправили в заразный лазарет, находившийся в бараках на пустыре перед вокзалом. Ей дали отдельную комнату и разрешили мне оставаться с ней.

Заразилась Аня ночью в сарае, куда была заперта с офицерами и где их заедали вши. Тиф сразу же принял тяжелую форму: все волнения последних дней сильно сказались. Аня сразу же стала терять сознание, бредить и метаться. Она то лежала тихо, то вскакивала с безумными глазами и кричала: «Они идут, они хотят нас расстрелять! Беги! Беги!» Хватала меня и старалась спрятать под подушку, потом снова затихала. Так длилось несколько дней. Я все время сидела или лежала около нее.

Раз днем она лежала спокойно, и я сидела рядом. Вдруг она вскочила, оттолкнула меня, перебежала через комнату, пробила окно и бросилась в него. Все это произошло в каких-нибудь две-три секунды. Но я успела вскочить и схватить ее за ноги. Она уже успокоилась и была в полубесчувственном состоянии. Я едва смогла дотянуть ее до кровати и уложить. К счастью, ни руки, ни голова не пострадали, была только большая, но неглубокая рана

на бедре от пореза стеклом.

В этот же день или на следующий к Туапсе подошел наш добровольческий миноносец «Беспокойный» и начал обстреливать вокзал: снаряды летели через нас и рвались совсем близко. Я думала, что Аня совсем сойдет с ума: она так металась, рвалась убежать, что я едва-едва могла ее удержать. Ведь после моей болезни сил у меня было не так уж много.

Когда обстрел кончился, я побежала домой и попросила перевести Аню в другое место: там оставаться было невозможно! С большим трудом удалось ее устроить в местную больницу, где ей дали маленькую комнату и тоже разрешили мне остаться с ней.

Больница была далеко от вокзала, и я там не была одна, как в бараке. Мне всегда могли помочь, доктор был очень внимательный, но почему-то ни разу не впрыснул ей камфоры. А ей, по-моему, это было необходимо. Хотя сердце работало хорошо, но при страшной температуре и всех физических усилиях, которые Аня делала, чтобы убежать, оно должно было устать — чем дальше, тем больше она буйствовала. Я уже больше не могла ее удержать на кровати, у меня так разболелась спина, что я почти не могла нагибаться и становилась на колени на пол, чтобы делать ей то, что надо. Наконец доктор решил ее привязать к кровати. Ее привязали широкими полосами материи, через ноги и через грудь. Но она умудрялась оттуда выползать.

Сколько длилась ее болезнь — не знаю. Но наконец дело пошло на поправку, и ее выписали. Она была похожа на мальчишку: длинная, худая, с бритой головой. Дома она начала быстро поправляться. Перед болезнью у нее была шапка вьющихся волос. Она их в Екатеринодаре начала подстригать.

Под властью большевиков

Пока я была с Аней в госпитале, я почти ничего не знала о том, что делалось в городе и у наших. И только когда мы вернулись домой, тетя Энни и папа все нам рассказали. У меня есть папины краткие записки, написанные уже в Мессине, и по ним кое-что могу восстановить.

В городе начались обыски, регистрации, аресты. У нас тоже обыскивали и понемногу отбирали последние вещи. Драгоценности, которые папа выкопал в Москалевке, были заново зарыты в лесу лесничества и остались целы. Но часть документов и вещей отдали на хранение нашему верному рабочему — Виктору Шевченко, который приезжал нас проведать. Уезжая из Туапсе совсем, все это не удалось получить, так как город был отрезан и Виктор приехать не мог!

Папу тоже вызвали на регистрацию, тетя Энни его одного не

пустила и пошла сама с ним. Они не знали точно, куда идти, пошли в штаб большевиков и случайно там наткнулись на начальника штаба, с университетским значком. Они расспросили, в чем дело. Тетя Энни выступила с объяснениями: сказала, что папу вызвали на регистрацию, но что он много лет уже в отставке, никогда не воевал, живет у себя в деревне, занимаясь дровами.

Начальник штаба объяснил, куда идти, и позвонил по телефону какому-то товарищу Сафонову, что папа идет к нему, чтобы он не задерживал и произвел регистрацию.

Когда наши выходили из штаба, они увидели вооруженную толпу солдат, которые вели какого-то несчастного старика. Оказалось, что это генерал Бруевич, командующий гарнизоном Туапсе. Он был так избит, что не мог идти, и шел, согнувшись, опираясь руками о землю. Вид его произвел самое тяжелое впечатление, и тетя Энни сказала: «Какой несчастный». Это очень не понравилось солдатам, и они ответили: «Это не несчастный, это генерал Бруевич, который подписывал смертные приговоры, и мы ведем его на суд!»

Папа был в штатском платье, но кто-то из толпы обратил на него внимание и крикнул: «Я узнаю этого человека, это переодетый генерал! Возьмем его с собой!». Папа ответил, что идет на регистрацию и с ними не пойдет. Но на это не обратили внимания и стали кричать: «Нечего его слушать, берем его с собой!». Положение было отчаянное. Но тетя Энни, не потерявшая присутствия духа, крикнула: «Начальник штаба нам приказал идти на регистрацию к товарищу Сафонову, и мы должны идти туда!».

К счастью, тетя Энни услышала и запомнила эту фамилию, очевидно, важной персоны, потому что солдаты сразу же успокоились и отпустили папу, но их старший назначил двух конвойных, чтобы те следили за тем, чтобы папа не сбежал.

Так они дошли до товарища Сафонова, которому конвойные объявили, что привели двух арестованных, но папа сказал, что это неправда, что они пришли сами, по указанию начальника штаба, на регистрацию.

Сафонов, который знал о папе от начальника штаба, отправил конвойных и затем сказал тете Энни и папе, что они свободны. Они ушли и сами не верили, что так отделались: не будь тети Энни, папу арестовали бы и бросили в тюрьму, как всех остальных.

Почти весь туапсинский гарнизон был уже арестован, а с ними и все случайно жившие в Туапсе офицеры и даже отставные. Все они сидели в страшной тесноте в туапсинской тюрьме. Каждый день выводили по нескольку человек в пригород

Вельяминовка, заставляли их рыть могилу, а затем расстреливали.

Вскоре снова пришли к нам с обыском, ничего не нашли, но приказали папе идти с ними на какую-то новую регистрацию. Тетя Энни, как всегда, пошла с папой. Их провели в какое-то подвальное помещение (бывший винный погреб), переполненный задержанными офицерами. Среди них оказались генерал Пестружицкий и генерал Афанасьев, мужья двух подруг тети Энни — Лулу и С.Вас. Афанасьевых.

Посередине подвала, на возвышении, стоял стол, за которым сидели какие-то люди и вели допрос. Впечатление было отвратительное. Перед папой никого из допрашиваемых не отпустили и куда-то их отправляли. Когда очередь дошла до него, начались обычные вопросы; папа на все отвечал, сказав, что давно живет в Туапсе и поставляет дрова населению. Это, очевидно, им понравилось, и они папу отпустили.

Тетя Энни, которая поджидала на улице, конечно, страшно обрадовалась, и они потихоньку пошли домой. Другие два генерала были посажены в тюрьму. Так шли дни за днями — в ожидании нового допроса, ареста и в волнениях за Анино здоровье. Когда мы с ней вернулись из больницы, Аня стала очень быстро крепнуть.

В Туапсе в то время оказалась одна моя гимназистка — Лида (де) Опик (теперь Родзянко). Она самоотверженно, с большим риском для себя, умудрялась получать пропуск в тюрьму. Она каждый день туда ходила, приносила еду, которую доставала, где могла, и старалась, чем можно, помочь заключенным. В подвале дома лесничего был большой склад продуктов. Главным образом муки и сала. К нему большевики поставили часовых. Но Аня почти каждый день туда проникала, как-то обманув часовых, и утаскивала куски сала, которые передавала Лиде, а та несла в тюрьму.

Владычество большевиков длилось у нас немного больше месяца. И наконец мы стали замечать, что они стали менее свирепыми и понемногу стали куда-то исчезать.

Мы узнали, что от Армавира идет наша армия. В одно прекрасное утро увидели наших добровольцев. Но радость была небольшая: мы узнали, что это отступление и что за ними идет вся Красная армия. Мы очень боялись за судьбу сидевших в тюрьме: большевики, уходя, могли всех расстрелять. Они так и хотели, но ночью один из караульных открыл дверь и всех выпустил.

Многие части наших войск в городе не задерживались и уходили прямо на юг, на Сочи. Мы поняли, что нам предстоит

эвакуация. За войсками стали приходить беженцы, главным образом с Кубани, и калмыки. Эти последние приходили целыми семьями, на своих повозках и ведя коров и лошадей, — все это запрудило город. У нас на побережье ни пастбищ, ни лугов не было; даже в нормальное время было трудно купить сена: каждому едва хватало на его пару лошадей.

А когда пришла конница и беженцы со своими лошадьми и коровами, через день уже ни клочка сена достать было нельзя.

Части казаков погрузили на пароходы, и их лошади остались на берегу. Они стояли голодные, качались, падали и многие подыхали. Калмыки бегали всюду, умоляя накормить их лошадей. Многие старались продать их за гроши, лишь бы их спасти: мне предлагали повозку и трех лошадей почти даром, — но на что они были нам тогда нужны? Мы с Аней стали ходить на берег и уводить лошадей за город. Но многие были так слабы, что не шли за нами. Нам удалось найти торбу с овсом. Дело пошло лучше: мы показывали торбу лошадям, и они плелись по нескольку штук за нами. Так мы вывели их немало в лес.

Аня совсем окрепла и чувствовала себя совсем хорошо.

15 марта, за несколько дней до эвакуации, в Туапсе вошел миноносец «Дерзкий», на котором Петя был сигнальщиком. Мы с ним виделись не много, так как он был очень занят. Раз мы наблюдали, как он, стоя на берегу в порту, быстро сигналил флагами и переговаривался таким образом с миноносцем. Два последних дня перед нашим отъездом мы с Петей не виделись. Петя думал, что мы эвакуируемся на «Хараксе», и случайно увидел нас на «Duchafault», когда мы проходили мимо «Дерзкого». В эти дни миноносец ходил каждый день на фронт — к нашей деревне Небуг и к более дальней Ольгинке. Они обстреливали побережье, шоссе и даже в одном месте разбили ольгинский кордон. Вернулся Петя с Кавказского фронта только 9 апреля. (О смерти Ани, о чем я расскажу ниже, он узнал только по возвращении в Севастополь.)

Когда мы узнали, что начинается эвакуация, мы записались, и нам было назначено грузиться на пароход «Харакс», который шел в Феодосию. Начали спешно укладывать свои пожитки, как накануне отъезда Аня снова заболела: у нее поднялась температура, стало болеть горло…

Мы все же готовились к отъезду и перевезли часть вещей, но к ночи Ане стало хуже, температура больше 40 градусов, страшно распухла шея, и она стала задыхаться. Доктор не мог определить, что у нее. На другой день, когда надо было грузиться, ей стало еще хуже; доктор сказал, что ей нельзя ехать. Положение наше было отчаянное: ни папе, ни мне оставаться было нельзя! А что

ждало тетю Энни с Аней во власти большевиков? Да если за ними придет барон Ш.? Все же тетя Энни сказала, чтобы мы уезжали, а она останется с Аней. Аня умоляла ее не оставлять, но мы с папой все же ушли в последний момент.

За городом уже была слышна стрельба: многие пароходы уже уходили. Мы с папой попали в переполненную, душную кают-компанию, едва нашли место, чтобы сесть. Думали, что сейчас отчалим, но время проходило, и «Харакс» не двигался. Уже наступил вечер. Люди томились, сидя на своих вещах. Папа все время молчал, и я видела, как он волнуется. Я сидела молча и решала, правильно ли мы сделали, оставив Аню и тетю Энни у большевиков. Я боялась за папу, зная, что с его здоровьем и больным сердцем он не выдержит этой разлуки навсегда, не имея даже возможности получать какие бы то ни было вести; кроме того, только тетя Энни могла так за ним ухаживать и так его оберегать. А Аня и тетя Энни? Одни у большевиков? Без копейки денег, без вещей (так как все было уже погружено с нами), и при болезни Ани. Их обоих на другой день могли посадить в тюрьму хотя бы уже потому, что мы с папой уехали. Если Аня не выдержит и тетя Энни останется одна? Ее жертва будет напрасна! Погибнут все: они две и папа. А брать Аню с собой? Доктор сказал, что опасно! А что опаснее — брать или оставлять? Я сидела и думала, думала. На папе лица не было: он молчал и тяжело переживал. Что он думал? А «Харакс» не уходил. Наконец я решилась и сказала папе: «А не пойти ли за нашими?» Папа сразу ожил и сказал, чтобы я скорее за ними шла и привела их на пароход.

Я побежала. Узнала, что пароход еще не отходит, нашла какую-то повозку и быстро, уже ночью, доехала до лесничества.

Тетя Энни сидела около Ани, которая очень волновалась и все просила ее увезти, говоря: «Я лучше хочу умереть, чем остаться у большевиков!» Она очень обрадовалась моему появлению.

Тетя Энни со страхом услышала наше решение, говоря, что Аню везти нельзя. Все же мы сразу ее подняли, положили на телегу и довезли до пристани. В кают-компании ее устроили лежать. Но видно было, как ей тяжело дышать. Так мы провели ночь и начало дня.

Вдруг папа увидел входящую в порт французскую канонерку «Duchafault», которая пристала недалеко от нас. «Харакс» еще не уходил, и папа пошел к командиру канонерки Lieutenant de vaisseau Charles Aubert[11], попросить, чтобы он нас взял с собой. Он сразу согласился, и мы перебрались туда. И командир, и офицеры удивительно сердечно к нам отнеслись и старались, как

могли, нам помочь. Командир уступил папе и тете Энни свою каюту, а один из офицеров — Ане и мне. Аню сейчас же там устроили. Она была так счастлива и говорила, что ей стало гораздо лучше. Правда, опухоль на шее стала спадать и температура понизилась. Когда вечером командир нас пригласил с ними пообедать, Аня, которая есть не хотела, все же пошла и сидела в кресле у стола. После обеда мы ее уложили спать.

Она, прощаясь со всеми на ночь, сказала, что ей так хорошо, что завтра она будет совсем здорова, а сейчас — только спать, спать.

Прощай, Аня!

В Туапсе наша канонерка взяла человек пятьдесят раненых. Командир попросил меня после обеда, как только я уложу Аню, спуститься к ним и быть переводчицей, когда их будет осматривать доктор или фельдшер (не помню). Мы как раз отошли от берега — слегка покачивало. Я пошла туда и пробыла часа два. Когда я вернулась в каюту, Аня спокойно спала и хорошо дышала. Я устроилась на полу, на ковре около ее койки. Потушила свет.

Сильно покачивало. Вдруг Аня громко меня позвала, сказав: «Скорей, скорей!» Я вскочила, думала, что ее тошнит, и подала ей тазик. Она его оттолкнула, и я увидела, что ей нехорошо. Схватила шприц, который у меня всегда был готов, и впрыснула ей камфору. Но не успела вынуть иголку, как она скончалась. Это было так неожиданно и так невероятно! Я стояла и смотрела: почти сразу же половина лица и тела покрылись кровоподтеками — сердце не выдержало.

Я побежала разбудить папу и тетю Энни. Они пришли. Так не верилось: ведь вечером она была почти здорова, ложилась спать и всех успокоила.

Папа был тверже всех, он сразу понял положение и сказал нам, чтобы мы никому ничего не говорили, пока не дойдем до Феодосии. Как мы провели остаток ночи — не помню. Утром мы вошли в порт.

Аня умерла 21 марта 1920 года, двадцати одного года. Ее рождение — 18 августа.

Рано утром 22 марта папа пошел сообщить о том, что произошло, капитану, который принял близко к сердцу наше горе. Он сказал, чтобы мы не выходили из кают, пока он не скажет. И только когда в Феодосии сгрузили всех раненых, он нам сказал, что мы можем идти. Матросам он приказал сделать гроб: он был военный, французский, серо-голубой. Прямо с парохода мы отвезли Аню в часовню на кладбище и на другое утро похоронили. Крест поставили небольшой, деревянный, устроили

могилку, обложили черепицей, посадили цветы. А на другой день должны были уже уехать к тете Наде Каракаш — в ее имение Вишуй, около Симферополя.

Потом два раза мне удалось побывать у Ани и подправить ее могилку. Раз была с Васей Черепенниковым. Был он там и без меня. Теперь, вероятно, от могилки не осталось и следа.

Странная Анина судьба: родилась во Владивостоке, и ей не было месяца, когда ее перевезли в Японию, в Нагасаки. Младенцем переехала два океана, пересекла Америку и скончалась в море, на французском военном корабле. Чем она заболела после тифа, так и осталось неизвестно. Сначала доктор думал, что это паротит — осложнение после тифа. Но опухоль была гораздо ниже, а кроме того, трудно было это предположить, так как я все время ей очищала рот, даже во время ее самых сильных припадков. Через два дня опухоль спала, что не могло быть при паротите. Конечная причина — сердце. Оно, очевидно, очень ослабело за болезнь, пока ей его не поддерживали, а все волнения, эвакуация его надорвали. Может быть, она простудилась и была какая-нибудь злокачественная ангина. Накануне она была счастлива и спокойна. Умерла почти во сне и ничего не сознавала. Это большое счастье для нее: оставаясь у большевиков, она бы погибла, конечно, и в больших мучениях.

Глава 7. ВОЗВРАЩАЮСЬ К РАБОТЕ

Новые назначения

В имении у тети Нади Каракаш я пробыла недолго, там был и Женя (в отпуску из корпуса, Петя был в плавании). Вернулась в Феодосию, где меня временно назначили в заразный госпиталь для гражданского населения. Я все время хлопотала об откомандировании меня в Севастополь, где было Управление Красного Креста, чтобы получить назначение в военный госпиталь или отряд. С трудом мне это удалось. Папа и тетя Энни оставались жить в Бешуе, но, когда там стало опасно из-за зеленых, они перебрались в Севастополь. Там они получили комнату в морских флигелях, на Корабельной стороне. Мальчики были в корпусе.

Сначала в Севастополе никуда не назначали, оставили при Управлении и давали разные поручения и командировки. Сперва я работала в громадном складе на Мельнице Родоканаки, в медицинском отделе: туда приходили грузы из Америки, в громадном количестве. Затем неожиданно мне поручили устроить резерв для сестер на Корабельной стороне в одном из зданий Морского экипажа, где был Одесский госпиталь (старшая сестра

Томашайтис). Работы у меня было очень много, начиная с войны со старшим врачом, который не хотел мне уступить нужное помещение, а затем уборка, доставка мебели, посуды, белья и т. д.

Когда все было готово, меня временно оставили там заведующей, и я стала принимать сестер и ими «управлять». Длилось это, кажется, всего неделю, так как приехала настоящая, постоянная заведующая и меня освободили от этой не очень приятной должности. Почти сразу же меня послали отвезти на пароходе в санаторию около Ялты тяжело больную туберкулезом (tbc) сестру Шлеммер. Она была уже немолодая. Это была дочь Кексгольмского полка (3-й Гвардейской дивизии в Варшаве) — турчанка.

Когда она была еще девочкой, во время резни на Кавказе (восстание курдов), ее спас полк, дал ей образование, она вышла замуж. В Крыму, когда я ее отвезла в санаторию, ей оставалось недолго жить. Довезла я ее благополучно, у меня оставалось время до обратного парохода, и я смогла сделать большую прогулку в те места, где когда-то мы жили на даче (Массандра, Никитский сад).

Когда я вернулась, мне сразу же поручили отвезти имущество для формирующегося в Феодосии 3-го Передового отряда, который шел в десант на Кубань. Это было не так сложно, так как все было уже готово и почти уложено в ящики.

Я все приняла, погрузила на пароход и довезла до Феодосии — и там все передала начальнику отряда. Но в Феодосии был большой склад Красного Креста, и я должна была взять все, что могла найти нужного, для отряда, формировавшегося в Севастополе. У меня были списки того, чего не хватает. Я несколько дней рылась и возилась на складе. Затем все надо было уложить, доставить на вокзал, погрузить в вагоны. Эта командировка длилась довольно долго. По приезде в Севастополь я получила назначение в отряд, для которого привезла имущество, — в 1-й Передовой отряд Красного Креста.

В Феодосии ходила на кладбище к Ане. Сторож, которому я заплатила, когда переезжала в Севастополь, очень хорошо ухаживал за могилой.

Вернулась из командировки 23 июля, и 24-го была назначена в отряд. Он был не такой подвижной, как мой прежний в Терской дивизии. Он был придан к 1-му корпусу и передвигался в вагонах. У нас были палатки, и мы могли раскидывать лазарет с перевязочной и операционной. Персонал был очень большой. Из врачей — начальник отряда Эдигер и два врача — Павленко (старший) и Дерюгин. Старшая сестра Верещагина — старая

общинская, хозяйка — Томашайтис, бельевая — Готова, аптечная — Константинова, операционная — Ухова. Еще шесть сестер: Шевякова, Колобова, Васильева, Малиновская, Дроздовская и я. Потом прислали еще Рябову, а позже — Гойко и Назарову с мужем (его назначили письмоводителем).

Большинство сестер я хорошо знала, так что мы отправились дружно. 3 августа мы получили вагоны и погрузились, но не уехали, так как получили приказ задержаться. Потом оказалось, что большевики прорвались на железную дорогу и ее перерезали. Но 6-го вечером было разрешено выезжать. Провожала нас масса народу.

Выехали ночью, 7 августа, простояли весь день в Симферополе, и я ходила к Пете Кобылину (мой двоюродный брат, видела его и всю его семью). Когда мы вышли из Крыма, мы проезжали по мосту, где только что отбивались, прогнали и уничтожили красных. Трупы еще лежали по сторонам дороги. Дальше мы ехали, встречая отступающие базы поездов и лазареты, которые эвакуировали из Мелитополя.

Мы до Мелитополя доехали, но дальше нас не пустили, ввиду отступления. Это было 10 августа. Настроение было тревожное.

Эдигер (начальник отряда) поехал вперед в Федоровку, в штаб корпуса. Ему сказали привести отряд туда. Прибыли мы в Федоровку 12-го утром. Это была маленькая, пустынная станция, но узловая. Кругом степь. В пакгаузе — эвакопункт. Мы сразу же пошли туда помогать, так как раненых было много. Отряд стал разворачиваться в Федоровке. Поставили палатки — большие для больных и отдельная для операционной. Сестры все в одной палатке. Кровати сложили из тюков соломы.

Стали сразу же принимать раненых, и только тяжелых. Из отряда была выделена летучка: в нее назначили младшего врача Дерюгина, сестру Васильеву, меня и нескольких санитаров. Мы должны были доезжать в вагонах до последней станции перед фронтом, забирать там раненых и привозить в отряд. За Федоровкой к фронту были только разъезд Плодородье и станция Пришиб.

Налеты «Ильи Муромца»

15-го вечером летучка пришла в Пришиб, сразу же погрузили в нее раненых, и Шура Васильева с частью санитаров повезла их в лазарет. Я осталась с доктором и четырьмя санитарами на пустой станции, чтобы принимать новых раненых. Улеглась спать в лавочке «Продажа съестных продуктов воинским чинам», на прилавке. В лавочке, как и вообще на станции, — ни души! И конечно, никаких продуктов. Ночь была очень холодная, и, несмотря на то что я прошлую ночь дежурила в лазарете и очень

устала, я не могла заснуть. Стала бродить в темноте по станции, мимо проходили отступающие обозы; сказали, что соседняя станция занята красными и недалеко стоит дежурный броневик. Было очень жутко. Мне казалось, что все ушли, а спросить было некого. Наконец я разбудила доктора, но он в полусне сказал, что ничего угрожающего нет, что все спокойно — и захрапел! Я дождалась утра, болела голова, хотелось спать, но привезли пять раненых марковцев, и надо было ими заняться.

Мы их уложили на полу под навесом, а сами устроились против них у другой стены и стали ждать летучку. Но вдруг прилетел аэроплан «Илья Муромец» и сбросил около самой станции несколько бомб.

Нам ничего другого не оставалось, как продолжать лежать на полу под навесом. После налета новых раненых не поступило, но несколько человек было убито недалеко от станции.

К вечеру вернулась Шура Васильева с вагонами. Погрузили раненых, я уехала с ними, а Шура осталась. Так мы работали все время: вечером и ночью погрузка — одна уезжает, а другая остается с доктором. Если раненых не было, оставались обе. Уставали очень: через ночь не спали, а днем или работа, или тревога из-за налетов «Ильи Муромца». Он стал прилетать регулярно каждый день утром и вечером. Летел низко над самыми крышами, бросал бомбы и строчил из пулемета. Делал он это спокойно и безнаказанно: это был тыл, и только отдельные солдаты или офицеры стреляли из винтовок. Эти налеты и, главное, ожидание их страшно действовали на нервы. Все все время прислушивались, особенно нервничали, когда он опаздывал. Но когда пролетит, все вздыхали свободно, спокойно жили до момента, когда он снова должен прилететь.

Положение было незавидное, так как наши вагоны оказались прицеплены к огнескладу и платформе с бензином и взрывчатыми веществами.

Раз ночью, как раз когда мы думали отдохнуть (раненых не было), загорелась броневая платформа, могла произойти катастрофа, но удалось вовремя затушить огонь.

Только когда мы приезжали в Федоровку, мы отдыхали в сестринской палатке до момента отъезда обратно. Но вскоре «Илья Муромец» стал долетать и туда. Как раз когда я там была, он набросал бомб около аэродрома. В это же время станция Пришиб, где стояла летучка, была обстреляна с красного броневика.

Нас после этого оттянули на разъезд Плодородье. «Илья Муромец» продолжал летать каждый день, но не всегда сбрасывал бомбы. Там была большая каменная мельница, и мы решили

прятаться там, но ни разу туда не убегали.

Работы стало меньше. Часто мы обе оставались в летучке: доктору и нам обеим дали классный вагон, но какой? Маленький, дачный, третьего класса, проход посередине и по бокам короткие деревянные скамейки. На них мы должны были устраиваться на ночь. Один конец вагона был наш, а другой — доктора. С утра, когда не было работы, мы с Шурой сидели в одном конце, а доктор в другом. Вещей с нами почти не было. Делать абсолютно нечего. Сидели и ждали налета. Когда ветер или плохая погода, мы счастливы и спокойны. Так сидели, бродили около вагона целыми днями. Изредка позовет нас доктор со своей стороны и спросит: «Сестры, а не съесть ли нам кавунчика?» Тогда мы соединялись с ним, брали арбуз, хлеб и ели. Делали это по нескольку раз в день: почти этим только и питались. Кухни у нас не было. Продуктов тоже. Достать ничего было нельзя. Когда мы ездили в отряд, привозили хлеба, арбузы доставали на месте. Так я пробыла в летучке до 24 августа, когда повезла партию больных в отряд.

Ночью из Севастополя пришла телеграмма из Красного Креста. Управление вызывало меня — в сопровождении одного санитара я должна немедленно приехать в Севастополь. Объяснений не было никаких. Я сейчас же поехала за вещами в летучку, чтобы на другой день ехать по вызову. Я очень испугалась: сначала подумала, что меня вызывают, потому что с моими что-то случилось. Но то, что вызывали и санитара, меня немного успокаивало. Все же никто ничего не понимал. Все недоумевали и даже не могли сделать никаких предположений. В этот же день, тоже неожиданно, приехала новая сестра Рябова, довольно противная. Она слышала, что меня вызывают, но тоже не знала почему. Я очень волновалась, но, с другой стороны, радовалась, что увижу своих. Я съездила в Плодородье за вещами, в ночь на 26-е вернулась в отряд и, не раздеваясь, легла спать на тюках соломы в сестринской палатке. Утром в неурочный час прилетел «Илья Муромец» и начал бросать бомбы. Все еще только просыпались и были не одеты.

География местности была такая: станция, на рельсах около нее длинный ряд огнесклада, потом все наши белые палатки — да так близко, что колышки для веревок были часто забиты под огнескладом. С другой стороны — аэродром. Дальше картофельное поле и две-три хаты. Паника началась страшная: все вскочили, в чем были, и понеслись по полю, а с аэродрома строчат из пулемета. Кто-то начал палить из винтовки. Все носились по картофельному полю без всякого смысла. Вид был потрясающий. Я одна была одета, так как приехала ночью и не

раздевалась. Один доктор несся без тужурки, с болтающимися подтяжками, застегивая брюки. Сестра Узова — босиком, прижимая к груди сапоги, Константинова куталась в платок, точно он ее мог запрятать. Все сестры были без косынок и без передников. Сестра Малиновская, жена начальника огнесклада, не нашла ничего лучшего, как спрятаться под вагон со снарядами. Я тоже унеслась со всеми, но остановилась недалеко под крышей хаты. Стоя там, я и наблюдала всю эту живописную картину.

Несмотря на то что бомб упало много и аэроплан долго строчил из пулемета, жертв не было.

Сестра Шевякова сейчас же сочинила слова на мотив: «Оружьем на на солнце сверкая…» Постараюсь их вспомнить! Вот:

Пропеллером на солнце сверкая,
Под крики смятенной толпы,
В нас бомбы и пули бросая,
Появился прообраз «Ильи».
Старший врач, позабыв дисциплину,
За сестрами вслед убегал,
И за хатой, укрыв свою спину,
Гимнастерку, спеша, надевал.
А там, чуть подняв занавеску,
Грозил ему женский кулак,
И грозно шипела старуха:
«Убирайся, кадетский дурак».
Младший врач — он быстрей и проворней —
Улепетывал всех впереди.
И в картофельном поле удобно
На просторе надел сапоги.
Малиновская, с мужем поспоря,
Под вагон с динамитом вползла.
И от страха, смятенья и горя,
Там ни встать и ни сесть не могла!
А другая, спросонья и лени,
Ничего разобрать не могла,
И шептала, запрятавшись в сене:
«Не могу умирать я одна!».

Распределяя американскую помощь

В этот день, 26 августа, мы с санитаром уехали в Севастополь. Вот что я узнала в Управлении Красного Креста: американцы прислали очень большое количество перевязочного материала и немного посуды для перевязочной. Но они заявили, что не отдадут все это ни в какие склады на управления, а желают

непосредственно все передать в полковые околотки и полевые лазареты. Они не желают никаких промежуточных инстанций и просят им назначить серьезных и толковых сестер, с которыми они будут иметь дело, считая, что к нашим рукам ничего не приклеится. Среди этих сестер выбор пал и на меня. Но я в Севастополь опоздала: другие сестры уже все получили и уехали на фронт.

Я пробыла два дня дома и поехала обратно в Акимовку, где их и догнала. Мы должны были все раздать в три корпуса. Поэтому мы разделились по парам. Я и сестра Маслова, которая работала при Управлении, получили корпус генерала Барбовича. Со своими двумя вагонами и одним санитаром переехали на станцию Акимовка. Там думали застать Кубанскую дивизию, но наши начали наступать, и дивизия ушла вперед, к Александровску. Наш отряд тоже ушел вперед. Поэтому мы смогли выдать материал только кубанской артиллерии. Дальше уже надо было ехать подводами в Серогозы, где стоял корпус Барбовича. Весь материал брать было не нужно, так как надо было оставить, на всякий случай, часть кубанцам. Поэтому мы с Масловой поехали вдвоем, а санитара оставили охранять наши два вагона. С большим трудом получили подводы, погрузили и отправились. Первая остановка была в Эйгенфельдской колонии. Там стоял кубанский лазарет — мы ему выдали материал и у них переночевали. Выдавая материал, мы требовали, чтобы нам показывали списки раненых, называли количество людей в полках. Проверяли имеющийся материал и в зависимости от этого решали, сколько дать. На все это у нас были строгие полномочия.

Спрашивали, что надо им еще привезти, так как американцы собирались продолжать доставлять все необходимое. Это было уже 12 сентября.

Много времени заняла у нас предварительная работа — делить материал на три части, так что, пока все было налажено, прошло три недели.

Из кубанского лазарета поехали дальше. Трудности были большие: во многих местах нам отказывали в лошадях, часто бывали даже скандалы со старостами, как, например, со старостой в Александерфельде, где мы так лошадей и не получили и пришлось ехать дальше. Несколько раз меняли лошадей благополучно, но в Каме снова скандал: как мы ни бились, староста лошадей не дал, сказав, что их нет, и послал нас за несколько верст в сторону, на хутор Серогозский, уверив, что там лошадей много.

Добрались мы туда к вечеру, уже темнело. Оказалось, что на

хуторе всего пять дворов. Там заночевали, а утром с трудом нашли двух лошадей и ни одной подводы. А у нас их было три. Тогда сестра Маслова вернулась в Каму и добилась получения от старосты еще одной лошади. Выехали мы и ехали почти весь день под проливным дождем. Приехали в Серогозы ночью. Едва нашли штаб корпуса и корпусного врача Вас. Мих. Карташева.

Все были предупреждены о нашем приезде. Встретили нас хорошо, накормили прекрасным ужином с гусем и вином. Отвели чудную квартиру. На другое утро мы пошли представиться в штаб корпуса. Там нам дали тачанку, и мы поехали в Первую конную дивизию — в Новоалександровку и Покровское. Везде нас встречали радостно и с почетом: там нам дали чудный экипаж, и мы поехали по всем околоткам, где врачи или фельдшеры показывали нам все свое мизерное имущество. Мы расспрашивали обо всем, записывали и говорили, чтобы на другой день они приехали за материалом к нам.

Были в Гвардейском полку, где каждый эскадрон или полуэскадрон носил форму своего старого полка. Там же стоял 7-й Передовой отряд, где мы ужинали. В нем я встретилась с сестрой Звегинцевой, которую в тифу я вывозила с нашего поезда. Она еще больной во время эвакуации из Новороссийска была вывезена в Сербию, там поправилась и вернулась в Крым. В Севастополе она меня искала, заходила к моим, оставила там для меня кое-какое обмундирование, которое она привезла для меня из Сербии, говоря, что я спасла ей жизнь. Она страшно рада была меня встретить, но больше я ее не видела.

Во время отступления линейка, на которой ехали сестры ее отряда, попала под сильный ружейный обстрел, и сестра Звегинцева была убита наповал. Ее довезли до первой деревни и оставили в хате у крестьян: похоронить не успели, так как красные нагоняли. Крестьяне обещали похоронить. Бедная Наташа: она так радовалась, что спаслась от тифа и жива! Вернулась из Сербии, чтобы вскоре быть убитой!

На другое утро мы с сестрой Масловой приготовили весь материал и стали выдавать всем, кто по очереди за ним приезжал.

На другой день, когда закончили раздачу, в хорошем экипаже поехали в Терско-Астраханскую бригаду, в Рубановку — ближе к фронту. Командовал бригадой Константин Агоев: его старший брат Владимир Константинович, который командовал нашей дивизией, был убит месяц назад.

У терцев нас встретили очень ласково и радушно. Хорошо провели время в штабе, где закусывали. Обедали у коменданта штаба и бригадного врача. Встретила я кое-кого из знакомых по дивизии. Вернувшись в Серогозы, мы должны были с остальным

материалом ехать в 7-ю дивизию, но она подошла ближе, и пришел штаб 3-го корпуса, где и надо было все узнать. Сестра Маслова занималась не только раздачей материала, но и торговлей: ей из Управления Красного Креста дали много всякого барахла: платья, белье и мужские вещи — для обмена у крестьян на масло, яйца и другие продукты. Она так этим увлеклась, что на наше главное дело все меньше и меньше обращала внимание. Мы начали ссориться, и последней раздачей я уже занималась одна. Но мне повезло: в штабе 3-го корпуса оказались знакомые офицеры-терцы, которых я случайно встретила в деревне. Они мне и помогли.

Когда все было закончено, мы вернулись на станцию Акимовка, где находились наши вагоны и небольшая часть материала. Там мы узнали печальную новость: наш санитар Петр погиб! И погиб так глупо: он стоял в дверях теплушки, высунув голову. В это время шли какие-то маневры на станции, вагон резко толкнуло, дверь задвинулась, и ему раздавило голову. Его без нас похоронили. Теплушки запечатали.

Мы раздали оставшийся материал на месте и поехали в Севастополь, куда вернулись мы все шесть почти одновременно. У нас было несколько «заседаний», для составления отчета американцам. Наконец его написали, а одна из сестер перевела на английский язык. Когда мы его сдали, я поехала обратно в отряд.

Жила все время дома у своих. Пробыла в Севастополе до 1 октября. Задержалась на несколько дней, поджидая Петю, который был в плавании на «Корнилове». Но не дождалась.

Глава 8. ПРОРЫВ КРАСНЫХ

3 октября приехала в отряд, который стоял в Пришибе, так как наши ушли вперед и был взят Александровск. Отряд расположился в каком-то большом железнодорожном пакгаузе. Там жил персонал и были склады. Раненые лежали в доме рядом, в отдельной палатке в саду был один холерный.

Работы было много. Накануне моего приезда большевики прорвали фронт и конницей сделали налет на Толмак. Раненых было много. Спешно грузили их на поезд, эвакуировали и начали сами сворачиваться. Но положение было восстановлено, и мы остались. Привезли еще раненых, и мы продолжали работать.

Во время моей командировки к нам прислали еще двух сестер — Бойко и Назарову (с мужем). Они все недавно попали в Добровольческую армию от красных. Сестра Бойко — очень милая, скромная и запуганная, но Назарова грубая, нахальная: с

ранеными обращалась отвратительно, все на нее жаловались, часто она не исполняла своей работы. Но старшая сестра Верещагина, очень добродушная, не умела вести дело и ни на что не обращала внимания.

Она прослужила сестрой двадцать пять лет и собиралась ехать в Ялту получать нагрудный Золотой крест. Бегала, тараторила, говорила о своем кресте и о том, что, когда она была молодая, все теперешние генералы были в нее влюблены. Так что на сестру Назарову она не обращала никакого внимания. Мы же просто старались работать без нее.

Вскоре после моего приезда проехал через Пришиб генерал Кутепов. Мы все его встречали у поезда. Он вышел из вагона, кое с кем поговорил, на сестру Верещагину внимания не обратил, хотя она очень волновалась и уверяла, что он тоже в нее влюблен. Мы очень все смеялись!

Приблизительно 11 октября в отряд приехал корпусный врач 3-го корпуса, осмотрел отряд, похвалил и сказал эвакуировать раненых. Нам надо было свернуться и отправиться в Геническ, до дальнейших распоряжений, и наготове держать летучку.

Когда все раненые были отправлены, начальник отряда Эдигер начал хлопотать о вагонах для нас. Но получить их не удавалось. Наконец вагоны нашлись, но не было маневрового паровоза, чтобы их подкатить и сцепить.

Положение на фронте не было угрожающим, и мы спокойно ждали отправки с уже уложенным имуществом.

Но 14 октября вечером неожиданно пришли сведения о прорыве красной конницы у деревни Михайловка, недалеко от нас. Сейчас же весь мужской персонал и команда стали толкать, подкатывать и сцеплять вагоны руками. На станции, кроме нас, уже никого не было. Спешно погрузили все в четыре теплушки и на одну платформу.

К утру 15 октября все было готово, но не хватало только паровоза. И только вечером пришел откуда-то питательный пункт, со своим паровозом, и прицепил нас к себе, когда уже были видны разрывы снарядов. Было очень жутко! Действовала на нервы сестра Ухова: она от страха совершенно потеряла голову, переоделась какой-то тетушкой или, вернее, имела вид не сестры, а богатой армянской мещанки: в платке, но в хорошем пальто и с массой ужимок.

Еще накануне, 14-го вечером, когда пришло известие о прорыве, ушел огнесклад, и сестру Малиновскую, бывшую в невероятной панике, увез с собой ее муж, начальник огнесклада. Сестры Васильева, Шевякова, Колобова и я дали им часть наших вещей. А старшая сестра уехала раньше в отпуск.

Наконец мы доехали до станции Федоровка. Там столпотворение ужасное. Все пути забиты поездами, пришедшими по нашей линии и от Токмака. Стояли они на всех путях и длинной лентой один за другим. Нам надо было ждать очереди на паровоз. Наша старшая сестра Верещагина, которая больше всего волновалась из-за получения креста, передала старшинство свое сестре Томашайтис и уехала с первым отходящим поездом. Бегала и всем говорила: «Прощайте, деточки!» Больше ее никто не видел и ничего не слышал о ней.

Почти сразу же после ее отъезда, еще вечером 15-го, сестры Томашайтис и Титова встретили знакомых летчиков, которые уезжали со своей базой, и предложили им их вывезти. Они попросили Эдигера их отпустить и уехали. Сестра Титова мне передала бельевую, а Томашайтис — хозяйство, так как она была хозяйка, и заодно и старшинство.

Я сделалась старшей сестрой и заполнила свои карманы ключами от ящиков с бельем и продуктами. Меня все очень дразнили! Работы никакой, и все мое хозяйство, продуктовое и бельевое, — заложено в вагонах!

Но нас не двигали вперед: все не было паровоза! Подкармливал нас питательный пункт, но ему удалось как-то уйти раньше.

Утром 16 октября к нам со всех сторон поползли раненые и больные. Начали искать для них вагоны. Нашли и подкатили две теплушки, а к другой стороне прицепили две другие, которые нам уступил дезинфекционный отряд, стоявший впереди нас. Поместили всех, а питательный пункт, который еще не ушел, их накормил.

Холодно! Мокро! Все имущество заложено, и ничего достать нельзя! Я носилась, хлопотала, искала самое необходимое, но мало что удалось достать.

В нашей теплушке тоже грязно, и холодно, и темно, и тесно! Все сестры поместились вместе, на тюках и ящиках. Стояла и коптила маленькая печка, но она только коптила, так как дров не было, и мы совали в нее, что удавалось найти. Работы было очень много. Работали все. Трудно приходилось и потому, что раненые располагались по двум концам отряда, а не вместе. Поэтому на ночь надо было назначить двух сестер: по одной на каждый конец состава. Все вагоны были товарные, то есть не проходные, и все время надо было выскакивать наружу и карабкаться в следующую теплушку. Ступенек никаких нет, а кроме того, ходить ночью вдоль длинного состава было невозможно.

В дежурство вступила следующая сестра по очереди. За ней шла Назарова — я ее и назначила второй. Но она категорически

отказалась. Я стала настаивать и, видя, что с ней не справлюсь, стала забираться в вагон, где сидел старший врач. В этот момент к Назаровой подошел ее муж, и я услышала, как он ей сказал: «Вера, еще рано начинать». Она тогда согласилась, но потом оказалось, что она за всю ночь ни к одному раненому не подошла. Остальные сестры начали карабкаться в свой вагон, как старший врач послал сестер Шевякову и Константинову на станцию — перевязать прибывшую партию раненых.

Как только они ушли, поднялась страшная паника. Красная конница прорвалась с Токмака, наши побежали. На вопрос, где фронт, все отвечали, что его уже нет. Стрельба была все ближе и ближе. Броневики отошли, обозы неслись карьером мимо. Начальник отряда с отчаянием носился и искал паровоз, но его не было. Станция почти опустела, а мы все стоим. Темно, стрельба и никакой надежды уехать. Вдруг неожиданно, без предупреждения, нас толкнули и повезли. Обе сестры остались на станции.

Поздно ночью мы прибыли в Мелитополь. Там мы снова застряли, и, к нашей радости, наши сестры нас догнали на броневике «Волк», куда они успели погрузить всех раненых уже после того, как в Федоровке никого не оставалось. Выехали они под сильным огнем.

В Мелитополе все было забито составами: эшелон выпускали, чередуя с броневиками. Для нашего состава, прибывшего одним из последних, мало было надежды получить паровоз. Да даже если бы и получили, не могли бы выехать раньше других: ведь поезда стояли на всех путях — голова к хвосту предыдущего. Начальник отряда Эдигер и старший врач Павленко хлопотали очень энергично. Стрельба быстро приближалась. Рядом с нами стояла база «Дроздовца». Мы видели, как постепенно все из нее уходили: там были дамы, жены офицеров, — они выходили из вагонов с тюками и картонками, им помогали офицеры, и все спешно пробегали мимо нас. Нас эта картина страшно возмутила. Постепенно состав опустел: все двери остались открытыми, и его начали грабить. Кругом все уходят, убегают, садятся на броневики. Мимо нас пробежала партия пленных. Они уходили обратно к красным, и на них никто не обращал внимания.

Мы все сделали себе маленькие сверточки — из самых необходимых вещей, которые могли бы унести, если придется уходить пешком.

Ждем начальника отряда, который все хлопочет, и не знаем, что делать. То пойдем к раненым, то обратно к себе. Все молчат, прислушиваются и смотрят большими глазами. Положение безвыходное.

Наконец Эдигер вернулся и сказал, что нет никакой надежды,

что нас вывезут, поэтому он никого не задерживает и желающие могут уходить. Мы сразу схватили свои тючки и побежали к броневикам, но около вагонов раненых вспомнили их крики и просьбы их не оставлять. Сестры Рябова, Бойко и Ухова уехали. Остальные остались.

Тем временем мерзавка Назарова с муженьком взяли свои вещи и ушли в город. Рожи их сияли: они остались у красных.

Потом мы вспоминали, что незадолго до отступления ее муж отпросился на день в Александровск, который был нами взят, но фронт от него был недалеко. Он уехал с большим портфелем. Тогда никто на это не обратил внимания, и только потом сообразили, что он возил красным какие-то сведения. Сестра Бойко, которая к нам перешла от красных, очень их боялась. Мы не понимали почему. И только потом, постепенно, она рассказала, что они агенты красных и она боится их мести. Возможно, что у нее осталась там семья.

Глава 9. ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Когда мы вернулись в свой вагон, то увидели в нем полный разгром! Это санитары во время нашего отсутствия его разграбили и скрылись. Из команды осталось всего десять верных и честных солдат.

Мы сразу же стали обходить раненых и всем ходячим приказали уходить и садиться, кто куда может, а сами положили на носилки несколько лежачих и понесли их на броневик «Единая, Неделимая Россия», но он все время маневрировал и, не останавливаясь, ушел. Пришлось нести их обратно в наш состав. Вокзал уже обстреливался шрапнелью. Паника невероятная. Уходят броневик «Дроздовец» и «2-й Железнодорожный батальон». На том и на другом раненые. Мы им успели сунуть несколько своих, и я с Васильевой поехала на «Железнодорожном батальоне», на «Дроздовце» — Шевякова и Колобова, а за нами каким-то чудом пошел и отряд.

Из всех окон вокзала стреляли в уходящие поезда. В наш поезд тоже попало несколько пуль. На «Железнодорожном батальоне» мы доехали до следующей станции — Акимовки. Замерзшие, усталые и голодные, мы не знали, что делать. Ехать ли дальше или ждать отряда? Решили ждать. Было очень жутко отставать на два эшелона. Мы сделали хорошо, так как в отряде были тяжелораненые, а персонала почти не осталось. Из мужчин остались: начальник отряда Эдигер, от врачей — Павленко, доктор Дерюгин и фельдшер, жених сестры Дроздовской. Сестры Шевякова и Колобова, так же как и мы две, вернулись в отряд;

кроме нас, оставались еще Константинова и Дроздовская — всего шесть из четырнадцати. Кроме этого, канцелярская молоденькая барышня Рая и прачка Роза. Из команды — десять человек. Эдигер был очень рад, что наша компания сестер осталась. Эту ночь мы ночевали в мужском вагоне, так как в наш, после грабежа, нельзя было войти.

За ночь мы немножко продвинулись и остановились в степи, за три с половиной версты от станции Сокологорная. Мороз был страшный — 19 градусов. Дров не было, топили чем могли, искали куски заборов, щепки, палки и пр.

На другой день, 18-го, мы кое-как прибрали свой вагон, перебрались обратно и стали перевязывать раненых. Но надо было их и накормить. Но мы, когда сворачивались и грузились в Пришибе, чтобы переехать в город Геническ, думали доехать дня в два, раненых не имели и совершенно не были приспособлены их принять. Продуктов взяли немного, только для себя и не думали ничего варить в пути, кроме чая или картошки.

Но мы ехали уже четыре дня, по пути, конечно, ничего достать было нельзя, все было съедено, а надо кормить всех больных. Санитары все же на щепках на маленькой печке что-то сварили из всего, что могли найти, но хлеба не оставалось ни одного куска.

В поезде перед нами находились вагоны Донского интендантства, полные продуктами, консервами и обмундированием. Я побежала туда и попросила дать нам для раненых консервов и хлеба, а также для них и для раздетой команды шинелей и теплых вещей. Но они отказали, сказав, что у них ничего нет и что без ордера не дадут. Как я ни просила, они ничего не дали. Так что пришлось раненым раздать нашу полусырую бурду. Для себя мы с утра поставили на нашу печурку кастрюлю с картофелем, но она до вечера так и не закипела, но весь день у нас было столько работы и забот, что мы о еде и не думали. И только вечером, когда все закончили, пошли «ужинать»: картошка была мягкая, грязная, черная, как уголь, пахла копотью, но мы с жадностью ее съели.

Поезд все еще стоял на месте, в конце бесконечной ленты поездов. Ночь. Страшный мороз. Дежурной осталась сестра Дроздовская, она закуталась во все, что могла, и ушла. Мы в своей теплушке начали устраиваться на ночь. Усталые, замерзшие, голодные. Долго обсуждали вопрос — благоразумно ли, ожидая каждую минуту тревоги, снять сапоги?

Мы так устали, что решили все же снять. По очереди одна из нас сидела у печки, подкладывала топливо и даже выскакивала наружу в поисках чего бы еще подложить горючего. Я и Шура

Васильева забрались на тюки под самую крышу и прижались друг к другу, чтобы согреться. Но Шура заболела, у нее началась желтуха, она стонала и вся дрожала. Я заснуть не могла. От двенадцати до двух дежурила у печки и выходила искать топливо. И только сменившись, я наконец заснула. Но в 4 часа утра сестра Дроздовская (дежурная ночная) разбудила нас громким окриком в дверь. Холод страшный. Топливо кончилось, печка потухла. Оказалось, что только что пришли два офицера и сказали, что поезда дальше не пойдут, так как паровозы застыли. Они сказали, чтобы мы немедленно уходили, так как линия нашего фронта впереди нас за десять верст, а красные за нами, совсем близко.

Таким образом оказалось, что мы за линией фронта, между нашими войсками и большевиками. За нами стояли только два броневика, которые при подходе красных взорвутся. Впереди же нас, на станции Сокологорная, в трех с половиной верстах, стоит санитарный поезд под парами. Если мы на него не поспеем, то придется много верст идти пешком.

Мы моментально вскочили, сорвали с себя косынки и передники, закутались, как могли, привязали бинтами на спину наши тючки и выскочили из вагона. Всем раненым, которые могли двигаться, сказали идти. Вытащили на снег носилки и стали укладывать на них лежачих.

В это время в стороне увидели крестьянскую телегу, которая ехала в сторону красных. Одна из сестер побежала и после долгих споров заставила мужика подъехать к нам. Уложили на телегу менее тяжелых, и они поехали вперед. Носилочных оказалось восемнадцать человек.

Я, как сейчас, вижу картину: среди белой, покрытой снегом степи, на насыпи бесконечной лентой стоят красные товарные вагоны и между ними черные мертвые паровозы. С левой стороны под насыпью, гуськом на снегу, восемнадцать носилок с тяжелоранеными, едва укрытыми шинелью или одеялом, и около них шесть не сестер, а каких-то странных существ: в высоких сапогах, закутанные кто в плед, кто замотан платками, шарфами, с тючками на спинах. Особенно хороша была маленькая Константинова: она вокруг пальто замоталась вся большим пестрым платком, надела его на голову, скрестила на груди и завязала за спиной. У меня на голове была большая вязаная защитного цвета шапка. Пальто не было, а клетчатая, зелено-синяя куртка с поясом, сшитая в Москалевке — после разгрома.

Кроме сестер, было всего четыре санитара (все другие убежали), старший врач, держащий под уздцы единственную отрядную лошадь, и старая прачка. Начальник отряда сказал, что он не уйдет и покинет отряд только в последний момент; с ним

остался и фельдшер.

Нас всего было одиннадцать человек на восемнадцать носилок, а по такому морозу и снегу, чтобы нести раненых около четырех верст, надо было даже не по два, а по четыре человека на носилки.

Но в этот критический момент нас увидел какой-то офицер и сказал, что в нашем составе находятся пленные красноармейцы. Он сейчас же их привел к нам. Это были совсем молодые ребята, недавно мобилизованные. Мы страшно обрадовались и стали их расставлять у носилок, но пленные неохотно нас слушались и стали разбегаться. Все же после долгих усилий мы двинулись. Но не прошли и нескольких шагов, как пленные, один за другим, стали оставлять носилки и убегать. Надо сказать, что они были почти раздеты, и руки их коченели. Будь они тепло одеты, они бы не так убегали. Но мы этого не могли допустить: успеть на поезд надо было во что бы то ни стало.

Мы буквально пришли в отчаяние: криками, пинками заставляли их снова идти. Справа была высокая насыпь с вагонами, так что туда трудно было убежать, поэтому мы пошли гуськом, левее носилок, и следили, чтобы никто не удрал. Колобова нашла ремень, размахивала им, а иногда и стегала. Шевякова била по физиономиям, я работала кулаками. Маленькая Константинова держала кулак под своим громадным платком, подскакивала и кричала: «Застрелю!» Доктор, держа в одной руке лошадь, другой размахивал над головами найденной им сломанной шашкой и тоже что-то кричал.

Так мы стали приближаться к Донскому интендантству, которое нам накануне ничего не пожелало дать: теперь они открыли двери и стали бросать шинели, куртки, перчатки… Идущие впереди носильщики, увидев это, бросили носилки и побежали вперед за выбрасываемыми вещами. Мы ринулись тоже туда. У вагона собралась порядочная толпа людей. Они кричали, толкались и старались захватить как можно больше. Мы с разбега ворвались в толпу и стали кричать, чтобы нам дали для раненых, хватали вещи и бежали обратно, навстречу нашим пленным. Показывали шинели, куртки, перчатки, говоря: «Возьми носилки, и все получишь!» Так мы бегали взад и вперед. Дали вещи пленным, накрыли раненых и сами надели по кожаной безрукавке.

Положение было спасено, и дальше до станции Сокологорная шли уже спокойно. Когда мы туда пришли, поезд еще стоял, но был готов к отправке.

Пленные поставили носилки на перрон и ушли. Мы своими усилиями стали втискивать раненых по разным вагонам, где

находили место. Остался еще один поручик, весь израненный и изрезанный: он пробыл в руках красных несколько минут. Мы искали место, куда поставить его носилки. Наконец нашли не слишком забитую площадку вагона. Поезд дал свисток! Вчетвером схватили носилки, подбежали к площадке. Паровоз уже дергал, но не мог сдвинуть длинного поезда с ледяных рельсов.

И вот в момент, когда мы сделали усилие, чтобы вставить носилки, нас с силой оттолкнул, проскочил мимо и прицепился к вагону высокий толстый полковник в новом защитном полушубке. Он загородил собой все пространство. Но тут наша изящная, воспитанная Шевякова, как кошка, прыгнула полковнику на спину. Одной рукой держалась за его меховой воротник, а другой кулаком била по голове и кричала: «Сволочь! Сволочь!» Полковник ошалел! Соскочил ли он сам, или оттянула его Шевякова, но место освободилось, и мы уже на ходу поезда всунули носилки. Их там приняли стоящие офицеры. Поезд ушел!

Куда девался полковник, не знаю. Рассказать это — долго, но все произошло в какие-нибудь две-три минуты.

Мы остались на станции. Санитаров не было: они уехали. Сестра Дроздовская решила вернуться к жениху в отряд. С ней пошла и Константинова, которая была влюблена в начальника отряда. Остался старший врач Павленко и четыре сестры: Васильева, Шевякова, Колобова и я, да еще старая прачка Роза. Нам ничего другого не оставалось, как идти в Крым пешком.

Глава 10. ОТСТУПЛЕНИЕ НА СЕВАСТОПОЛЬ

Теперь, когда раненые уехали и страшное напряжение нас покинуло, мы почувствовали голод. Вошли в пустое маленькое здание станции, но ничего там не нашли съедобного. Тогда спустились на дорогу по правой стороне полотна и пошли. Доктор привязал все наши тючки на лошадь, так что мы шли налегке. Недалеко от станции я увидела какую-то будку и в ней нашла яйцо. Оно было замерзшее, и я его грызла.

Еще когда мы несли раненых, началась сзади страшная пальба — это отстреливались наши два броневика, которые стояли через состав от отряда. Гул был невероятный. Теперь впереди нас слышался бой. Потом узнали, что около Новоалексеевки. Мы шли и не знали, отрезаны мы или броневики пробили путь в Крым. Слева недалеко трещал пулемет. Мы шли совершенно одни: ни войск, ни бегущих людей, — все уже ушли!

Наконец мы подошли к следующей станции — Юрицыно — и увидели справа конницу. Чья? Не знаем! Она идет колонной.

Вдруг в нашу сторону отделяется разъезд, и скоро колонна рассыпается в лаву и идет на нас. Кто они? Наши или красные — мы не знаем. То, что мы пережили в этот момент, было ужасно! Мы остановились. Бежать? Но куда?

Пошли все же к станции и там встретились с разъездом. Это был 1-й Атаманский полк, шедший в атаку на красную конницу, которая шла на нас слева. Мы ее не заметили, занявшись своей. Мы оказались в середине между ними. В этот момент мимо станции понеслись полковые обозы. Неслись в страшной панике по дороге и прямо по полю. Нам удалось как-то вскочить на повозки. Доктор поскакал верхом. За нашей спиной казаки налетели на красных и отбили.

Опоздай мы в Юрицыно на несколько минут, мы попали бы в самую кашу. В повозке, куда я попала, два казака везли барана и пулемет. Проскакав порядочное расстояние, все поехали шагом. Шевякова и Колобова ехали вместе в пустой повозке, и я пересела к ним.

На станции Рыкова стоял санитарный поезд, и на него взяли Васильеву, больную желтухой. Мы на повозках поехали дальше. Подъезжая к Новоалексеевке, обогнали сестру Бойко, которая уехала от нас еще в Мелитополе. Она шла пешком, но сесть к нам не захотела. Дальше, подъезжая к Салькову, мы ехали по полю, усеянному трупами людей и лошадей. Говорили, что там накануне Буденный нагнал обоз.

Было очень холодно, но мы как-то не чувствовали это. Страдали от голода. У наших казаков ничего не было: они показали котел, в котором был когда-то суп с мясом. Маленькие куски примезли к стенкам. Мы все отодрали и съели. В Сальково приехали, когда было темно. Холод адовый, и только небольшое здание станции. Вокруг заночевали все обозы. Пришлось и нам ночевать в открытом поле.

Наши казаки где-то нашли дрова, разложили костер. Добыли немного хлеба и мороженого мяса. Дали и нам. На землю постелили брезент, легли все рядом и накрылись другим брезентом. Но холод был такой, что лежать мы долго не могли и сели к костру. Пошли посмотреть, можно ли устроиться в домике станции, но там было так набито, что муха бы не поместилась. Вернулись к нашим казакам и снова сели к костру. Но, несмотря на усталость, холод и голод, мы все три обратили внимание на удивительную картину: темная морозная ночь, сотни костров, повозки и молчаливые усталые люди, греющие свои руки и ноги над огнем. Тихо-тихо!

Сзади костры, на одинаковом расстоянии друг от друга отделяющие нас от темной степи, где, близко или далеко,

находятся красные.

Около костров посты. Вдруг на рысях, с пиками, показался Джунгарский полк. Черные силуэты людей и лошадей на фоне костров. Они проскочили мимо, исчезли в темноте, и постепенно замирал конский топот по мерзлой земле. Они понеслись туда, где только недавно утих гул орудий и были еще видны поздним вечером огни шрапнелей.

Перед рассветом наши казаки перекочевали на другую сторону станции к стогу соломы и легли там. Мы тоже зарылись в солому и даже немного задремали, хотя нам очень хотелось покинуть наших спутников, которые стали довольно нахальными и начали к нам приставать, когда непосредственная опасность миновала. Но пока было темно, мы не могли уйти и принуждены были оставаться с ними.

Наконец настало утро. Наши казаки решили свернуть с дороги и заехать куда-то закусить. Настаивали, чтобы мы ехали с ними, но было уже светло, дорога видна, мы отказались и решили идти пешком на Чонгарский мост, в Джанкой, где уже опасности не было, — ждать поезда. Мы подошли к повозке, чтобы взять свои тючки, но их не оказалось: их украли наши «спасители». Казаки, конечно, говорили, что это не они, но сомнения не было. Было жаль последних вещей, но, главное, было обидно и больно, что это сделали свои, да еще в такое время.

Мы втроем двинулись в путь налегке. Но едва могли плестись от усталости и от боли в отмороженных и стертых ногах и даже обрадовались, что вещей не было — мы бы их не донесли и бросили по дороге.

До Чонгара едва доплелись. Там был 3-й санитарный поезд, мы туда забрались. Встретились с прачкой и несколькими санитарами. Они сказали, что отряд погиб, а начальник отряда с сестрой Дроздовской и Раей пошли в цепь (что оказалось неправдой). Доехали, стоя на площадке, до Джанкоя. Там пришлось пересесть. Не было сил пойти поискать еды. Нашли поблизости несколько яблок. До Симферополя ехали в коридоре, набитом людьми. По очереди, скорчившись, ложились среди ног стоящих на грязный пол. Так провели ночь. В Симферополе снова пересели в другой санитарный поезд. Вначале снова стояли в коридоре, но потом сестры поезда отвели нас в столовую, где мы на табуретках провели следующую ночь. Там нас наконец немного накормили.

В Севастополь прибыли 22 октября вечером. Наше отступление длилось неделю. Неделю не раздевались, не мылись, почти не спали, мерзли и не ели. Но приехали здоровые, за исключением отмороженных ног. У меня пальцы были почти

черные, и я боялась, что они не отойдут. Но, слава Богу, все прошло, остались только нечувствительные мертвые места. И всегда болят во время мороза.

Я появилась дома, когда у них были мальчики и был «пир», так как они откуда-то узнали, что я жива и еду. До того они страшно волновались!

На другой день я узнала, что все чины нашего отряда появляются и что все живы. Узнала о смерти сестры Звегинцевой из 7-го отряда. Шевякова, Колобова и я явились в Управление Красного Креста.

С нами говорил сам Кочубей — главноуполномоченный Красного Креста. Он подробно нас расспрашивал и приказал написать обо всем в письменном докладе, что мы и сделали. Кочубей сказал, что представляет нас к Георгиевскому кресту.

На другой день Красный Крест решил открыть госпиталь для персонала. Все свободные сестры были туда назначены. Попала и я, и вернувшиеся сестры отряда. Все мы были очень недовольны: нам не дали отдохнуть, и мы еще не думали об эвакуации, верили, что наша армия снова пойдет вперед, и боялись, что нас задержат в Севастополе и не дадут снова сформировать отряд.

Глава 11. НА БОРТУ «РИОНА»

Но дня через два заговорили об эвакуации. Я все это время жила у папы и тети Энни на Корабельной стороне, в здании Морского экипажа.

Как-то вечером у нас были мальчики. Вдруг появился гардемарин с приказанием немедленно вернуться в корпус для эвакуации. Они убежали.

На другой день папа пошел записать нас. Нам назначили «Рион», на котором уходили гражданские члены правительства, беженцы и одно или два юнкерских училища. Я не верила, что это конец всего: думала, что эвакуируют только беженцев, что армия остается.

Я была в отчаянии, что нет отряда и что я не могу остаться. Все же пошла в Управление Красного Креста узнать, нельзя ли получить куда-нибудь назначение. Но там увидела ужасную картину: все уже убежали, в панике бросив все и сестер на произвол судьбы. Сидел только начальник медчасти доктор Темкин (потом узнали, что он остался служить большевикам). Сестер пришло много. Все просили бумаги для эвакуации или справки. Но у Темкина был один ответ: «Ваши бумаги готовы, вы назначаетесь в Одесский госпиталь (стоящий на Корабельной стороне), идите туда, вас там никто не тронет». Говорил он с

каждой отдельно. На отказ оставаться и просьбу выдать бумаги на эвакуацию он отвечал уговорами принять назначение. Все сестры подряд отказывались, но бумаг нам он никаких не дал. Жалованья тоже никому не заплатил. Здесь снова повторилась картина спасения своей шкуры путем передачи сестер большевикам.

Мы были предоставлены сами себе, и нам ничего не оставалось, как устраиваться кто как может. Все же мне уходить на «Рионе» с беженцами не хотелось, и я решила попытаться эвакуироваться с Морским корпусом на «Генерале Алексееве». Папа и тетя Энни обязательно хотели, чтобы я ехала с ними, и я обещала, что, если не попаду с мальчиками на «Генерала Алексеева», поеду с ними. Они забрали все вещи и отправились на «Рион». У меня вещей почти не осталось. Я все свое имущество завязала в розовое одеяло, которое получила рядом на каком-то складе, привязала все на спину и отправилась в корпус. Но когда катер туда подошел, все уже были на «Генерале Алексееве». На пристани встретила только несколько гардемаринов. Они грузили на баржу баранов. Своей властью они меня взять не могли, и я поехала обратно. Пришла к «Риону», около которого стояла невероятная толпа народу с пожитками; все ждали очереди. Нашла своих. Среди толпы на большом сундуке увидели С.Вл. Данилову, она возвышалась своей мощной фигурой и громко протестовала, что ее заставляют ждать. Слышалось: «Вдова генерал-адъютанта — должна ждать?!» Но на ее негодование никто не обращал внимания.

Погрузка шла медленно, и паники не было. Сколько времени мы простояли на пристани, не помню. Наконец попали на «Рион». Это было к вечеру.

Сначала мы нашли свободное местечко и уселись на вещах на палубе. Но папа сразу же пошел к командиру, и нам дали место в офицерской кают-компании, находящейся на палубе. Там нас оказалось тридцать два человека. Вокруг стен тянулся неширокий диван. Папа и тетя Энни получили угол и ночью могли лечь от угла, голова к голове. Днем мы все как-то размещались, но ночью лежали на полу, тело к телу. Посередине стоял стол, я спала на нем рядом с каким-то супружеством. Если ночью кому-нибудь надо было выйти, то ничего не оставалось, как ходить по лежачим людям.

Но у нас было еще прекрасно, а на палубе творилось что-то ужасное: там не многим удавалось лечь. Мы погрузились на «Рион» 29 октября, ушли под вечер, но не помню, 29 или 30 октября 1920 года.

Когда отходили, видели, как пылала подожженная мельница

Родоконаки, где был склад (там я одно время работала). Настроение у всех было подавленное, все молчали и смотрели на удаляющуюся Р-о-с-с-и-ю!!!

Но еще до отхода у нас началось «развлечение», которое отвлекало мрачные мысли. Громадный «Рион», с его пустыми трюмами, торчал из воды и давал сильный крен. На нем эвакуировался комендант Севастополя генерал Петров. Он решил командовать на «Рионе». Увидев крен, надумал его выпрямлять и громким голосом командовал: «Все на левый (или на правый) борт!» Началась давка, толкотня; шагнуть некуда, а генерал кричит! Через некоторое время новая команда: «Все на другой борт!» и т. д. Затем, увидя, что «Рион» его не слушается, и заметив музыкантов с медными трубами и нотами, приказал все швырнуть за борт. Папа смотрел и возмущался. Наконец не выдержал и пошел к командиру «Риона». После этого комендант Севастополя успокоился.

В нашей кают-компании публика собралась приличная и симпатичная. Там находился лейб-казачий лазарет, то есть несколько офицеров, уже выздоравливающих, жена одного из них, генерала Попова, и их сестра Оболенская. Кроме них, были еще какие-то люди, попавшие по протекции (Абаза, Львов и пр.). Я была в отчаянии, что оторвалась от армии, осталась без дела и в штатской обстановке. Думала, что армия остается в Крыму и будет еще воевать. Но на другой день началась работа: среди толпы беженцев было много больных и легкораненых, предоставленных самим себе.

В пароходном лазарете были тяжелобольные, но там был уход. И вот какой-то врач, сидевший на палубе, обратился к сестре Оболенской — она была в форме — и попросил ее ему помочь в заботе об этих брошенных больных. Оболенская сказала мне, и мы вдвоем взялись за работу. Я нацепила красный крест на свою шапку. Доктор попросил нас обойти всю палубу и верхнюю часть «Риона», отыскать больных, составить списки и сообщать ему о случаях, когда нужна его помощь. Мы с ней поделили «Рион» пополам по всей длине, от носа до кормы, и стали обходить (или, вернее, пробираться через груды людей), отыскивая больных, расспрашивать, записывать. При помощи доктора удавалось кой-кого пристроить лучше.

Приходилось перелезать через тюки, через людей; то наступишь на чью-то ногу, то толкнешь, и часто под нелестные о нас отзывы «милых дам», от которых, как обычно, попадало «этим» сестрам, которые всегда всем «мешают»! Особенно попадало нам от этих особ, стоящих в очереди в WC. А очередь была нескончаемая. Стояли, думаю, часами. Мы же две на это

время не имели и дали себе право ходить вне очереди. Что тут было! Шипение, шум и даже крики: «Нацепили себе кресты и воображают!» Но мы ничего не воображали, торопились с работой и, правда, в душе злорадствовали. Но в самом начале был ужасный случай: на палубе появилась очень хорошенькая полуодетая молодая женщина. Она пританцовывала, громко смеялась и старалась бежать, точно кого-то ловила. Кто она, никто не знал. Появилась она раза два, и больше мы ее не видали. Она сошла с ума. Вероятно, ее заперли в какую-нибудь каюту, а может быть, она была и не одна и ее держали свои. Впечатление она произвела очень тяжелое!

На палубе, под какой-то стеной, среди кучи людей я увидела дядю Колю Москальского и его жену Елизавету Ивановну. Они, по-моему, так всю дорогу и не сдвинулись с места.

На площадке широкой лестницы в отделении первого класса сидела С.Вл. Данилова. Каждый раз, как я мимо нее пробиралась, она возмущенно говорила: «Я вдова генерал-адъютанта, сижу на лестнице, а мальчишка с семьей — в купе» и гневно показывала на каюту, находившуюся против нее. Оказалось, что там находились Н.М. Киселевский с Александрой Петровной (с Таней и Леной), которых я тогда не знала, — мои будущие «beaux[12]-родители».

Работы у нас с Оболенской было очень много. Мы с утра до самого вечера возились с больными и старались им помочь. Положение на «Рионе» было ужасное. Воды не было: на веревочках спускали за борт посуду, банки, забирали морской воды и кое-как мыли руки и лицо. Пресной воды было очень мало, и ее получить становилось все труднее. У всех стали кончаться запасы еды, которую взяли с собой. Накануне наш доктор сказал, что будут варить суп для больных и давать воду. Поручил нам составить точный список на получение этого супа и воды. Набралось у нас, кажется, двести пятьдесят человек. Папу я тоже записала как больного.

На палубу, в определенное место, один раз поставили котел с супом, и все записанные должны были за ним приходить. Кто не мог, тому мы относили сами. Порции были очень неравные, так как у некоторых были только кружки или маленькие банки. Старались все же дать всем одинаково. Я как работница тоже получала порцию. Я брала немного больше, так что ели мы все трое. Воду в ведре приносили отдельно, в другой час, и тогда снова шла раздача. Конечно, кругом были завистливые и недовольные. Жена генерала Попова, которая ехала в нашей кают-компании, целый день ничего не делала, а когда услышала о раздаче супа, нацепила на себя громадную кауфманскую косынку

и заявила: «Я тоже сестра и имею право на паек».

Так шли дни и ночи. «Рион» едва двигался: на буксире он вел миноносец, груженный углем. Когда у нас уголь кончился, перегрузили с миноносца и пошли дальше. Куда делся миноносец — не знаю.

К счастью, была чудная погода — что было бы, если бы нас качало и вся эта масса людей стала бы страдать морской болезнью? А еще хуже — пустой «Рион» перевернуло бы волнами? Ползли мы долго. Видели обгоняющие нас пароходы и наконец стали окончательно: уголь снова кончился.

И только когда за нами пришел какой-то большой американский военный корабль и взял нас на буксир, мы снова поплыли к Босфору. Американские матросы, лично узнав о голоде на «Рионе», привезли для всех беженцев много консервов. Каждый получил по коробке. Радость была очень большая.

Глава 12. В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Наконец мы подошли к Константинополю, стали на якорь среди целой армады наших судов всех величин. Все были до отказа набиты людьми. Сейчас же облепили лодки всех размеров, на которых турки и греки привезли хлеб и другие продукты. Изголодавшиеся люди привязывали на веревку кольца, часы, ценности — спускали их за борт и за это получали хлеб или что-то иное.

С пароходов сразу никого не пускали. Наконец к нам подошел большой американский катер и взял человек двадцать больных и стариков, в том числе и папу. Тете Энни разрешили ехать с ним.

Их отвезли на Босфор, на европейский берег, в хорошее новое помещение. Я осталась одна. После отъезда наших к «Рио-ну» подошла шлюпка Морского корпуса, где были Петя и несколько гардемаринов. Им разрешили обойти корабли, чтобы разыскать свои семьи. Петя поднялся ко мне.

Корпус на «Генерале Алексееве» и все военные корабли уходили в Бизерту. Затем к нам подошел большой пароход, везший беженцев в Югославию, и предложил желающим перебраться. Уехали дядя Коля Москальский с Еленой Ивановной, Киселевские и много других. Я была еще в Крыму знакома с Натой, и у нас с ней были хорошие отношения. О Тане я понятия не имела. И вот когда беженцы стали переходить на другой пароход, я увидела сестру в форме и приняла ее за Нату. Я подошла к ней, радостная, и окликнула: «Сестра Киселевская!» Она меня осмотрела с ног до головы и ответила: «Я вас не знаю!»

Я была страшно поражена и только потом узнала, в чем дело. Это так похоже на Таню: она могла мне ответить, что я ее приняла за ее сестру. Ната Киселевская выехала из Крыма с братом Борисом, моим будущим мужем, и его бригадой. Когда в Севастополе перегруженный пароход готов был уже отойти и сходни были сняты, Борис, стоявший у борта, увидел на берегу Нату. Офицеры бригады взяли его за ноги и спустили вниз головой за борт, Ната взяла его за руки, и их вдвоем втянули на пароход.

Лена и Ната попали в Галлиполи и оставались там до конца. Борис в Галлиполи не остался и уехал к своим в Югославию.

На другой день после отъезда папы и тети Энни, по их просьбе, американцы взяли и меня. Это было 9 ноября, пробыла я на «Рионе» одиннадцать дней.

У американцев нас устроили хорошо, кормили, но это было временно, денег не было ни гроша, и надо было что-то изобретать. Я решила поехать в Константинополь на разведку. Чтобы оплатить проезд, пришлось из вещей кое-что продать. В Константинополе я нашла наш Красный Крест, который помещался в консульстве. Весь двор перед зданием был полон сестер, пришедших просить работы. Перед входом в дом сидела сестра, которая давала справки и немного сортировала: одним, по-видимому, сразу отказывала, других ставила в бесконечную очередь, чтобы идти в канцелярию. Мне кажется, что это была сестра Амелюк, а может быть, и сама Романова.

Когда я подошла, она меня узнала, спросила меня, знаю ли я английский язык, и сказала подняться, вне очереди, прямо в канцелярию. Там мне сразу дали назначение на остров Проти к американцам. Я, счастливая, пошла по делу в посольство и затем решила ехать домой.

Но, к моему ужасу, оказалось, что моих пиастров не хватает на обратный путь. На мое счастье, столкнулась с сестрой Ага Голициной-Шидловской, и она смогла мне дать недостающие деньги. Больше я ее никогда не видела. Так и осталась должна несколько пиастров.

На острове Проти у американцев я проработала две недели.

Там было что-то вроде распределительного пункта: туда привозили больных с пароходов и через несколько дней куда-то отправляли. Устройство было самое примитивное, временное.

Американцы страшно суетились, и поэтому мы очень уставали. Нас, сестер, там было четыре или пять.

Нам выдали необходимую для каждой посуду и каждый день выдавали консервы, какао и т. д., и мы должны были сами как-то приготовлять еду. Так что заняты были все время и едва смогли пробежаться по острову, очень красивому и маленькому.

Населения там мало. Много зелени.

Я мечтала устроиться в настоящий, наш, русский госпиталь. Два раза удалось съездить в Константинополь, и на второй раз меня приняли в наш посольский госпиталь.

Работы там было очень много: были и больные, но больше раненых. Госпиталь был переполнен, лежали трое на двух сдвинутых кроватях. Оборудование было прекрасное, все от американцев. Но вначале был страшный беспорядок. Постепенно все вошло в норму, и мы работали, как в доброе старое время. Более легкие больные стали поправляться и выписываться, и все оставшиеся получили по кровати. Палаты были в чудных залах посольства — с портретами царей, дивными хрустальными люстрами, паркетами.

Нас было двадцать две сестры. Мы все жили в одном большом зале, с нами поместились и две докторши. Передняя часть была отгорожена простынями, и там была столовая. В нашем помещении мы тоже простынями отгородились по две. Получилось вроде купе. Две кровати и между ними ящик. Я жила с Катей Деконской. В общем, в «сестрятнике» жили дружно, и никогда никаких ссор или историй не было.

Мы с Катей работали в одной палате № 5, где почти все были раненые и больные. Отношения с больными были прекрасные, с санитарами-офицерами тоже. Правда, с некоторыми было трудновато, они начинали возражать, спорить — на том основании, что они офицеры. Но, в общем, всегда удавалось все наладить. Вскоре наши старший врач, старшая сестра Кургузова и операционная сестра Малама уехали во Францию. Эти две сестры, наши старые общинские, были уже во Франции с Экспедиционным корпусом. Приехали из России через Север во время войны.

После их отъезда старшим врачом был назначен В.В. Брунс, старшей сестрой — Томашайтис, а операционной назначили меня. Я очень не хотела, так как страшно боялась. Операционной сестрой никогда раньше не была. Правда, работала перевязочной и часто помогала в операционной. С. Малама перед отъездом мне все показала, дала все указания. Стерилизацию и материал я хорошо знала. Оперировал у нас профессор Алексинский.

Я сразу же справилась и до конца благополучно работала. Санитар-офицер работал хорошо, и я могла ему вполне доверять. Все же после «чистых» операций я всегда волновалась и бегала узнавать, не поднялась ли у больного температура. Слава Богу, ни разу никаких осложнений по вине операционной не было.

Рождество в госпитале, помимо ожидания, прошло хорошо: во всех палатах поставили елки, пришли гости, была масса

угощений, развлечения для больных. Приходили и дети русской гимназии.

Папа и тетя Энни у американцев пробыли недолго, и их перевели во французский лагерь для беженцев. Там им было ужасно и грозила отправка куда-то не то в Румынию, не то в другую страну. Они хлопотали, чтобы остаться здесь и жить самостоятельно. Но денег не было. Тогда тетя Энни решила продавать свои драгоценности. Начали с ее двух менее ценных вещей и папиных орденов. Им предложил услуги старый знакомый и друг Бобик Шредер, молодой офицер-гвардеец, кажется измайловец или егерь. Тетя Энни все ему отдала. Никогда от него ни денег ни вещей не получили: сначала говорил, что еще не продал, а потом исчез и сам.

Пришлось продать более ценные вещи, и тогда папа и тетя Энни нашли комнату в Константинополе у турок и переехали. На Рождество они были уже там. Устроили елку для меня: стоял в углу кипарис, и на нем висело круглое зеркало — подарок мне!

От мальчиков из Бизерты не было никаких известий, и мы очень волновались, тем более что я встретила одного кадета, который сказал, что Женя упал и разбился и его положили в лазарет. Больше он ничего сказать не мог.

Мои именины 12 января провела очень радостно. Рано утром меня разбудили чудным большим букетом цветов — розы, фиалки и другие!.. Это прислала моя палата. Я была растрогана до слез. Я вспомнила, что накануне в палате были странные волнения, перешептывания и т. д. Это больные собирали деньги, некоторые удрали в город заказать цветы и страшно волновались, чтобы букет был принесен вовремя.

Когда я пришла в палату, были страшные овации, поздравления, и у всех праздничное настроение. Всем объявили: «У нас сегодня праздник, наша сестра — именинница». Давно я так радостно не проводила своих именин. Отношения у меня со всей палатой были прекрасные. Мы в ней работали с Катей Деконской — нас обоих обожали. Работали мы дружно, да и вообще с ней были очень дружны.

Не помню, когда именно, но пришло наконец письмо от Пети. Он писал про Женю. Его сетка для спанья (гамак) на «Генерале Алексееве» была около люка, он в него свалился и пролетел в нижний трюм, упав на поручни трапа. Сильно расшибся, был без сознания. Боли были страшные, и его первое время держали под морфием. Он все еще находился в госпитале, и Петя писал, что при плохом питании в корпусе он не поправится, что надо его оттуда взять. Папа стал хлопотать, и наконец Женя приехал, но в гораздо лучшем виде, чем мы ожидали. Его положили в мою

палату. Профессор Алексинский его осмотрел, не нашел ничего серьезного, никаких повреждений. Боли, которые еще остались в бедре, были от удара по нерву. Профессор сделал Жене раза два укол пакеленом, пахло жареным мясом — и очень скоро Женя выписался. Его устроили в русскую гимназию на берегу Босфора.

В госпитале работы стало много меньше: многие больные выписались, кое-кто уехал в Галлиполи, другие поправлялись. Были и почти здоровые, но так как места освободились, а им некуда было деваться, то их держали в госпитале.

Приближалась весна, люди отдохнули, успокоились после всего пережитого, и началось влюбленное настроение. Особенно отличалась наша 5-я палата — «56 больных», как было написано при входе. Мы с Катей ничего не замечали, в свободное время болтали, шутили со своими питомцами, и вдруг началось. Ночью мы сидели в соседней 4-й палате. И, как только все уснут, сидишь, ничего не подозревая, вдруг видишь перед собой фигуру, которая усаживается рядом, и начинается объяснение в любви.

Отвечаешь, уговариваешь, просишь идти спать, иногда отшучиваешься. Но на другой день видишь вздыхающего человека, старающегося подозвать к себе. На следующее дежурство — снова один или два, по очереди. Мы не знали, куда деваться, боялись дежурить. У некоторых больных поднималась температура. Ревновали друг к другу. Идя на дежурство, думали — кто сегодня? А на другой день в «сестрятнике» сестры спрашивали, от кого ночью получила признание. Некоторых было очень жалко: больные, одинокие, ничего впереди, и они искренно к нам привязались! Но что было делать?

В свободные дни мы стали уходить осматривать Константинополь. Когда наступила весна, ездили компанией за город. В нашу компанию входило два-три больных и группа кирасиров — стражников консульства.

В это время у меня сделался страшный приступ ишиаса. Профессор Алексинский сказал: ущемление нервов. Боли были невероятные. Я не могла шевельнуться. Пролежала неделю. Потом долго хромала и затем волочила ногу. Долго еще побаливала нога.

В марте уже была настоящая весна. Все свободные дни гуляли компанией. В палате — бесконечные объяснения и все новые сюрпризы. Почти все больные были влюблены или в Катю, или в меня. Это начало уже раздражать, но что мы могли сделать? В апреле стало спокойнее. Многие наши влюбленные уехали. Мы составили свою компанию, и нас немного оставили в покое. Не помню, в какой период папа и тетя Энни уехали в Мессину. Их взял с собой адмирал Пономарев. Он во время землетрясения в

Мессине в 1902 году командовал крейсером, принимавшим участие в спасении мессинцев. Мессинцы, узнав о бедственном положении Пономарева с семьей, собрали для него деньги и пригласили к себе.

Пономарев попросил визы и билет на пароход и папе с тетей Энни. Там они прожили несколько лет. Жилось им очень хорошо: мессинцы их обожали. Тетя Энни имела уроки языков. Пономаревы же показали себя с плохой стороны и скоро уехали.

Когда я стала работать в операционной, мы с Катей бывали один день свободны и стали вместе ходить по мечетям Константинополя. Любили подолгу там сидеть, в тишине и полумраке.

Летом нам всем дали по две недели отпуска и посылали попарно в Буюкдере, где нам была предоставлена комната. Давали суточные, и мы на примусе себе готовили. Мы с Катей чудно провели время, отдохнули и развлеклись. Постоянно к нам приезжали наши вздыхатели.

Природа, парк — там дивные. Целыми днями проводили на воздухе, сами увлекались, словом, жили счастливо, без забот, без страха и не думая о завтрашнем дне!

1921 год. Семь лет (!!!) — с 1914 года — мы не принадлежали себе и не видели личной жизни.

К этому времени мы сшили себе «туалеты». Из бежевых пижам у Кати и у меня получились летние костюмы, а из полосатых пижам — платья. На жалованье смогли купить по шелковому синему жакету из «jersay»[13], смастерили белые пикейные шляпы и чувствовали себя почти парижанками.

В конце лета мы на шаркетах[14] изъездили весь Босфор, осмотрели Константинополь, гуляли всю ночь Рамазана среди праздничной турецкой толпы, заходили в мечети.

Константинополь так красив, красочен и интересен, что мы буквально были влюблены в него. Присутствовали два раза на Саламлике — переезде султана из дворца в мечеть.

Так прожили до осени, когда стали говорить о том, что армию из Галлиполи, с Лемноса и Чаталджи будут перевозить в Болгарию. И действительно, скоро началось новое переселение. Наш госпиталь решено было перевести на Шипку. В Константинополе оставался постоянный Николаевский госпиталь. Все другие, в разных лагерях, постепенно закрывались. Мы все были страшно расстроены предстоящим переездом: жаль было покидать Константинополь и наших друзей.

Госпиталь переходил в уменьшенном виде: большая часть имущества осталась в Константинополе, и решено было там поместить инвалидов. Кое-кого из персонала тоже не взяли.

Поехали Катя, я, Титова, Томашайтис (которая в Константинополе вышла замуж за М.В. Губкина), две Урусовы и еще несколько сестер. Собирались недолго, поджидая парохода, идущего с Лемноса с Терско-Астраханской бригадой. С ними мы и поехали в новую страну на новую жизнь.

Это было, думаю, в ноябре 1921 года. В Константинополе пробыли год. Уезжали мы в ужасном настроении: кончилась наша привольная жизнь в дивном, сказочном Константинополе. И там оставались все наши друзья из нашей тесной компании.

Пошли по Босфору снова в Черное море. Мы все стояли на палубе и мысленно прощались со всеми местами, где мы бывали. Наступил вечер, за ним дивная лунная ночь. Для госпиталя отвели помещение второго класса. Каюты были в ужасном состоянии, ободранные и пустые. Казаки ехали в трюмах и на нижней палубе. Палуба и каюты первого класса были пусты. Там жил только французский лейтенант, сопровождавший казаков. Еще когда мы грузились, нам с Катей пришлось с ним разговаривать, так как он распоряжался, а мы поневоле были переводчицами.

Когда все устроились и мы двинулись в путь, он подошел к нам с любезными разговорами. Нам он был противен, но приходилось быть любезными: ведь это было всемогущее начальство. Надоедал он страшно. Мы уходили, но через некоторое время он нас находил. Разлюбезничался так, что объявил, что мы не можем ночевать в ужасных каютах второго класса и предложил каюту первого класса. Причем очень настаивал. Мы едва отбоярились. Спали на своих жестких койках ужасно. На другой день я встретила кое-кого из знакомых терцев. Это было очень приятно и радостно.

Наш лейтенант, маленький, плюгавенький, смотрел на казаков с высоты своего маленького роста с большим пренебрежением. Из всех русских он отличал только двух «принцесс на горошине» — Катю и меня. Какую из нас больше? Не знаю! Слишком мы с ней представляли одно целое. Все наши друзья нас называли Два Бебса. Я — Большой Бебс, Катя — Маленький!

Когда мы стали подходить к Болгарии, к Бургасу, у казаков начались тихое, незаметное волнение и оживление. Французы при погрузке войск на пароход отнимали все оружие и строго запретили что-либо перевозить с собой. Но мы знали, что казаки кое-что припрятали. В Бургасе, когда спустили сходни и приготовились высаживаться, наш лейтенант уселся на полу палубы первого класса, свесив ноги над нижней палубой, почти над самыми сходнями. С этого пункта он видел всю нижнюю

палубу, и все казаки проходили мимо него. Около сходней стоял наш офицер и тоже, по-своему, наблюдал. Тут мы с Катей почувствовали невероятную симпатию к лейтенанту, подобрались к нему и сели по бокам. С одного боку Катя, которая способна произносить невероятное количество слов в секунду, тараторила без конца, я подливала масла в огонь с другой стороны. Что мы говорили? Но лейтенант наш был в восторге, а еще больше мы, видя, как проходят казаки с тюками, и зная, что там завязаны винтовки, патроны. Протащили и два пулемета. Наш офицер иногда разыгрывал комедию. Хватал казака, грозно на него кричал, вырывал какую-нибудь негодную шашку и швырял ее в сторону. После казаков сошли мы, пожелав лейтенанту всего хорошего. А на берегу встретились со знакомыми терцами и очень веселились.

Эпилог. ОСЕНЬ 1921 ГОДА

Шипкинское «сидение»

Итак, мы в Болгарии. Начался новый этап нашей жизни. Бургас произвел на нас удручающее впечатление. После красочного чудесного Константинополя — плоский городок. Маленькие простые домики, тишина и пустота. Настроение у всех скверное, и вечером, когда нас устраивали на ночлег, сразу же произошел большой скандал. Второй наш врач, хирург, привез с собой свою даму сердца, объявив, что она его жена. На эту ночь ее поместили в одной комнате с нами. Видели мы ее впервые. Эта особа, еще совсем молоденькая, взяла с нами начальнический тон, потребовала лучшее место и т. д. Но мы, которые были возмущены уже тем, что ее привели к нам, на нее налетели и тут же выбросили вон. Назавтра — скандал с доктором. В результате чего с ним были прерваны всякие сношения. Мы встречались только по работе и говорили с ним только о деле. Он в столовую не приходил, и еду ему и его даме приносили к ним в комнату. И это не изменилось до самого конца. Почти через год они уехали от нас.

На другой день мы сели в поезд и доехали до Казанлыка. Там снова ночевали. Казанлык — маленький городишка, весь в зелени, и нам понравился. Мы бегали, ели «кисело млеко» и кибабчичи. Познакомились с симпатичной болгарской семьей. Утром на лошадях поехали на Шипку, находящуюся за одиннадцать верст. Это большое селение, лежащее в долине под горой Св. Николая, где находится знаменитое Орлиное гнездо. Над селением, на склоне горы, были русские владения. Перед самой Великой войной там было построено громадное здание Духовной семинарии, над ним большой парк и наверху дивный собор — храм-памятник русским, погибшим в Освободительную войну[15]. От него открывался прекрасный вид на всю Долину роз. Семинария не была еще открыта, когда началась война. Охраняли ее (то есть собор и все сады) священник, который вскоре умер, монах Свято-Троицкой лавры отец Сергий и послушник — брат Павел. Во время войны болгары забрали себе всю семинарию и устроили сиротский дом «Сиропиталище». Хотя они занимали далеко не все громадное помещение и правительство разрешило нам туда въехать, местные власти не желали нас туда впустить. Среди них было много коммунистов, да и в селе тоже. Все же им пришлось уступить. Они нам дали все флигеля и две-три комнаты в большом здании. Там мы устроили операционную и одну палату.

В полуподвальном помещении — канцелярия, где за занавеской в темном закутке поместились старший врач и Малавский, чиновник. За ней — бельевая и прачечная. Меня назначили в бельевую. Персонала было гораздо меньше, и старшая сестра Томашайтис стала операционной сестрой. В больничном флигеле устроили палаты для туберкулезных и аптеку. В другом полуподвальном помещении — санитары, а наверху, в небольшой квартире, в передних комнатах поместили сестер и в одной — доктора с его дамой. Из их комнаты был отдельный выход. Мы же ходили через кухню, где устроили умывалку. Наши три комнаты были проходные. Последняя имела дверь к доктору. Ее завесили одеялом и поставили кровать. Столовая была в домике нашего посла. Это была посольская дача. Остальные комнаты оставили свободными, и там останавливались почетные гости. Приезжали Лукович, советник сербского посольства, семья нашего посла Петряева, владыка Серафим, отец Шавельский и др.

Вначале было очень неуютно. Болгары смотрели враждебно, надеялись нас так или иначе выселить и все время угрожали. И вот что произошло очень скоро после нашего приезда: домик, в котором мы жили, стоял на краю глубокого оврага, заросшего деревьями, кустами и колючками. На другой стороне его был мост. Окна из двух сестринских комнат, в том числе и той, где жила я с Катей и младшей Урусовой, выходили на овраг. И вот как-то вечером, когда все улеглись и стали засыпать, послышались крики к свистки в овраге под нашими окнами. Шум все усиливался и приближался. Мы вскочили в страшной панике, решив, что это большевики пробираются к нам, чтобы нас выгнать. В страхе мы бросились в комнату Титовой и Томашайтис, которые ничего не слыхали и уже спали. Их окна выходили во двор. Титова в страхе вскочила, а Томашайтис не поверила, продолжала лежать и на нас ворчать. Мы мечемся в самых невероятных туалетах. Одна зажгла свет. Но все шепотом заставили ее потушить свет («А то начнут стрелять»). Стали стучать доктору в дверь, но он не пожелал отвечать. Кто-то залез под подушки, Катя нервно доставала письма и фотографии и прижимала их к груди. Крики то удалялись, и мы облегченно вздыхали, то вдруг снова приближались. Так мы метались и дрожали довольно долго. Наконец все стихло. Мы улеглись на свои места, но долго не могли успокоиться и говорили о том, что это нас специально мучают, чтобы мы уехали. На другое утро мы все рассказали старшему врачу. Он послал в деревню разузнать, в чем дело. Там сказали, что убежали какие-то свиньи и их ловили. Но мы сразу этому не поверили и долго жили под впечатлением

этого страха. Вообще же, тоска и скука были невероятные. Жили только письмами.

В деревне было почтовое отделение, там царил двадцатилетний почтальон Ванчо. Он с гордостью заявлял: «Аз телефонист, аз телеграфист, аз почтальон, аз всичко»[16]. И действительно, он был там один. На маленькой тележке три раза в неделю он ездил за почтой в Казанлык на железную дорогу. Возвращался около полудня. В эти почтовые дни мы так волновались, что мигом проглатывали обед и все неслись на почту, оставив только дежурную сестру, которая с завистью смотрела на убегавших. Прибежав на почту и увидев флегматичного Ванчо за его окошком, мы уже не могли сдержать своего нетерпения и наперебой обращались к нему, спрашивая, есть ли письмо. Но он нас не удостаивал ответом и молча разбирал корреспонденцию. Он по очереди брал каждое письмо, читал адрес, рассматривал марку, клал в сторону и брал другое. Если попадалась открытка, он не только долго любовался картинкой, но и читал содержание. Мы теснились у окошка, умоляли его сказать, кому письма, прыгали, подглядывали, но на Ванчо ничего не действовало. И только когда он достаточно все проверил и прочитал, он медленно начинал нам выдавать. Счастливицы хватали письма и бежали обратно, чтобы, лежа на кровати, полностью насладиться. А ничего не получившие, понуря голову, плелись обратно. В «сестрятнике» стояла гробовая тишина — счастливицы молча читали свои письма, изредка издавая восклицания. Но чтение окончено, и тогда письма зачитываются вслух, иногда с малыми, а иногда и с большими пропусками. Все они из Константинополя. Редко-редко приходили из других мест, так как никто еще не нашел родных, друзей, знакомых или не списался с ними. Вечерами строчились ответы.

В непочтовые вечера мы три — Катя, я и Урусова — проводили в комнате Титовой и Томашайтис-Губкиной. Книг, работы никаких не было. Единственно, что мы могли делать, это вышивать салфеточки на кусках бязи, в которую были завернуты кое-какие аптечные вещи. Сидели вокруг лампы, вышивали и в несколько голосов пели, и чаще всего «У попа была собака», а иногда и душещипательные, вроде: «Сказав прости…». Бывали и развлечения, это когда из-за двери в комнату доктора слышалась семейная сцена. Вели мы себя как девчонки. Одна ложилась на кровать, стоящую вдоль двери, подсовывала голову под одеяло и слушала — все остальные, затаив дыхание, ждали. Слушавшая, обыкновенно Титова, дергала ногами, чтобы мы не шумели. А потом делала доклад. Особое удовольствие было злить доктора и его даму. Мы усаживались все на кровать и бесчисленное число

раз громко пели «У попа была собака». Можно себе представить, какая там была тоска, если взрослые, воспитанные девушки ничего другого придумать не могли.

Зима была суровая, одеты мы были плохо, так что о прогулках тоже не могло быть речи. Очень скоро от нас уехали Титова и обе Урусовы. На их место приехали три милых новых сестры. Меня назначили бельевой, Катю — аптечной. Отвоевали у болгар еще несколько комнат, госпиталь увеличили, работы стало больше, тем более что мы стали принимать платных пациентов-болгар и открыли амбулаторный прием. Красный Крест не имел средств, чтобы нас содержать. Он нам присылал все, что мог, а мы должны были подрабатывать, так что половина больных были наши военные, а половина — болгары. Все же приходилось очень трудно. Кормили очень и очень плохо. Так что нам разрешили в столовую приносить свои продукты. Мы стали прикупать масло, яйца, молоко.

Наступило Рождество 1921 года. Настроение у всех было не праздничное, и мы ничего не готовили и не устраивали. И вот совершенно неожиданно к нам из-под Казанлыка пришел большой хор Корниловского полка. Они решили петь в соборе на Рождество обедню. Мы страшно обрадовались, решили их у себя принять и устроить елку. Большим трудом стоило уговорить старшего врача Брунса их накормить. Он был экономный и скупой. Все же накормил — разрешил, но о елке и слышать не хотел. Но мы решили ее устроить. Корниловцы пошли в лес и принесли громадную елку, доходившую до потолка. Поставили ее в столовой. Из белой и синей оберточной бумаги все стали делать цепи, звезды, наложили много ваты, посыпали тальком и гипсом, и в несколько часов все было готово. Мы купили кое-какое угощение, и после ужина началось веселье. Появились балалайка, мандолины, и все пошли танцевать. Пришли и санитары-офицеры. Сестры все были в форме. Кавалеров было раза в четыре-пять больше, но, чтобы никто не обижался, мы танцевали со всеми, так что не успевали передохнуть, как нас хватал следующий и часто так крутил, гордо притоптывая, что, бывало, не знаем, доберемся ли живыми на свое место. Ведь среди наших гостей были и интеллигентные, и совсем простые люди. «Папа» Брунс был в ужасе, увидя елку, и еще больше пришел в ужас, когда его сестры в форме пустились в пляс. Но, увидев, как все радостны и искренно веселятся, он успокоился, а потом стал сам улыбаться. Корниловцы приходили к нам петь еще раза два, пел и хор дроздовской артиллерии, а весной пришли походом все части, стоящие около Казанлыка. Служили обедню, панихиду и пошли в обход всех памятников и могил. В долинах был большой

парад. Эти посещения вносили живую струю в наше шипкинское «сидение».

С теплом мы начали делать прогулки. Поднимались два раза на Орлиное гнездо, раз пошли в лунную ночь и дождались там восхода солнца. Было дивно хорошо. Летом приезжали знатные гости — больше духовенство — послужить в храме. В это время Женя и Кока Деконский жили в Пещере в русской гимназии, которую перевели из Константинополя. Они нам писали отчаянные письма, что голодают. Мы с Катей попросили нашего Брунса разрешить нам принять братьев недели на две-три. Он разрешил. Мальчики появились — здоровые, толстые, сияющие. В нашем юмористическом журнале сразу же появилась карикатура: два толстых, жирных мальчика в огромных френчах и подпись: «Приезд голодающих братьев сестер Варнек и Деконской». Но это их нисколько не смутило, они хорошо провели у нас время, и мы две тоже совсем ожили. Мальчики нам перекопали кусочек земли. Мы посеяли редиску и огурцы, думая немного скрасить нашу фасольную еду. Но ничего у нас не выросло.

Летом наша жизнь стала легче и веселее. С болгарами установились хорошие отношения. Мы часто ходили в деревню, заходили в хаты, где нас хорошо принимали и в знак гостеприимства обрызгивали розовой водой и даже давали в бутылочки с собой. Почти все крестьяне имели розовые плантации. Лепестки шли на розовое масло, отвозились они на фабрику. Но сами для себя крестьяне делали розовую воду.

Любили мы гулять и около храма и там, на большой поляне, часто играли в горелки. Этому опять воспротивился наш монах, отец Сергий. Он даже обратился к доктору Брунсу, прося запретить сестрам играть и гулять около храма, так как это нарушает благолепие. Но причина была не в этом, и потому никто на его требование не обратил внимания, и наши игры и прогулки продолжались. Дело было не в благолепии храма, а в нарушении отцом Сергием монашеского обета. Его домик стоял на краю поляны, против храма, недалеко от ворот на дорогу. А на дороге по ту сторону ворот жила болгарка с тремя детьми — «маленькими отцами Сергиями», как мы их прозвали. Такими же светлыми блондинами, как и он. Всем было известно, что это была его семья, и мы потревожили семейную идиллию. Вначале дети прибегали в домик отца Сергия, но потом, очевидно, он им запретил. Но в церкви отец Сергий был удивительно хорош. Настоящий монах, чудно прислуживал и прекрасно пел. У него был дивный баритон. А когда начинал звонить в колокола, все заслушивались. И звон с высокой колокольни на горе разносился далеко по долине.

Брат Павел, громадный детина, занялся коммерцией. Он устроил небольшой винокуренный завод, делал водку, собирая сливы с посольских садов, продавал ее и пьянствовал. Он, как и отец Сергий, был весьма недоволен появлением госпиталя на Шипке. Никто, конечно, в их дела не вмешивался, но все же их свобода была нарушена. Особенно когда стало приезжать духовенство и даже сам владыка Серафим, проживший у нас больше недели. Говорили, что в конце концов владыка этих монахов оттуда убрал.

Еще зимой приехал из Константинополя Мих. Вас. Губкин; они с Томашайтис, его женой, нашли комнату в деревне. А мы с Катей поселились вдвоем в комнате Титовой, которая тоже уехала с Томашайтис. Там было нам гораздо лучше, комната не проходная, и мы жили вдвоем.

Жили мы все на Шипке дружно. Держались обыкновенно все вместе — сестры и канцелярия. Кончилось это одной свадьбой. Прижацкая вышла замуж за делопроизводителя Фредерика, все его называли «барон». Он не возражал, но сам себя никогда бароном не называл. Свадьбу отпраздновали хорошо, своей госпитальной семьей. Невеста была в белом. Фата — из марли, которую нам прислали для гипсовых бинтов. «Папа» Брунс объявил, что они пойдут сестрам на фату. Получили его и я, и Катя, когда выходили замуж (Брунс прислал нам в Сербию).

Начало лета прошло незаметно, но начались коммунистические беспорядки, появился Стамболийский. К нам стали приходить тревожные вести об арестах генералов и офицеров. Везде начались обыски, искали и отбирали оружие. За себя мы особенно не боялись, но все же положение было тревожное. В один из таких тревожных дней пришел ко мне в бельевую мой санитар, донской казак, и попросил меня ему помочь — спрятать его винтовку. Я, конечно, согласилась, и он принес ее ко мне. Как только наступил вечер и стало темнеть, я засунула винтовку под платье, которое было длинное, и мы гуськом пошли в гору, в заросшую часть парка. Мой казак еще днем там уже припрятал лопату, быстро сделал яму, и винтовка была зарыта. Никто, кроме нас двоих, об этом не знал.

Но у нас все прошло благополучно, и обысков ни разу не делали. Почта стала ходить хуже, никто к нам больше не приезжал, и мы почти ничего не знали, что делается в наших частях. Все же слышали об арестах и о тревожном положении. И вдруг в один хороший, солнечный день к госпиталю подъехал небольшой запыленный автомобиль. Вероятно, это было в первый раз за существование Шипки. Из него вышли генерал Штейфан, его адъютант капитан Глеба и корпусный врач Трейман. Все они

сразу же пошли к старшему врачу Брунсу и долго с ним разговаривали. Затем Трейман сел в автомобиль и уехал. Генерал с адъютантом остались. Доктор Брунс сказал, что генерал Штейфан болен и приехал лечиться. Сейчас же ему устроили отдельную палату, где он поместился с капитаном Глеба. Назначили санитара, но сестрам сказали, чтобы они туда не ходили, так как все назначения врача будет исполнять капитан. Брунс два раза в день ходил к генералу его осматривать, прописал какие-то лекарства, еду носил туда санитар. Генерал весь день сидел у себя в палате и только по вечерам в больничном халате выходил погулять. Обыкновенно усаживался на скамейку недалеко от нашей столовой, и мы все, окончив работу, приходили туда, окружали его и весело болтали с ним и с Глебой. Как только раздавался звонок идти больным спать, он прощался и уходил, разрешив капитану оставаться с нами.

Постепенно мы узнали, в чем дело. В Тырнове, где стоял корпусный штаб, пошли аресты. Генерал Кутепов его избежал, но ему пришлось уехать из Болгарии. Постепенно были арестованы или выселены все начальники. Штейфана еще не тронули, и было решено его укрыть у нас. Тырново находится в долине по другую сторону от Орлиного гнезда. До Шипки надо ехать довольно долго по железной дороге, огибая хребет и, доехав до Казанлыка, уже на лошадях проделать одиннадцать верст. Такое путешествие было немыслимо. Еще на вокзале Тырново Штейфан был бы арестован. Поэтому решили перевалить гору на автомобиле. Дорога вполне безопасная, так как по ней никто не ездил да и не ходил. С нашей стороны ближе к Орлиному гнезду были только памятники боев в Освободительную войну. Как по этой дороге мог проехать автомобиль, совершенно непонятно. Дорога страшно крутая, извилистая и грунтовая, местами размытая дождями и бегущими по ней ручьями, когда там весной тает снег, и вся усыпана камнями. До этих пор если по ней и проезжали, то, наверное, только на волах. Но наши проехали благополучно, и таким образом, генерал спокойно проживал у нас.

У нас стали часто появляться офицеры — откуда, мы не знаем. Они шли к Штейфану и потом уезжали. Они приезжали с донесениями и за распоряжениями. Все это мы знали и понимали, но никто и виду не подавал. Генерал же был идеальный «больной». Всегда ходил в халате, ничего не требовал, подчинялся госпитальным правилам. После вечернего звонка спать покорно уходил к себе, хотя ему очень не хотелось оставлять нашу веселую компанию, тем более что он стал серьезно ухаживать за Катей. Вечера он принужден был проводить один, так как адъютант его не был «больным» и оставался с нами

сколько хотел. В лунные ночи мы поднимались к храму и там еще долго гуляли.

Стала приближаться осень. Стали поговаривать, что генерал скоро уедет. Впереди снова бесконечная, тоскливая зима. Без прогулок, часто без писем, когда дороги завалены снегом. Мы с Катей решили, что второй зимы не выдержим. В конце августа получили отпуск и поехали обе в Софию.

Еще на Шипке мы узнали, что нашим мальчикам в Пещере пришлось много пережить. Там было коммунистическое восстание, хотели разогнать гимназию. Все старшие мальчики несли караулы, вооруженные палками и кирпичами, и даже раз пришлось пустить в действие это оружие.

Только что вспомнила еще об одном нашем зимнем развлечении, когда мы умирали от скуки и тоски. Под нашей сестринской квартирой жили санитары. Иногда они по вечерам пели хором или играли на балалайке или гитаре. Слабые звуки долетали до нас. Тогда Катя и я клали на пол полотенца, ложились на них, прижимали ухо к полу и слушали. Других сестер это мало интересовало. Томашайтис-Губкина, благоразумная старшая сестра, смотрела на нас с презрением. Но нам это было все равно. Мы слушали пение и были чем-то заняты.

У беженцев нет перспектив

Итак, осенью мы обе поехали в отпуск в Софию, остановились в резерве сестер и сразу же стали искать себе работу. Обратились в Красный Крест, и сейчас же нас обеих послали к двум болгарским врачам. Оба — «ухо, горло и нос». Оба обратились в наш Красный Крест с просьбой прислать каждому по дипломированной сестре. Одна должна была знать английский, другая — французский язык.

Катя пошла к доктору Белинову с английским, я — к Здравковичу с французским. Обе мы сразу были приняты. Но нанимал меня Здравкович довольно оригинально. Я пошла не в форме, показала ему бумаги. Он на них внимания не обратил и сразу же спросил, говорю ли я по-французски, имею ли форму и есть ли у меня на груди большой красный крест. Когда я на все ответила утвердительно, он меня взял. Он мне давал комнату, стол, жалованье и обещал, что будут большие чаевые от больных.

Катя у Белинова комнату не получила, но стол, жалованье и обещание чаевых он дал. Она сговорилась с Мар. Мих. Языковой, которая имела комнату и где-то работала (кажется, давала уроки), что поселится у нее.

Мы вернулись на Шипку с бумагой от Красного Креста о переводе нас в Софию. Мы быстро собрались и уехали. Все страшно сожалели, и особенно горевали генерал и его адъютант.

Со Штейфаном Катя потом виделась в Белграде.

Приехали в Софию окончательно и начали работать 20 августа 1922 года. Началась серая, бесцельная жизнь, борьба за кусок хлеба и ничего впереди. Мы были уже почти беженками. Правда, поддерживало утешение, что мы до конца оставались верны армии и ушли, когда она перестала существовать.

М.БОЧАРНИКОВА

В ЖЕНСКОМ БАТАЛЬОНЕ СМЕРТИ

(1917–1918)

Мария Бочарникова
В женском батальоне смерти (1917–1918)

Глава 1. УРА! Я — СОЛДАТ

— Сестрица, можно к вам?

— Прошу, доктор!

Ко мне в кабину вошла женщина-врач, держа в руках газету:

— Могу вас порадовать, вы все рветесь на фронт добровольцем, а в сегодняшней газете есть сообщение, что в Петрограде формируется Женский батальон смерти.

Я схватила протянутую газету.

— Боже, как вы покраснели! — засмеялась она. — Неужели поедете?

— Конечно! Немедленно дам телеграмму о принятии в батальон.

— Ну что ж, если решили, тогда с Богом!

Этот разговор происходил в конце мая 1917 года, в городе Дильмане, в Персии, где я работала сестрой милосердия в местном госпитале. Через два дня я уже двигалась в двуколке к границе России (135 верст). Но как я ни торопилась попасть поскорее в батальон, все же из Тифлиса проехала на дачу проститься с семьей. Почем знать, быть может, навсегда.

Через пять суток добравшись до Петрограда, на следующий день по прибытии я отправилась в Инженерный замок, где, как мне сказали, идет формирование батальона. В канцелярии на мое заявление о том, что мною была послана телеграмма из Персии о принятии меня в батальон, адресованная на Мытную набережную, председательница ответила:

— Там формировался отряд Бочкаревой. Мы ничего общего с ним не имеем. Наш батальон — первое регулярное женское войско, разрешенное Временным правительством. Хотите в него поступить?

— Да!

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать.

— Уже исполнилось?

— Нет, будет через два месяца.

— До восемнадцати лет требуется разрешение родителей.

Вторая дама повернулась к ней:

— Я думаю, можно будет принять. Раз родители отпустили в Персию, думаю, не будут препятствовать поступлению в батальон.

— Хорошо, мы вас примем, но телеграмму об их согласии все-таки дайте. А сейчас отправляйтесь на медицинский осмотр. Начало в десять часов.

Большая комната была до отказа набита пришедшими на

освидетельствование. Все были в элегантных костюмах Евы. Вдруг одна из присутствующих обратилась к молодой бабенке:

— Товарищ, да вы не беременны?

— Почему вы так думаете? — задала ей вопрос соседка.

— Я акушерка и вижу по признакам.

Вопрошаемая смущенно потупилась:

— А хто его знает! Как шла-то записываться, думала, что это у меня просто так… Я издалеча, из Сибири. Пока доехала, сама вижу, как будто неладно.

Когда эта бабенка вышла после освидетельствования, в ее глазах стояли слезы.

— Ну что? Как? — посыпались вопросы.

— Доктор сказала, что четвертый месяц чижолая.

— Ай да молодец! Не только сама приехала, но и пополнение готовое привезла!

— А ты чего зубы скалишь? — одернула говорившую соседка. — У бабочки горе, а ей смешно!

После освидетельствования я временно была назначена в 3-ю роту. С сильно бьющимся сердцем вышла на плац, где происходило ученье, и невольно остановилась. Первое впечатление — казалось, что я попала на луг, усеянный яркими цветами. Яркие сарафаны крестьянок, косынки сестер милосердия, разноцветные ситцевые платья заводских работниц, элегантные платья барышень из общества, скромные наряды городских служащих, горничных, нянек… Кого здесь только не было! Мне невольно вспомнилось из «Бородино»:

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

А какое разнообразие лиц и фигур! «Левой!.. Левой!.. Шеренга, стой! Голову выше!.. Шевчук, чего ты, как коза, брыкаешь ногой? Ты носок вперед выноси!» — доносилось со всех сторон. Пока не было учебной команды, взводными и отделенными временно назначались приехавшие первыми, научившиеся только поворотам и маршировке, и пока только они были одеты в военную форму.

Рядом со мной стояла худосочная девушка, по-видимому заводская работница. По ее лицу текли слезы.

— Товарищ, чего вы плачете? — обратилась к ней проходившая доброволица.

— Не приняли. Мало-о-кровна-а-а-я, — зарыдала она,

уткнувшись лицом в руки.

Вот движется взвод. Здоровенная бабища лет тридцати усиленно выпячивает и без того страшных размеров грудь, и за ее фигурой совсем не видно тоненькой соседки. Нос поднят кверху. Руки с ожесточением выкидывает вперед. А там, дальше, ухмыляясь, поминутно нагибая голову, чтобы взглянуть на свои ноги, которыми она усиленно отбивает шаг, плывет, по-видимому, мещанка. Некоторые маршируют, как заправские солдаты. Почти не касаясь земли, точно танцуя, движется хорошенькая блондинка. Не балерина ли?

Разыскав фельдфебеля, я была назначена им в 3-й взвод. Явилась к взводному. С первого вида эта женщина произвела на меня отталкивающее впечатление. Маленькая, грубая деревенская баба лет двадцати пяти. Круглая, как шар, голова с узким лбом, маленькие, злые глазки, безобразно курносый нос и большой узкий рот. Походка вперевалку, точно медведь на цепи.

Меня поставили в первую шеренгу. Построениям и винтовочным приемам я была еще в детстве обучена своим братом Павликом, знавшим мое намерение в случае войны обязательно пойти на фронт добровольцем. Мне было двенадцать лет, когда он десятилетним мальчиком был определен во Владикавказский кадетский корпус. Это он, приезжая на каникулы, своими рассказами о подвигах Суворова и других русских героев зажег мое воображение. Тогда же он и начал мне передавать свои знания военного дела. Но так как перед ним я представляла из себя и шеренгу солдат и целую роту, то он поневоле вынужден был в строевых занятиях со мной многое опускать.

Раздалась команда: «Направо! Равняйсь! Смирно! На первый-второй рассчитайсь!..». И я с ужасом слышу, как приближается ко мне перекличка. Кому говорить мой порядковый номер, зачем, что дальше делать? Не знаю. Взводный же, наблюдая за тем, чтобы говорили быстро и отчетливо, идет вдоль фронта. В моей голове мелькнула мысль: «Вероятно, нужно говорить взводному», и, услыхав, как соседка крикнула «Первый!», я произнесла как можно тише «Второй!» и уж если соврала, то чтоб не так было заметно.

— Отставить! — Взводный остановилась, сверля меня злыми глазками. — Ты кому говоришь «второй»?

— Вам, господин взводный!

— На что мне твой второй номер? Головку не можешь повернуть к соседке? Клещами прикажешь рот раскрывать, чтобы говорила громче?

— Господин взводный, это новенькая, она сегодня первый раз

в строю, — раздался голос сзади.

— А… Новенькая? Хорошо, что ты мне сказала… А за то, что ты разговариваешь в строю, возьми себе наряд…

Незаметно пролетело время до обеда. Одна из добровольниц, приставив руку ко рту, пропела, подражая горнисту: «Бери ложку, бери бак, хлеба нету — иди так!..» Разместившись на полу, мы с наслаждением уплетали из котелков незатейливый солдатский обед. Завязались разговоры. Справа я услышала взрыв смеха. Перед курносой, с тупым выражением лица бабой лет тридцати стояла хорошенькая девушка.

— Ты мне не веришь? — смеясь, спросила она.

— Никому не верю; только Богу и свому хахалю! — с выговором на «о» ответила та.

— Вот дурная, нашла кому верить! Как ты уехала, твой хахаль наверняка завел себе другую хахалку.

— Не… Никогда! — как баран, замотала она головой. — Ох и любит же он меня!..

— А я от своего убегла, — рассказывает другая. — Ох и бил же меня, проклятущий! Половину волосьев повыдрал. Как услыхала я, что баб-то в солдаты берут, убегла я от него и записалась. Пошел жалиться, а комиссар ему и говорит: «Теперя, апосля леворюции, слабода. Не смеешь бабу трогать, ежели она на хронт едеть защищать Рассею!» Так и уехала.

Я прислушалась к третьей группе. Одна, по-видимому горничная, рассказывала:

— Я ему говорю: «Вы, товарищ, несознательный элемент». А он мне в ответ: «Уж больно вы все ученые стали после революции. Взять бы хорошую дубинку да посчитать бы вам ребра. Сразу бы поняли, что и к чему».

— Строиться, строиться!.. — вбежала дежурная.

В один миг все были на ногах и бегом бросились на плац. Ученье кончилось; после переклички пропели «Отче наш» и «Спаси, Господи».

Мне указали место для спанья. Принеся пучок сена, я бросила его на пол, подложила под голову сверток из одежды и, засыпая, подумала: «Есть ли кто-нибудь на свете счастливее меня? Нет, во всем мире нет никого!..».

Глава 2. У НАС ЕСТЬ ВОРОВКА

— Товарищи, вставайте!

Этот крик дежурной электрическим током прошел по рядам спящих. В один момент все были на ногах. Весело перебрасываясь замечаниями, быстро оделись и бегом бросились на поверку.

Первые дни омрачило одно неприятное событие: во взводе появилась воровка. Ежедневно кто-нибудь обнаруживал пропажу. Обыск не дал никаких результатов, а дневальная тоже ничего не заметила. На пятый день восемнадцатилетняя доброволица, вступившая на дежурство, решила ночью притвориться спящей и проследить, что с успехом и выполнила. Как только все успокоилось, она поставила стул так, что все лежащие были у нее на виду, и, облокотившись на него, засопела, зорко наблюдая за комнатой. В одном ряду приподнялась голова… Убедившись, что все спят, женщина встала на четвереньки и, поминутно оглядываясь, быстро поползла. Схватив что-то из вещей, скрутила и повернула обратно.

— Стой! — раздался в полутемноте голос дежурной.

Увидев, что она поймана, женщина швырнула краденое и хотела юркнуть на место, но дежурная схватила ее за шиворот:

— Товарищи, воровка поймана!

Воровку окружили. Как затравленный зверь, исподлобья оглядывая проснувшихся, она упорно молчала и не отвечала на все задаваемые ей вопросы.

— Говори, подлая, куда ты девала краденые вещи? А то как хлястну по роже кулаком, небось язык сразу развяжется!..

— Нет, товарищи, — вмешался взводный. — Мы ее утром отправим на суд к командиру, а до утра запрем в чулан. Вы же все пока ложитесь спать…

Утром, когда воровку вывели, пострадавшие от нее не выдержали. Размахнувшись, одна ударила ее по лицу. Та качнулась, но чей-то кулак отнес ее в другую сторону. Третья поддала коленом, и со всех сторон ее начали тузить. При каждом новом ударе воровка только по-щенячьи взвизгивала…

— Что вы делаете? Искалечить хотите женщину? Перестать сейчас же! — раздался голос ротного.

— Господин поручик, она воровка; сегодня ее поймали с поличным.

— Все равно! Самосудов устраивать не смейте! Ведите ее к батальонному.

Приговор капитана Лоскова был короток: «В 24 минуты вон из батальона!».

Ее привели обратно.

— Господин фельдфебель! — взяла под козырек М. Я не расслышала, что она говорила, понизив голос.

— Ве-ли-ко-леп-но!.. И для других послужит примером. Принесите лист бумаги, кусок веревки, несколько булавок и химический карандаш. А заодно прихватите и ее вещи. Мы ее к выходу и приукрасим. Я же пойду попрошу разрешения у ротного.

Через несколько минут вернулась: «Разрешил!..».

Изгоняемой завязали назад руки, вложив в них узелок, на груди прикололи бумагу с надписью «ВОРОВКА».

— М. и Б., возьмите винтовки и поводите ее несколько кварталов по Петрограду. А там развяжите руки, и пусть убирается на все четыре стороны.

Мера подействовала. До конца существования батальона не произошло больше ни одной кражи.

Глава 3. БАТАЛЬОН СФОРМИРОВАН

Все торопились поскорее расстаться с волосами. Предприимчивая Самойлова, поразительно похожая на мальчишку, купив гребень и машинку с ножницами, принялась за стрижку, беря по 50 коп. с головы.

Как-то, возвращаясь с ученья, мы застали двадцативосьмилетнюю бабу-гренадера в вольном платье.

— Куда вы собрались?

— Уезжаю домой!

— Это почему?

— Я не могу… Меня заставляют спать на полу и кормят борщом. А я привыкла спать на перине. У меня коровы, сметана, масло — я не так привыкла питаться…

— Счастливо дорогу до порогу, а за прогами до гуры ногами (то есть «счастливо другу до порога, а за порогом вверх ногами»), — бросила ей насмешливо полька Б.

— Что ты говоришь?

— Счастливого пути тебе желаю.

— «Маслица, сметанки», — передразнила другая. — Да тебя самое, как корову, доить можно!..

— А ты хто такая? Ты мне не указ…

— Да бросьте, товарищи, охота вам связываться. Пусть катится колбасой — воздух чище будет.

Уезжающая, отругиваясь, вышла в коридор.

Постепенно жизнь налаживалась. Начали разбивать по ротам. Я попала во вторую, в четвертый взвод. Боже! Какие лилипуты попали в четвертую роту! Было сформировано четыре роты, пулеметная команда, конные разведчики, команда связи, саперная команда, обоз, околоток. Однажды фельдфебель, подойдя к роте, начал отбирать тех, кто делал ружейные приемы отчетливо. Попала и я. «Завтра состоится Первый военный женский съезд, — пояснила она. — Вы назначаетесь в почетный караул. Завтра в восемь часов утра явиться ко мне чистыми и аккуратно одетыми».

Наутро, получив винтовки, мы выстроились на дворе. Под звуки бравурного марша нас вывели из ворот и, когда мы обогнули здание, нас ввели в громадный зал и поставили в две шеренги по обе стороны. Раздалась команда командира батальона: «Для встречи справа и слева слу-шай!.. На кра-ул!». Винтовки вздрогнули, и мы замерли, устремив взор на входную дверь. В ней показалась, поддерживаемая двумя дамами под руки, «бабушка русской революции» — Брешко-Брешковская. Ей

помогли встать на стулья; дама ее поддерживала. Сгорбленная, седая, с трясущейся головой, она обратилась к нам тихим старческим голосом:

— Здравствуйте, внучки! Здравствуйте, правнучки!..

— Здравствуйте, бабушка! — хором ответили мы, как было приказано.

— И мы в свое время боролись не только словами, но и с оружием в руках…

Не помню дальше содержания ее речи.

Вслед за ней выступала председательница Дамского комитета Милисон, нарисовавшая картину, с каким рвением добровольцы принялись за изучение военных наук, и третьей говорила дама, багровая от волнения, заявившая прерывающимся голосом, что она взволнована от счастья видеть перед собой борца за свободу Екатерину Брешко-Брешковскую.

После официальной части нас вывели.

— Эх, бабушка, бабушка! — качая головой и сокрушенно вздыхая, проговорила Л., убежденная монархистка. — Милая, славная ты старушка, жаль мне тебя! Но с какой бы радостью я всех твоих товарищей перевешала на первой осине за то, что они даровали «великую, бескровную»!..

Приближался день выступления в лагерь, в Левашово. В 10 часов вечера я почувствовала, что меня, спящую, кто-то тянет за ногу. Передо мной стояла дежурная:

— Товарищ, в караул!

Я была поставлена на дворе, около наваленного на землю казенного имущества. Тщетно ждала себе смены. Вот и восток заалел… Появилась дежурная; стал просыпаться и батальон. Вижу, бежит заспанная дежурная:

— Извините, товарищ, на минутку прилегла и не заметила, как проспала до утра. Идите скорее укладываться, выступаем, — сконфуженно проговорила она.

С песнями двинулись на Финляндский вокзал.

Глава 4. ЛАГЕРЬ В ЛЕВАШОВО

По прибытии в Левашово жизнь круто изменилась. Была введена строгая дисциплина, и мы почувствовали, что идет не игра в солдатики, но что нам предстоит честь встать в ряды защитников дорогой отчизны. Все подтянулись.

Под лагерь отвели место, почти на одну треть окруженное лесом. Разбили палатку, на ночь выставляли караул. Наутро одежда у всех оказалась отсыревшей. Начались поиски дач. Тем временем произошел неприятный инцидент.

В роту назначили нового офицера. Высокий, худой, с неприятным желчным лицом. Часовой, стоящий рядом с палаткой, видел пробиравшуюся к нему вечером добровольцу С., бывшую курсистку. До часового отчетливо доносилось все происходившее в палатке. Сменившись, она направилась к командиру батальона:

— Господин капитан! Я покидаю батальон, так как не желаю служить там, где происходят такие безобразия…

— Какие безобразия? Я вам приказываю передать мне все, слово в слово!

Та ничего не утаила. С. оказалась женщиной с африканским темпераментом, а поручик жаловался на потерю сил из-за контузии. На другой же день они оба покинули батальон.

В наш батальон принимались лица от 16 до 40 лет. От девушек до восемнадцатилетнего возраста требовалось разрешение родителей. В нашу роту попали две бабы, одной из них было 35, а другой 40 лет. Строевое учение им не давалось. Топтались, как две овцы. Но если младшая принимала замечание, то сорокалетняя с видом знатока ворчала:

— Что же тут непонятного? Коль говорят тебе «направо», то и поворачивайся направо.

— Ишь какой командир объявился, — злобно шипела младшая, — да ты гляди на себя самого. Ровно кобыла на веревке пляшешь заместо маршировки.

Их перевели в обоз.

Наконец нас разместили по дачам, разбросанным в отдалении друг от друга. Ротный, являвшийся на строевые занятия неизменно в сопровождении какой-нибудь «мадемуазель», по-видимому «не тяжелого» поведения, занимался больше с ней, чем с нами. Полуротный прапорщик Курочкин, прозванный мокрой курицей, под стать ему. Он так же, как и первый, был уволен, чему мы несказанно радовались.

Наконец к нам назначили ротным поручика Невского полка

Владимира Александровича Сомова, а полуротным поручика Освальда Карловича Верного и прапорщика Константина Большакова, красивого брюнета двадцати трех лет, офицера Семеновского полка. Рота при поручике Сомове сделалась неузнаваемой. Требовательный в строю, он был любящим, заботливым отцом в повседневной жизни. Не преувеличивая, скажу, что каждая из нас по первому приказанию поручика пошла бы в огонь и в воду.

Завелся в роте и большой весельчак, семнадцатилетняя Чешко. Никакие замечания и наряды ее исправить не могли. «Вы оцените Чешко, когда начнется окопное сидение. Там такие комики необходимы, как глоток свежего воздуха», — говорил ротный.

Как-то в строю ротный отдал какое-то приказание доброволице.

— Слушаюсь! — ответила та.

— Нужно отвечать «слушаюсь, господин взводный».

И вдруг из строя раздается голос Чешко:

— Федорова, ты тоже господин взводный? Фу-ты ну-ты! Шкалик ты этакий!

Вместо взыскания та не выдержала и расхохоталась.

Ротный как-то вздумал устроить игру в чехарду, иначе называемую «козлы и бараны». На расстоянии десяти шагов одни становились согнувшись, а другие должны с разбегу через них перескакивать. Я никогда в жизни не видела, чтобы так смеялся мужчина! Со стоном сгибаясь, он хватался за живот, точно роженица перед родами, и из его глаз текли слезы. Да и было отчего! Одна вместо того, чтобы перепрыгнуть, поддавала коленом, и обе летели на землю. Вторая с размаху садилась верхом, и тех постигала та же участь. Третья, не допрыгнув, застревала на них, и, в то время как одна вспахивала землю носом, вторая, распластавшись ласточкой, летела через голову. Мы сами так ослабли от смеха, что не могли бежать.

В лесу вокруг лагеря выставляли караулы. Несколько раз была ночью тревога. Неизвестные пытались напасть на часового. Данный выстрел заставлял их скрыться.

Не обошлось и без комического инцидента. Ночью на отдаленном посту раздается выстрел. Караул несла четвертая рота. Прибежавшему караулу часовой заявляет: «В кустах кто-то крадется с зажженной папиросой». Странным «неприятелем» оказался… светлячок, за что вся рота была прозвана светлячками.

Должна сознаться, что я сама не только в детстве, но и взрослой боялась темноты. Но сознание долга этот страх убивало. Мне пришлось в темную ночь стоять на посту в лесу у

разветвления дорог. Услышать приближающиеся шаги было невозможно. И, только напрягая до боли зрение, я всматривалась в окружающую темноту.

Как-то вечером после поверки во взвод зашел дежурный:

— Товарищи, кто умеет отбивать на барабане «ногу»?

Я поднялась:

— Я умею…

— А ну-ка отбейте руками на подоконнике!

Я забила, дежурный замаршировал на месте.

— Годитесь! Завтра на развод нужен барабанщик. Идемте к ротному.

На другой день я стояла с барабаном на разводе караула.

— Бейте сбор! — приказал дежурный офицер.

Вот тебе и на! Да я о таком никогда и не слышала.

— Как это, господин прапорщик?

Он начал выбивать дробь с перебоями в воздухе воображаемыми палками. Я забила… Боже, что это была за дробь! Какие-то скачки с препятствием. Офицер, держа под козырек, не мог удержать улыбку. А я себя утешала, что первый блин комом. Бывает и хуже. Церемония кончилась. Я ударила «ногу», доведя караул до помещения. И тут выяснилось, что вместо левой я ударила под правую.

Нашего фельдфебеля, интеллигентную даму, не соответствующую своему назначению, заменили донской казачкой двадцати трех лет, Марией Кочерешко. Уже дважды раненная, кавалер Георгиевского креста 3-й степени, с чубом под Кузьму Крючкова, с грубоватым голосом, она сразу прибрала роту к рукам. Кое-кто пробовал подражать ее прическе, но у них торчало что-то вроде перьев, пока поручик не приказал всем постричься под первый номер.

Горнистом назначили хорошенькую черноглазую малоросску Фесак, получившую тут же и трубу. «А ну-ка, горнист, протруби тревогу!» — смеялись доброволицы. Фесак, набрав в легкие воздуха, багровая, дула в трубу, откуда вылетали звуки, похожие на рев разъяренного быка. «А теперича польку-мазурку!» — хохотали бабы, и из трубы летели два звука, напоминающие крик ишака: «Иа, иа, иа!»

Наступила моя очередь дежурить по роте. В 5 часов утра нужно будить дежурных по роте. Холодно, сыро, неприятно… А ведь должны работать под открытым небом. Я взглянула под бак. Дрова заложены. Затоплю-ка я сама, пусть поспят лишние полчаса. Сунула спичку, запылали мои дрова. Подбросила еще и тогда пошла будить дежурных. Рота вернулась с ученья, обед не готов.

— Почему сегодня запоздали с обедом?

— Господин фельдфебель, нас дежурный разбудил на полчаса позднее.

Раздраженный фельдфебель подошел ко мне:

— Почему вы разбудили дежурных на полчаса позднее?

— Господин фельдфебель, я сама разожгла печку и потом их разбудила…

— Я вас спрашиваю не что вы делали, а почему разбудили с опозданием?

— Я хотела им дать поспать лишние полчаса!

— Так возьмите себе внеочередное дежурство! Может быть, лучше запомните, что здесь солдаты, а не институточки!

Как не запомнить, с первого же раза запомнила хорошо.

По окончании учебной команды была назначена отделенным со званием ефрейтора. По случаю производства добровольцы мне рассказали анекдот: солдат с ефрейтором пробираются пешком в отпуск. Наступила ночь. Подходят к деревне, ефрейтор и говорит: «Постучи в хату, может быть, пустят ночевать». Тот стучит. «Кто там?» — отзывается голос старухи. «Я, бабушка, солдат. Пусти переночевать. На побывку идем!» — «А много вас?» — «Нет, я да ефрейтор». — «Ну ты, родимый, сам в хату иди, а ефрейтора на дворе привяжи!..»

Был создан ротный комитет, куда попала и я. Решили приступить к всеобщему обучению грамоте. Тупица Воронова никак не могла одолеть азбуку. Била себя с плачем по голове: «От то дурья голова!» Другая, научившись подписывать фамилию, украсила ею все стены и подоконник. «Что, боишься забыть свою фамилию? Вот подожди, чтобы ты не марала стен, тебе ее скоро пропишут ниже спины. Небось сразу запомнишь!» — говорили ей добровольцы.

Однажды после поверки небольшая группа стояла и разговаривала на шоссе. Показалась быстро приближавшаяся, взволнованная Д.:

— Товарищи! Слыхали, какая гадость? Кто-то донес, что в N-ской роте одна баба беременна. Сделали медицинский осмотр всей роте, и таких оказалось в ней семь. Это они с обозными инструкторами-солдатами весело проводили время!

— Ах, чертовы бабы! Они что, вообразили, что здесь родильный приют? Да их всех грязным помелом гнать вон, чтобы не позорили нашего батальона…

— Да будьте покойны, всем им вставят перо.

— Чем вы так возмущаетесь? — раздался голос ротного. Никто не заметил, как он подошел.

— Да, я вам приказываю сказать, о чем вы сейчас беседовали!

— Господин поручик, в N-ской роте семь добровольцев заболели брюшным тифом… с ручками и ножками…

— А… понимаю!..

Нужно ли добавлять, что как победители, так и побежденные вылетели немедленно из батальона и без перьев… А дьявол-искуситель, трижды понесший поражение, навсегда отступил от нашего батальона.

Две добровольцы отправились в отпуск в Петроград. Одна из них жительница Петрограда, другая — Вагина, семнадцати лет, — мещанка из Средней России. Она слыхала, что генералы имеют шинели с красными отворотами, и мундир у них расшит золотом. Вдруг Вагина видит, что в дверях одного дома стоит генерал. Знай наших! «Пусть солдатня ленится отдавать честь, а мы еще станем во фронт», что она тут же и сделала.

— Проходите, товарищ, проходите, — улыбнулся «генерал».

— Ты кому встала во фронт?

— Генералу!

— Вот дура! — залилась ее товарка смехом. — Да это швейцар из гостиницы в ливрее, а не генерал в парадной форме…

Глава 5. О ПЕЧАЛЬНОМ И ВЕСЕЛОМ

— Песенники, вперед!

Из строя вышли Каш, Яцулло и Репкина.

— Запевай!

Февраля двадцать восьмого, утром, раннею порой Звук сигнала боевого услыхали мы с зарей!

И рота дружно подхватила:

Марш вперед, вперед на бой,
Женщины-солдаты.
Звук лихой зовет вас в бой —
Вздрогнут супостаты!..

Всходило солнце. Мы возвращались с ночного ученья, поднятые в 11 часов вечера. В нескольких верстах от Левашова одна полурота засела на горе в хорошо укрепленных окопах, а вторая полурота вела наступление. На ученье произошел несчастный случай. Сибирячка Мария Котликова, двадцати одного года, назначенная в связь к ротному, заскакивая в темноте за ним в окоп, ударилась обо что-то и сломала ногу.

Я в это время уже командовала четвертым взводом с званием младшего унтер-офицера. Наш бывший взводный Федорова перешла в Отряд национальной обороны (отряд женщин-моряков, несших береговое охранение). В первую лунную ночь мы вновь были разбужены в 12 часов, и к утру перед ротой, по ту сторону шоссе, вырос гимнастический городок. Офицеры нас всячески ловили, проверяя знания. К молоденькому часовому подошел офицер:

— Винтовка у вас хорошо почищена?

— Так точно, господин поручик!

— А ну-ка покажите!

Та передала ему винтовку. Офицер вынул затвор и пошел дальше. Она бросилась за ним:

— Господин поручик, отдайте затвор!

— Как «отдайте»? Вы, стоя на посту, сами отдали винтовку постороннему человеку.

— Но вы — наш офицер, и я вас знаю.

— Да, но я ведь не ваш караульный начальник.

Поняв свой промах, та с горя… заплакала. Офицер ей со смехом вернул затвор.

Многие сознались, что под словом «никому» обозначался весь

мир, за ислючением наших офицеров. А Иванова даже, что называется, переборщила, неся во взводе дневальство. Офицер одной из команд, проходя с дамами, решил показать, как живут добровольцы. Но Иванова загородила дорогу:

— Нельзя, господин поручик! Вход не разрешается…

— Как не разрешается? Вы же не караул несете?! Та расставила в дверях руки и ноги:

— Не пущу, не имею права!

Поручик, засмеявшись, махнул рукой и увел своих дам.

Как-то вечером во взводе мы развеселились. Танцевали, пели, декламировали. Хорошенькая Юдина протанцевала «Кекуок». Двое исполнили танец-мимику — объяснение в любви парня девке. Канценебина пропела частушки, а мы хором подхватили припев:

Ах, бричка моя, бричка новенькая,
А на бричке сидела чернобровенькая.

Вошли две добровольцы другого взвода:

— Что вы это сегодня точно черти перед заутреней взбесились?

— Милые дамы, справляем шабаш и вас приглашаем танцевать с нами…

— Ох, смотрите, не к добру это! Быть беде!

— А ты, белая ворона, не каркай. Типун тебе на язык!

— А тебе, мой черный ангел, сорок чириков куда надо!.. — в тон ответила ей блондинка.

Веселье продолжалось.

На следующий день караул несла наша рота. Моего взвода Николаева, двадцати одного года, была поставлена у цейхгауза, одинокого здания, обдуваемого со всех сторон ветром. На второй день утром при поднятии роты Николаева с болезненным видом, кашляя, подошла ко мне: «Господин взводный! Я не могу выйти на занятия. Мне плохо, колет в груди…» Я взяла ее за пульс. Учащенный — явно в жару. Отправленная в батальонный околоток, она была в тот же день переправлена в Петроград в больницу. Воспаление легких! Через два дня она скончалась. Наш полувзвод ездил на погребение. «Если кто-нибудь из вас раньше команды «пли!» выстрелит, засажу под арест!» — пригрозил при отъезде в Петроград поручик.

В церкви, при прощании, врезался в мою память момент, когда к гробу подошла отделенный Настенька Баженова. На несколько мгновений она замерла над изголовьем, с тоской всматриваясь в лицо умершей. Почувствовала ли она в этот

момент, что тень от крыла Ангела смерти уже заслонила и ее жизнь? Через два месяца Баженова застрелилась…

За гробом одиноко шла рыдающая мать и наш полувзвод. Увидев, что хоронят добровольцу, к процессии стали примыкать праздношатающиеся солдаты. Подошло человек пятнадцать. Отзвучал последний погребальный напев. Гроб колыхнулся… Раздалась команда: «Для салюта!..» При команде «пли!» раздался дружный залп. «А ничего, здорово пальнули!» — проговорил какой-то солдат.

Лучшим стрелком в роте была Репкина — деревенская девушка двадцати одного года. Впервые взявшая в руки винтовку, она в цель, на 400 шагов, нанизывала одну пулю на другую. У нее промахов не было никогда. Было немало и других хороших стрелков, но когда однажды дали залп целым батальоном, то попали в мишени… 28 пуль. Но зато убили вышедшую из-за бугра пасшуюся лошадь, и в проходившем в отдалении поезде пуля пробила окно, на счастье никого не зацепив.

Наступил мой черед быть караульным начальником. Дежурство, так позорно законченное мною. Ночью я видела подходившего караульного офицера. Крикнув: «Караул, стройся!» — я подошла с рапортом. Поднося руку к козырьку, вдруг почувствовала себя дурно. Подступила тошнота, перед глазами поплыли красно-зеленые круги. Сознавая, что теряю сознание, я напрягла всю силу воли, чтобы закончить рапорт. Но память уже уплывала, и вместо числа солдат в карауле я произносила какие-то фантастические числа. Последнее, что осталось в памяти, — встревоженные глаза поручика. В ту же минуту я грохнула на пол без сознания. Отчего произошел обморок, я до сих пор понять не могу. Невыносимо стыдно было как перед офицером, так и перед добровольцами. Как я, сильный, выносливый солдат, и вдруг, как кисейная барышня, упала в обморок! Да еще где? В караульном помещении и во время рапорта! В состоянии полной подавленности я заканчивала дежурство.

Утром же ждала новая неприятность. Перед самой сменой вдруг в дверях выросла фигура офицера нашего батальона. И я у него не спросила пропуска.

— Вашего караульного начальника нужно отправить под арест за то, что впускает посторонних без пропуска, — резко проговорил вошедший.

— Прошу к моему караульному начальнику быть снисходительным, так как он неожиданно ночью заболел и в болезненном состоянии заканчивает дежурство, — вступился за меня поручик.

Но печальные события чередовались с веселыми. Мне

передали письмо, адресованное: *I Петроградский женский батальон. Левашово. 2-я рота. Взводному 4-го взвода.* Безграмотный солдат запасного батальона из Петрограда писал:

Дорогие товарищи женщины!

Вот я не знал, что на свете есть такие храбрые, что пойдут воевать заместо нас. Спасибо, товарищи, вам. А мы по крайности отдохнем. Кормите заместо нас вшей… — и т. д. В конце приписка: «А все-таки я бы вам посоветовал сидеть по хатам и не объедать нашей порции».

— Товарищи! Я получила письмо от какого-то солдата. Восхищается нашей храбростью. Послушайте…

— Ах скот! Мерзавец! Свинья! — послышались негодующие возгласы. — Мы-то объедаем порции?.. А сам он, дармоед, только и делает то, что съеденными порциями откармливает вшей!..

— Давайте сообща ему напишем ответ!

Мое предложение было принято, и через полчаса посланье было готово:

Дорогой товарищ!

Мы были очень польщены вашим лестным отзывом о нашей храбрости. Но последнего вашего совета исполнить не можем. Было время, когда наши доблестные солдатики, не щадя жизни, грудью защищали отчизну, а мы — бабы — готовили новую смену и пекли им на фронт коржи. Теперь же, когда, изменив долгу и забыв стыд и совесть, вы позорно бежали с фронта, на ваше место встанем мы и надеемся с честью выполнить взятое на себя обязательство. А вам разрешите дать совет: нарядитесь в наши сарафаны, повяжите головы повойниками, варите борщ, подмывайте Ванюток, подвязывайте хвосты буренкам и, луща семечки, чешите языками.

Доброволицы 2-й роты 4-го взвода

— Господин взводный! У меня есть карикатура, вырезанная из журнала. Давайте пошлем ему вместе с письмом!

— А ну-ка покажите!

На карикатуре по улице двигался Женский батальон, отправляясь на фронт. В хорошо пригнанной форме и амуниции, винтовки в линию. С громадными бюстами; лица строгие, с опущенными в землю глазами. Носы вздернуты к небесам, а верхняя губа выдвигается над нижней. Фуражки надеты по-бабьи, натянуты на уши. Провожают их мужья-солдаты, стоя на тротуаре. Один мужик грызет семечки, второй, разинув рот, глубокомысленно запустил палец в нос. Следующий стонет, ухватившись рукой за раздутую флюсом и повязанную тряпкой щеку. Четвертый с ожесточением трясет кричащего младенца, а последний, подперев по-бабьи рукой голову, заливаясь, плачет:

«Агафьюшка, на кого ты, родимая, меня покинула! Что я буду без тебя делать? И щи-то хлебать, и Ваньку укачивать, и семечки лузгать — все придется одному!»

Ответа на письмо и карикатуру не последовало.

Как и полагается, у всех офицеров были денщики. В одной из комнат двое офицеров спали вместе на двуспальной кровати. Рядом в комнате жило несколько денщиков. Однажды оба офицера, уехав в Петроград, предупредили, что вернутся только на следующий день.

— Раз наших офицеров нет, чего я буду валяться на полу, если могу с комфортом поспать на их кровати? — заявила денщик-девушка и улеглась на их кровать.

Вдруг около 12 часов ночи возвращается поручик. Наши денщицы растерялись. Что делать? Офицер же, видя спящего, решил, что это вернулся его друг, и, раздевшись, спокойно улегся рядом.

Денщицы не спали всю ночь, не зная, как вызволить товарку. А та под бочком офицера-начальника мирно проспала до утра. Но вот кто-то из них зашевелился, и оба вдруг открыли глаза… Можно себе представить ужас одной и изумление другого!

— Как вы сюда попали? Марш сейчас же отсюда!

— Нет, господин поручик, сначала выйдите вы…

Куда же она побежит в одной мужской рубашонке, еле прикрывающей живот? Чем дело кончилось, не знаю.

Глава 6. КАКИЕ МЫ РАЗНЫЕ

Когда мы жили в Инженерном замке, одна худосочная девица лет двадцати пяти уверяла, что она ясновидящая. По-моему, у нее на «чердачке» не все было в порядке…

«Если человек будет убит, то, закрыв глаза, я вижу, как он точно рассыпается костьми», — говорила она.

Это выражение особенно понравилось бабам, и они ее постоянно просили:

— А ну, товарищ, сгадайте мне, чи мои кости рассыпятся, чи ни!

Та сейчас же закрывала глаза:

— Я вижу вас бегущей по полю, и за вами кто-то гонится…

— То она от хветхвебеля удирает. Должно, опять пьяна. Уж больно охоча до водки, — рассуждает соседка.

— А мне, товарищ!

— Вы будете ранены. Я вижу, как вы, держась за бок, со стоном пробираетесь к лесу…

— Не за бок, за живот! Это она до ветру бегит, кашей объелась! — подсказывает другая.

Попросила и я.

— Вы сделаете что-то хорошее. Я вижу вас сидящей у костра.

— Еще бы не хорошее! Всех вшей из штанов над костром выкурит! — замечает моя соседка.

— Погадайте и мне, — просит следующая.

— Вы благополучно вернетесь домой. Я вижу вас в солдатской форме в кругу близких. Вы со слезами радости прижимаете к груди маленького мальчика.

— От проклятая баба! — всплескивает руками одна из слушательниц. — Надо сказать хветхвебелю, щоб доглядав за ней. Приихала до дому и зараз хлопца родила!..

На все шутливые замечания «ясновидящая» никогда не обижалась. Мы попали в разные роты. Месяца через два я ее встретила на шоссе:

— Товарищ, погадайте мне!

— Ах, нет, увольте! Я больше не гадаю. У меня дар ясновидения, а из меня товарищи строят какого-то Петрушку!..

Второй комичной фигурой была двадцативосьмилетняя эстонка по фамилии Пендель или Пандель, прозванная Пудель. Она была санитаром. Я уверена, со времени основания Российского государства ни один воин не мог похвастаться такими прекрасными формами. Это был ком жира на двух подпорках. С несколькими подбородками и со столькими же

жировыми складками на животике. Ходила эстонка раскорякой, так как из-за толщины ног составить вместе не могла. По той же причине руки, как крылья у квочки, торчали в сторону. Не знаю, правда ли, но одна доброволица утверждала, что у Пуделя была незаурядная сила. Ухватит восемнадцатилетнюю девочку за бочок, перекинет себе на горб и потащит — для Пуделя это не представляло большого труда. Как-то с песнями батальон проходил по улицам Петрограда. Шинели скрадывали наши фигуры, и никто не догадался, что шли женщины. Но лишь только показался наш Пудель, раздался веселый смех: «Женский батальон!..»

У меня во взводе были две монашки. Я как-то одной задала вопрос:

— А как вы попали в батальон? Я слыхала, что монашкам запрещается знать, как течет жизнь за монастырской стеной. Богомольцы сказали.

— Нет, господин взводный, я-то в церкви была два раза в год: под Пасху и Рождество. Все время проводила в тяжелой работе — на конюшне. Раз зашла черница и сказала: «Богомольцы баяли, что устроили Женский батальон». Страсть как мне захотелось поступить. Побежала узнать. Говорят, правда. Пришла к матушке игуменье, поклонилась в землю: «Благословите, матушка, поступить в Женский батальон! Жись свою хочу положить за Рассею!» Не стала она меня удерживать, тут же благословила и говорит: «Служи верой и правдой, не щадя живота, да моли Царя Небесного, чтобы простил нам наши прегрешения и вернул нам Царя земного. Без него, батюшки, не будет ни счастья, ни покоя на земле православной». Вторая же монашка, когда уже начались тревожные дни, при первой тревоге хватала молитвенник и начинала читать нараспев.

После обучения грамоте второй мерой, предпринятой ротным комитетом, было искоренение сквернословия. Кое-кто, бравируя, стал подражать довоенным боцманам. В роте искоренить это зло удалось. Но в обозе, где были преимущественно простые бабы, все это распустилось махровым цветком.

Как-то я проходила по шоссе. Две бабы возились около телеги. Здесь же стоял офицер. Что-то не ладилось с упряжью, и вдруг одна из них злобно заорала:

— Куды ты тянешь? Аль глаза у тебя в… Не видишь, что перекосило…

— Тра-та-та… — соловьиной песнью пронеслось по шоссе. Офицер схватился за голову: «Ну и женщины!»

Приближался день присяги, назначенный на праздник Рождества Богородицы, 8 сентября. Ротный предупредил: «Если

кто-нибудь в себе не уверен, пусть уходит сейчас же. Не забывайте, что после присяги все ваши поступки будут караться дисциплинарным законом. Возврата к прошлому не будет!» Желающих покинуть батальон не нашлось.

Накануне присяги человек десять сидели вечером, долго разговаривая. Я задала вопрос:

— А что, товарищи, никого не страшит завтрашняя присяга?

— Да нет, господин взводный. Кто боялся, уже давно покинул наши ряды. Одно грустно — будем присягать России-матушке, да не Царю-батюшке…

— Вместо Царя присягнем Временному правительству! — проговорила другая.

— Да, придется, — вздохнула первая. — Да только кабы да моя воля, я бы Временному правительству не присягнула, а такого бы «пристегнула», что они не знали бы, в какую дверь спасаться!..

— Скажите, какая монархистка, — засмеялась ее соседка.

— А вы, товарищ, не боитесь так открыто говорить об этом? Ведь у нас есть сочувствующие революции. Могут донести…

— А доносчику первый кнут! — резко проговорила М., бывшая учительница. — И было бы величайшим позором, если бы наши добровольцы уподобились солдатам и начали доносить на нас же за наши убеждения. Наше дело не политика, а фронт. Мы можем не соглашаться друг с другом, но это нам не помешает плечом к плечу встать на защиту родины…

— Верно, правильно! — раздались одобрительные возгласы.

— А мой батька тоже был за Царя, — проговорила хорошенькая черноглазая добровольца. — Страсть как осерчал, когда узнал, что я записалась в батальон. «Кого, — кричит, — ты пойдешь защищать? Эту сволоту, что Царя с трона сбросила?» — «Нет, — говорю, — батя. Россию поеду защищать!..»

— А мой маленький братишка тоже отличился, — засмеялась другая. — Помнил, как во время войны мимо нас проходила манифестация с портретом Государя и пением «Боже, Царя храни». Идем с ним как-то после революции по улице, навстречу манифестация, но уже с красными флагами и пением «Интернационала». Мы остановились. Вдруг слышу, он спрашивает солдата: «Товарищ, а почему они не поют «Боже, Царя храни»?» Тот как захохочет: «А потому, парнишка, что они твоему Царю уже дали…» — и прибавил непристойное выражение.

— Эй вы, полуночники! Не пора ли на покой? Ведь завтра рано подниматься! — раздался голос из угла.

— В самом деле, давайте ложиться, — сказала я, поднимаясь. — Завтра нам предстоит если не решительный бой,

то решительный день. И хорошо быть не только с ясной головой, но и отдохнувшими телом.

Мы разошлись по своим местам.

Наутро, особенно тщательно приведя себя в порядок, стали поротно стекаться к месту присяги. Дул ветер. Но вот батальон выстроился. Священник обратился к нам со словом. Сказал, что ему впервые в жизни приходится приводить к присяге гражданок. Говорил о нашем долге перед родиной и что наша верная служба зачтется нам на Небеси.

Наступил торжественный момент. Тишина стояла такая, что, пролети муха, мы услышали бы ее жужжание… «Поднимите правую руку с тремя сложенными перстами и повторяйте за мной! — прозвучал в тишине голос священника. — Клянусь и обещаю…» Мы клялись в верности родине и повиновении начальству. Затем приходили прикладываться к кресту и расписывались.

Занятий в этот день не было, но не было и обычного веселья. Ни песен, ни шуток. Все ходили торжественные, притихшие. То же чувство я испытала в детстве, когда после причастия боялась каким-либо словом или действием осквернить святость свершившегося.

Вечером, когда стали укладываться спать, я говорю: «Ну, товарищи, свершилось! Мы уже с вами не Феклы, Марии или Лукерьи, а солдаты Русской Армии» — и шутя затянула «Солдатушки, браво ребятушки! А где ваши мужья?». И вдруг весь взвод, точно по приказу, грянул в ответ с необыкновенной силой: «Наши мужья — заряжены ружья. Вот где наши мужья!..»

Говорили, что Временное правительство дало разрешение на формирование второго батальона и маршевых рот. Со временем батальон должен был развернуться в 1-й Петроградский женский полк. Поручик Сомов видел рисунок нашего будущего знамени: белые лилии, икона Богоматери и соответствующие надписи. Знаменосцем назначалась наш фельдфебель Мария Кочерешко, георгиевский кавалер 3-й степени. Барабанщиком — цыганка, до поступления в батальон бившая в тамбур в каком-то оркестре. Шли последние приготовления. Выдавалась амуниция, зимние вещи. Для нашего Пуделя снимали специальную мерку, да и для нас брюки шили короче и шире в бедрах, так как в мужских штанах мы проваливались до подмышек, но на бедрах они сидели, как лайковые перчатки.

На фронте нам отводился участок под Двинском, между Пятигорским ударным батальоном и юнкерами, кажется, Северного фронта. Шла усиленная подготовка по ведению наступления, колке чучела и т. д.

В свободное же время жизнь текла своим чередом. Как-то доброволица Хасиева рассказала историю своего замужества. «Я влюбилась в кавказца Хасиева. Но когда он попросил моей руки у родителей, то они отказали, находя, что для меня, невесты с приданым, он неподходящая пара. Так я, не долго думая, сбежала и тайно повенчалась. Им ничего не оставалось, как примириться с фактом и нас простить».

Тут же сидела и отделенная Репкина. Я о ней упоминала — лучший стрелок и запевала. Но до чего она была неказиста! С выдающимися скулами, оттопыренными губами, ходила, как обезьяна, загребая руками и подаваясь вперед. Приехавшая одной из первых, обучившись поворотам и маршировке, как и другие, она была приставлена для обучения новобранцев. Попав в учебную команду, по окончании ее была назначена отделенным, хотя на эту должность были и более достойные. Вагина ее прозвала «ташлинский мужик» (Ташлин — деревня, мужики которой славились своей косолапостью и тупостью). И вот, услыхав рассказ Хасиевой, наша Репочка решила не ударить лицом в грязь. Выговор был у нее на «о».

— А ко мне тоже сватался поручик. Красивый да богатай…

— Что же вы не вышли замуж?

Она скромно опустила глаза в землю и губы сложила «сердечком»:

— Да ня знаю, чего-то не захотелось…

— Я знала ее жениха. Был не только офицер, но и унтер-офицер, — подмигнула одна из слушательниц.

— Не, право слово, офицер, и с погонами…

— Неужели? — удивленно воскликнула другая.

— А я думала — с хвостом!..

— Да ты что из меня дуру строишь, думаешь, вру?

— Не обижайте, товарищи, нашу Репку, — примирительно проговорила другая. — Она славная девушка. А кому не хочется если не иметь, то хоть помечтать о женихе?

— Вот уж правду говорят, что «дураков не сеют, не жнуть, а сами ростуть».

— Видно, и нашу Репку выдернули из той же грядки, — тихо, чтобы она не услыхала, проговорила курносенькая А.

Недели, кажется, за три до выступления на фронт, назначенного на 26 октября, поручик перед строем объявил о производстве взводных в старшие унтер-офицеры, отделенных — в младшие унтер-офицеры и несколько рядовых в ефрейторы, и закончил словами: «Во всех ротах и командах нашивки будут нашиты сегодня, но моя рота получит их в день выступления на фронт». Может, это было сделано с целью поднятия духа при

отъезде на фронт, но было обидно, что мы их не получили сразу. Кто из военных не помнит, как торопились молодые офицеры прицепить лишнюю звездочку, а нижние чины нашивку?

Завелась у нас и ротная собака, сопровождавшая нас на все ученья. Но однажды на стрельбище, подбежав к мишеням, она была ранена. Услышав визг, поручик приказал добровольце: «Добейте ее прикладом!» Та, подбежав, ударила, но недостаточно сильно. Раздался за душу хватающий визг. «Не надо, не надо!» — послышались крики. Но пес издох.

Глава 7. ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

24 октября перед Зимним дворцом должен был состояться парад. Поручик Сомов и тут решил отличиться и тайком от других прорепетировал прохождение роты, ощетинив штыки.

Чистились, мылись и писали прощальные письма домой. За несколько дней до выступления командир батальона проверял наши знанья. Батальон был выстроен в поле, и 1-я рота под его команду делала все перестроения, рассыпалась в цепь, совершала перебежки и пошла в атаку. Результатом подготовки он остался доволен.

Наступило 24 октября. Погруженные в вагон, но конные разведчики в пешем строю, мы с песнями двинулись в Петроград.

Из одного вагона неслось «Гей, ну-ты, хлопцы!..» с залихватским припевом «И-ха-ха, и-ха-ха!». Из второго — «По дороге пыль клубится…». Грустная история казака-сироты, возвращающегося с набега. Из третьего — разудалая «Ой, да течет речка по песку, да!». Перекликались, точно петухи на рассвете. На каждой остановке пассажиры и служащие высыпали на перрон послушать наше пение. Запевала Яцулло заливалась соловьем. По прибытии в Петроград двинулись по улицам с пением. «Ох, и хорошо же спивают», — проговорил какой-то солдат, когда мы проходили.

Вот и Дворцовая площадь. Прибыл оркестр какого-то полка, скоро пожаловало и начальство: генерал со штабом (фамилии не помню) и военный министр Керенский. Мы построились во взводную колонну. Грянул оркестр. Пошел наш 3-й взвод.

Я вышла на середину взвода. Взвод поравнялся на дистанцию с желонером. Командую: «Прямо!» Тело натянуто, как струна. Вперила взор прямо в точку, боясь потерять равнение. «Ногу» отбиваю с таким усердием, что опасаюсь, как бы после парада мои ступни не превратились в две отбивные котлетки. Смерила взглядом расстояние до начальства: пять шагов… Резкий поворот голов вправо. Вот уже по уставу «пожираю» начальство глазами, хотя от волнения не только не вижу лиц, но даже не замечаю фигур. Да как не волноваться! До сего времени приходилось водить взвод в знакомой обстановке под взглядами редких прохожих да котов с крыш! Здесь же — перед командующим и тысячью зрителей.

Накануне парада было получено донесение, что «товарищи» (большевики) во время парада хотят нас расщелкать. Мы шли на парад с заложенной обоймой патронов и курком, поставленным на предохранитель. По карманам и в подсумках были патроны.

Получили приказ поручика: «В случае нападения первый залп давайте в воздух. Второй — по нападающим».

Второй раз идем поротно. Поручик командует: «На ру-ку!..» Рота идет, ощетинив штыки. Что и говорить, грозный вид! Как тут врагам при виде нас не засверкать в страхе пятками, спасая свою жизнь!..

Но что это? 1-я рота направилась прямо на вокзал, а нашу — правым плечом заводят обратно на площадь. Мы видим, как весь батальон, пройдя церемониальным маршем, также вслед за 1-й ротой уходит на вокзал. Площадь пустеет. Нам приказывают составить винтовки в «козлы». Откуда-то донесся слух, что на заводе, кажется, «Нобель», взбунтовались рабочие и нас отправляют туда для реквизиции бензина. Слышатся недовольные голоса: «Наше дело — фронт, а не мешаться в городские беспорядки». Раздается команда: «В ружье!» Мы разбираем винтовки, и нас ведут к воротам дворца.

Глава 8. БОЙ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Казаки отказались защищать Зимний дворец и ушли 25 октября, оставив пулеметы юнкерам. Проходя по двору, я увидела юнкера, прохаживавшегося с обнаженной шашкой около орудия — Михайловское артиллерийское училище.

Роту вводят в роскошные апартаменты с окнами, выходящими на Дворцовую площадь. Говорили, что это покои Екатерины Великой. Раздают патроны; новенькие гильзы блестят, как золотые. Почти все по одному-два патрона прячут за пазуху — «на память».

Усаживаемся на полу, не выпуская винтовок из рук. Никто не решался сесть на мебель, боясь испачкать ее шинелями. И как мы впоследствии были возмущены, узнав, что солдаты, ободрав с мебели шелк и бархат, свалили вину на нас.

Проходя на обед, видела сидевших на полу и стоявших юнкеров. Пока все тихо. Мы уже знаем, что оставлены для защиты Зимнего дворца.

Ночь не принесла никаких перемен. Добровольцы сидят, обхватив винтовки, готовые по первому приказу вступить в бой. Я несколько раз приникала к стеклу, силясь что-нибудь рассмотреть. Незаметно никакого движения. Поручик предупредил: «После приказа открывать огонь накладывайте на стекла что-нибудь мягкое и выдавливайте!»

Михайловское артиллерийское училище было обманом уведено перекинувшимся к большевикам комиссаром. 25-го во дворец пробрался комиссар Абрам Гундовский, уговаривавший юнкеров уйти. Он был ими арестован, но потом выпущен.

В ночь с 24-го на 25-е броневики покинули Зимний дворец. Остался лишь один броневик, из которого солдаты вынули магнето.

Во дворец с вокзала пробралось несколько ударников. Слыхали, что среди них была и женщина-прапорщик.

Штаб округа вызвал вечером 24-го фронтовые части, а Смольный — кронштадтских матросов. В Неву вошла целая флотилия (несколько тысяч матросов). Матросы высадились около Николаевского моста и оттуда повели наступление на Зимний дворец. Штаб округа приказал развести мосты (Литейный, Троицкий, Николаевский), чтобы отрезать рабочие районы от центра. Мосты были разведены, но в 3 часа рабочие и красноармейцы свели их снова. Ночью крейсеру «Аврора» было приказано подойти к Николаевскому мосту (находившемуся в руках юнкеров) и захватить его, что и было исполнено.

Все эти сведения были мной получены три года назад от г-на Зурова, пишущего «Историю русской революции», которому я дала кое-какие сведения о Женском батальоне. Теперь возвращаюсь к личным воспоминаниям.

25 октября 1917 года около 9 часов вечера получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами перед Зимним дворцом.

У ворот высоко над землей горит фонарь. «Юнкера, разбейте фонарь!» Полетели камни, со звоном разлетелось стекло. Удачно брошенный камень потушил лампу. Полная темнота. С трудом различаешь соседа. Мы рассыпаемся вправо за баррикадой, смешавшись с юнкерами. Как потом мы узнали, Керенский тайком уехал за самокатчиками, оставив вместо себя министра Коновалова и доктора Кишкина, но самокатчики уже «покраснели» и принимали участие в наступлении на дворец. В девятом часу большевики предъявили ультиматум о сдаче, который был отвергнут.

В 9 часов вдруг впереди загремело «ура!». Большевики пошли в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало. Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С «Авроры» забухало орудие.

Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем. Я взглянула вправо и влево. Сплошная полоса вспыхивающих огоньков, точно порхали сотни светлячков. Иногда вырисовывался силуэт чьей-нибудь головы. Атака захлебнулась. Неприятель залег. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой.

Воспользовавшись затишьем, я спросила, повысив голос:

— Четвертый взвод, есть ли еще патроны?

— Есть, хватит! — послышались голоса из темноты.

— Есть еще порох в пороховницах, не ослабели еще казацкие силы! — раздался веселый голос какого-то юнкера.

Нас обстреливали от арки Главного штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового сада. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас одна убита.

Прослужив впоследствии два с половиной года ротным фельдфебелем в 1-м Кубанском стрелковом полку, я видела много боев, оставивших неизгладимое впечатление на всю жизнь, но этот первый бой, который мы вели в абсолютной темноте, без знания обстановки и не видя неприятеля, не произвел на меня должного впечатления. Было сознание какой-то обреченности. Отступления не было, мы были окружены. В голову не приходило,

что начальство может приказать сложить оружие. Был ли страх? Я бы сказала, как и раньше, при стоянии на часах в лесу, сознание долга его убивало. Но временами охватывала сильная тревога. Во время стрельбы делалось легче. В минуты же затишья, когда я представляла, что в конце концов дойдет до рукопашной и чей-то штык проколет мой живот, и он, как спелый арбуз, затрещит по всем швам, — то, признаюсь, холодок пробегал по спине. Надеялась, что минует меня чаша сия и я заслужу более легкую смерть — от пули. Смерть нас не страшила. Мы все считали счастьем отдать жизнь за Родину.

«Женскому батальону вернуться в здание!» — пронеслось по цепи. Заходим во двор, и громадные ворота закрываются цепью. Я была уверена, что вся рота была в здании. Но из писем г-на Зурова узнала, со слов участников боя, что вторая полурота защищала дверь. И когда уже на баррикаде юнкера сложили оружие, доброволицы еще держались. Как туда ворвались красные и что происходило, не знаю.

Нас заводят во втором этаже в пустую комнату. «Я пойду узнаю о дальнейших распоряжениях», — говорит ротный, направляясь к двери. Командир долго не возвращается. Стрельба стихла. В дверях появляется поручик. Лицо мрачно. «Дворец пал. Приказано сдать оружие». Похоронным звоном отозвались его слова в душе…

Глава 9. ПОД АРЕСТОМ В СОЛДАТСКИХ КАЗАРМАХ

Мы стоим, держа винтовки у ноги. Через некоторое время просовывается в дверь голова солдата и быстро исчезает. Минут через пять заходит солдат и нерешительно останавливается у двери. И вдруг под напором громадная дверь с треском распахнулась и ворвалась толпа. Впереди матросы с выставленными громадными наганами, за ними солдаты. Видя, что мы не оказываем сопротивления, нас окружают и ведут к выходу. На лестнице между солдатами и матросами завязался горячий спор. «Нет, мы их захватили; ведите в наши казармы!» — орали солдаты. Какое счастье, что взяли перевес солдаты! Трудно передать, с какой жестокостью обращались матросы с пленными. Вряд ли кто-либо из нас остался в живых.

Выводят за ворота. По обе стороны живая стена из солдат и красногвардейцев. Начинают отбирать винтовки. Нас окружает конвой и ведет к выходу для отправки в Павловские казармы; по нашему адресу раздаются крики, брань, хохот, сальные прибаутки. То и дело из толпы протягивается рука и обрушивается на чью-нибудь голову или шею. Я шла с краю и тоже получила удар кулака по загривку от какого-то ретивого защитника советской власти. «Не надо, зачем», — остановил его сосед. «Ишь как маршируют, и с ноги не сбиваются», — замечает конвоир. Подошли к какому-то мосту. Вдруг с улицы вынырнул броневик и пустил из пулемета очередь. Все бросились на землю. Конвойные что-то закричали. Броневик умчался дальше. В суматохе доброволица Холзиева благополучно сбежала.

В казарме нас заводят в комнату с нарами в два яруса. Дверь открыта, но на треть чем-то перегорожена. В один миг соседняя комната наполняется солдатами. Со смехом и прибаутками нас рассматривают, как зверей в клетке.

Накануне парада из госпиталя выписалась доброволица. Несмотря на слабость, решила участвовать в параде. Все перенесенное так подорвало ее силы, что ее вели под руки. В казармах же она потеряла сознание.

— Господин взводный, наша больная, кажется, умерла, — сообщила мне доброволица.

Высоко под потолком висела маленькая лампочка. На нарах темно. Забравшись, я нащупала ее пульс. Неощутим. Дыхания не слышно. Я подошла к двери:

— Товарищи, дайте огня, наша больная, кажется, скончалась!

— Подожди, мы сейчас зажжем тебе электричество, — проговорил солдат и под гогот окружающих стал щелкать дверной ручкой.

Да простят мне читатели мое признанье! В жизни не ругалась я и не выношу сквернословия. Но помню, какое было искушение — единственный раз в жизни, забыв девичий стыд, за их издевательства пустить их «вниз по матушке по Волге» с упоминанием всех прародителей. И только сознание, что я их этим не оскорблю, а доставлю веселую минутку, так как для них это все привычно, заставило меня стиснуть зубы и отойти прочь.

Нас мучила неизвестность о судьбе командиров. Наконец одна не выдержала:

— Товарищи, а где наши офицеры?

— Тю, о ком вспомнила! Да ваших офицеров красноармейцы еще во дворце прикончили. А теперь очередь за вами…

Я почувствовала, как ослабели вдруг ноги и холод подкатил к сердцу.

Страшное известие вмиг разлетелось по роте. Везде, где свет выхватывал фигуры, видны были доброволицы с поникшими головами. Я подошла к сидевшей на нарах курсистке, с которой подружилась:

— Поликарпова, наши офицеры убиты красноармейцами во дворце.

Жестом отчаяния она схватилась за голову, и мы обе замерли. Что же дальше? Командиры погибли, если нас даже не расстреляют, все равно батальон расформируют и фронта не видать как своих ушей. Да стоит ли после этого жить? Впервые мысль о самоубийстве закралась в голову. Я подозревала, что та же мысль овладела и Баженовой. Все остальные более или менее спокойно ожидали своей участи. Не берусь, конечно, судить, что творилось у них на душе. Только Б., с белым, перекошенным от ужаса лицом проговорила прерывающимся голосом:

— Нас расстреля-а-а-ют…

— А вы думали, по головке погладят? — раздался чей-то спокойный голос с нар. — Товарищи, вы знали, на что шли, когда записывались в батальон. Если вы так дорожите своей жизнью, нужно было уходить до присяги. Знаете, есть украинская поговорка «Бачилы очи шо куповалы, так и йишты хочь повылазты» («Видели глаза, что покупали, так и ешьте, хотя бы им пришлось вылезть»). Теперь отступать поздно!

Настроение солдат постепенно менялось, начались угрозы, брань. Они накалялись и уже не скрывали своих намерений расправиться с нами как с женщинами. Что мы могли сделать, безоружные, против во много раз превосходящих нас

численностью мерзавцев? Будь оружие, многие предпочли бы смерть насилью. Мы затаились. Разговоры смолкли. Нервы напряжены до последнего предела. Казалось, еще момент, и мы очутимся во власти разъяренных самцов.

— Товарищи! — вдруг раздался громкий голос. К двери через толпу протиснулись два солдата — члены полкового комитета, с перевязкой на рукаве. — Товарищи, мы завтра разберемся, как добровольцы попали во дворец. А сейчас прошу всех разойтись!

Появление комитетчиков подействовало на солдат отрезвляюще. Они начали нехотя расходиться. По очистке от них комнаты дверь заперли. Появились вооруженные солдаты и, окружив нас, внутренними переходами, где никто не встретился, вывели во двор.

Решено было нас переправить в казармы Гренадерского полка, державшего нейтралитет. Но вот путь до Гренадерских казарм и наше пребывание в них, к сожалению, совершенно выпали из моей памяти. Вспоминаю лишь момент, когда нас привели на обед в столовую. На столах груды белого хлеба. Направо от стола над баком с борщом стоит симпатичный кашевар-бородач, лет сорока пяти. Рядом с ним человек пятнадцать солдат. Ловим на себе их доброжелательные взгляды. Чувствуем, что попали к друзьям. Усаживаемся за столы. «Встать! На молитву!» — командует фельдфебель. «Отче наш…» По мере того как поют, прибегая к Единому нашему Заступнику, нервы кой у кого сдают и по лицу текут слезы. И вдруг вижу, что у кашевара задергалось лицо и по бороде потекли крупные слезы. Вынув из кармана тряпочку, тяжело вздыхая и покачивая сокрушенно головой, начал вытирать лицо… Когда же запели «Спаси, Господи, люди Твоя», раздался голос: «Зачем они поют эту молитву — она запрещена!» Никто из солдат не шевельнулся, и когда вместо «Благоверному Императору» пропели «Христолюбивому воинству», успокоился и спрашивающий. Солдаты сами разносили нам пищу по столам.

Как мы узнали впоследствии, английский консул потребовал нас немедленно освободить. «Иначе вам придется отвечать перед другими государствами» — заканчивалось его послание.

Под вечер, окруженные конвоем, мы были приведены на Финляндский вокзал. До Левашова должны были следовать одни. Вдруг к поезду подошла большая группа вооруженных с ног до головы матросов, едущих с этим же поездом. До нас донеслось: «А, керенское войско! Пусть едут, в Левашово мы с ними расправимся». Услыхали это и наши конвоиры и уселись с нами в поезд.

В Левашово вылезаем, и конвой нас окружает. Высыпавшие

матросы, видя, что нас охраняют, с бранью и проклятиями вернулись в поезд. В лагере не застаем никого. По одной версии, батальон ушел на маневры; по другой — в нескольких верстах окопался, ожидая «гостей». Конвой, приветливо распрощавшись, вернулся в Петроград. Двое же конвоиров просидели с нами до утра.

Большинство добровольцев заснуло мертвым сном. Небольшая же группа разговаривала с конвоирами всю ночь. «Вот, товарищи, — рассказывала одна из взводных, Д., — утверждают, что революцию хотел простой народ. Я сельская учительница. Помню, как после первых дней революции приехали агитаторы и собрали митинг. Слышу, один дядя говорит: «Ливарюцья, пущай себе ливарюцья, только Царя бы нам дали подобрея!»», что вызвало смех у конвоиров. Наутро мы с грустью распрощались с ними.

Петроградские гренадеры! Если кому-нибудь из вас попадутся эти строки на глаза, примите от всей нашей роты, хотя и с опозданьем на 42 года, сердечную признательность за ваше братское отношение в ту тяжелую для нас минуту. Я уверена, что вся рота расписалась бы под моим обращением к вам. Мы навсегда сохранили в своих сердцах добрую память о часах, проведенных в наших казармах 7 ноября (25 октября) 1917 года.

Ходили слухи, что погибли все защитницы Зимнего дворца. Нет, была только одна убита, а поручику Верному свалившейся балкой ушибло ногу. Но погибли многие из нас впоследствии, когда, безоружные, разъезжались по домам. Насиловали солдаты и матросы, насиловали, выбрасывали на улицу с верхних этажей, из окон поезда на ходу, топили. Я расскажу об этом в дальнейших описаниях — о тех случаях, о которых мне лично рассказывали сами пострадавшие или о которых читала в газетах.

Глава 10. КОНЕЦ МЕЧТАМ О ФРОНТЕ?.

Кончилось наше веселое житье, полное надежд и упований на скорое выступление на фронте. Командиры убиты… Нас, конечно, расформируют. Унынье и тоска овладели всеми. Слонялись по даче без дела, не находя себе места. Вдруг дверь в помещение, где находился наш взвод, быстро распахнулась, влетела доброволица. На ней, что называется, не было лица. «Наши командиры идут!..» — не крикнула, а по-поросячьи взвигзнула. Боже! Что тут поднялось! Другая побежала оповестить остальные взводы.

Налетая друг на друга, застревая в двери, все бросились на шоссе. Вдали виднелись наши командиры. Поручик Верный сильно хромал. С громоподобным «ура!», которое, думаю, не оглашало так ни одного поля сражения, мы ринулись к ним навстречу. Забыты дисциплина и выдержка. Со всех сторон их обнимали руки и к ним прижимались головы. Не то их несли, не то на них висли — разобрать было невозможно. От офицеров торчали только их головы, и они продвигались черепашьим шагом. А из дачи вылетали все новые доброволицы, и опять ширилось и гремело, переливаясь по шоссе, нескончаемое «ура!». Все забыто! Командиры с нами, и мы счастливы.

В тот же день мы были вновь вооружены винтовками из цейхгауза, но патронов оказалось всего около сотни. Во все стороны разосланы разведчики. Доброволицу Подгорных тридцати пяти лет, в прошлом сапожника, поразительно похожую на мужчину, нарядили в полушубок и кепку, в карманы насыпали семечек, неизменную принадлежность всякого уважающего себя «товарища», и она поехала в Петроград потолкаться и послушать, о чем говорят солдаты. На второй или на третий день со станции прибежала запыхавшаяся разведчица: «Господин поручик! На станции Левашово высадились четыре роты вооруженных красноармейцев, двигаются к нашему лагерю!» Поручику было уже известно местонахождение нашего батальона, и он немедленно отправил несколько человек за патронами. С какими целями большевики направлялись к нам, неизвестно. Если успеют принести патроны, решено не сдаваться. Настроение у всех приподнятое, будет бой. Через полчаса являются парламентеры с требованием сдать оружие. Поручик попросил отсрочки для ответа, не помню, на один или два часа.

Красногвардейцев нигде не видно. Наша дача окружена с трех сторон лесом, четвертая выходит на шоссе. Оно на возвышении, так что, согнувшись, с этой стороны можно пробежать и залечь незамеченными. Патронов все нет. Поручик

нервничает. Да и вряд ли наши посланцы смогли бы с патронами пробраться к нам. Наверняка дорога под наблюдением красноармейцев. Появляются вновь парламентеры. Поручик вторично просит отсрочки. «Если через десять минут вы не сложите оружие, мы открываем огонь!» — предупредили они.

Сейчас, оглядываясь на прошлое, я вижу, что бой был бы бесполезным истреблением роты. Дача была деревянная, с несколькими окнами. Правда, мы не знали, какая нас ждет участь, если сложили бы оружие. По тому времени можно было ожидать самого худшего. Правительство, которому мы присягали, пало. Мы хотели защищать себя самих, быть может, от горькой участи.

Прошло десять минут. Приказано винтовки сложить в кучу на землю, на шоссе. «Черта с два я отдам вам винтовку целой!» — услыхала я голос соседки. Схватив винтовку, она вынула затвор и сунула его в вещевой мешок. Несколько человек последовали ее примеру, вынув еще шомполы: «Господин взводный, штык заметят!» Подъехала подвода, и подводчик сам бросал винтовки по нескольку штук сразу. Красногвардейцев нет. «Дайте мне ваши две винтовки. Я ими прикрою свою. А если заметят, что штыка нет, скажу, что свалился». Я благополучно сложила оружие в общую кучу.

Впоследствии, уезжая из Петрограда, я оставила мои вещи, среди которых везла «на память» части винтовки, в поезде. Если бы они не уехали с поездом, я наверняка была бы расстреляна. Но об этом потом.

Как только винтовки были погружены и подвода отъехала, начали стекаться на шоссе и строиться красногвардейцы. Остался в памяти правофланговый, здоровенный красивый детина лет двадцати трех. Раздалась команда: «По порядку номеров рассчитайсь!» — «75 полный!» Итого в роте 150 человек. Другие роты приблизительно такие же. Итого около 600 человек.

Красногвардейцы ушли, через полчаса добровольцы принесли 10 000 патронов. Когда вернулся наш батальон, при каких обстоятельствах он сложил оружие, не знаю. Дачи были далеко разбросаны одна от другой, и мы почти не сообщались. Объявлено о расформировании батальона.

Подвоз продуктов прекратился. Хлеба уже не было, а из капусты и брюквы варили бурдицу. Караулов уже не выставляли. Не с метлой же ставить часового! Добровольцы начали разъезжаться по домам, но многим было суждено погибнуть не в честном бою, а от руки своего брата солдата или матроса. Душевное состояние ужасное! Мысль о самоубийстве крепла.

Как-то вечером, когда уже все спали, меня разбудил дежурный: «Поручик требует кого-нибудь для связи». Я, помню,

разбудила восемнадцати лет девку Михайлову:

— Товарищ, в связь к поручику!

— Идите сами, если хотите, а я хочу спать.

Я разбудила вторую.

— Я боюсь, господин взводный… — И улеглась тоже.

Разбудила третью.

— Да какая там связь! Батальон расформирован, — ответила и эта и улеглась поудобнее.

Я разбудила шесть человек и ответ получила тот же.

— Товарищи, пойдет ли кто-нибудь в связь к поручику? Или я пойду сама и заявлю, что вы не повинуетесь приказу!

Я это крикнула настолько громко, что должна была разбудить всех спящих. Поднялась одна, с раздутой флюсом щекой.

— Нет, вы больны и должны остаться.

Больше никто не пошевелился. Я поняла… Страшные слова «батальон расформирован» были произнесены, и вчерашние солдаты, шедшие по первому приказу не рассуждая, сегодня превратились только в обывательниц, для которых на первом плане стоял отдых и покой. Совершенно потрясенная, я направилась к командиру:

— Господин поручик, явилась для связи сама, так как взвод отказывается мне повиноваться!

— Не нужно, Бочарникова. Идите, ложитесь спать. Я хотел на всякий случай иметь кого-нибудь под рукой. Я обойдусь…

Как-то грустно и устало махнул он рукой. Видимо, воспоминания о расформировании родного полка были еще в памяти, и он знал, что никакие приказы уже не возымеют действия.

С тех пор на несение нарядов уже не назначались, а вызывались желающие. Однажды пополудни ко мне подошла отделенный Баженова. Взяв под козырек, она проговорила: «Господин взводный! Я сегодня утром самовольно отлучилась в Парголово…» Меня поразил ее вид. Осунувшаяся, сразу точно постаревшая. А главное — ее глаза. Это были тусклые глаза мертвеца на живом лице. Батальон уже фактически расформирован, дисциплину мы старались поддерживать сами. Я не хотела с нее взыскивать: «Ничего, Баженова, только никому не говорите, что вы отлучились самовольно».

После обеда зашел дежурный: «Поручик требует кого-нибудь для связи!» Баженова вскочила: «Я пойду!» Часа через три она пришла вместе с ротным. Я обратила внимание, что Баженова была с винтовкой. Как потом мне рассказали, она, придя по поручению в одну из рот и увидев несколько винтовок, предназначенных для охраны цейхгауза, со словами: «Я назначена

к поручику в связь, а ходить сейчас небезопасно» — схватила винтовку. Те засмеялись: «Ай да храбрая, боится днем перейти через поле!..» Баженова не обратила внимания на насмешки и унесла винтовку.

Мне утром сказали, что якобы поручики Сомов и Верный едут на фронт. Я решила проситься ехать с ними. Выйдя из ворот, я поджидала поручика. Показался он в сопровождении Баженовой. Я подошла к нему:

— Господин поручик, мне сказали, что вы с поручиком Верным едете на фронт. Разрешите мне ехать с вами. Если нельзя рядовым, то хоть как ваш денщик.

— Не говорите, Бочарникова, глупостей! Вы же знаете, что новая власть денщиков отменила. И никуда мы не едем.

Рушилась последняя надежда попасть на фронт. Начало смеркаться. В дверях показалась Баженова:

— Поручик требует всех взводных к себе!

Нас четверо отправилось к ротному. Он был сильно простужен, опасались воспаления легких. Держась рукой за грудь и страшно кашляя, отдавал нам какое-то приказание. Вдруг дверь быстро распахнулась, вбежала взволнованная дежурная по роте Хваткова. Взяв под козырек, она что-то быстро проговорила. Я не расслышала. Поручик схватился руками за голову.

— Взводные! Чтобы этого больше не было! Идите, идите! — замахал он на нас руками.

Мы бросились бежать.

— Товарищи, что случилось?

— Мне никто не ответил. По шоссе, в сторону канцелярии, где жили офицеры, бежала доброволица. Я повторила свой вопрос.

— Доброволица застрелилась!

Когда мы подбежали к даче, в передней маленькой комнатке, где раньше стояли винтовки, толпа доброволиц, держа высоко лампу, обступила небольшое место, и все смотрели вниз.

— Товарищи, пропустите взводного! — раздался чей-то голос.

Передо мной расступились. На полу с остановившимся взглядом лежала мертвенно бледная Баженова. Кто-то держал винтовку с привязанной к курку веревочкой. Достаточно было одного взгляда, чтобы удостовериться, что она мертва. Крови не было, произошло внутреннее кровоизлияние. Я встала на колени и взяла ее за пульс. Умерла! Десятки мыслей и образов вихрем пронеслись в голове. Вспомнился ее помертвевший взгляд… Сожаленье, почему она вызвалась на дежурство… Может быть, поговорив с ней, я бы смогла облегчить ее душевную тяжесть и не случилось бы непоправимого. Я не заметила, как по щекам

покатились две слезы. Но их заметили добровольцы.

— Это возмутительно, что такое!.. Безобразие!.. Позор, солдат, а плачет!.. — послышались негодующие возгласы.

Тело Баженовой отправили к родным в Парголово. Мне потом рассказали следующее. Баженова поступила в батальон против воли родителей. В день смерти, приехав домой, она сказала матери: «Мама, наш батальон расформирован». На что та раздраженно ответила: «Говорила тебе, незачем было поступать, а сейчас и сами без работы, голодные, а еще ты нам сядешь на шею». Слова матери были последней каплей, переполнившей и без того горькую чашу. Выпросив у матери сухарей, она их раздала добровольцам и вечером, когда мы отправились к ротному, привязала к курку веревочку, заложила патрон, спрятанный «на память» в Зимнем дворце, и, приставив дуло к сердцу, ногой спустила курок. Во взводе стоял такой гам, что никто не обратил внимания на выстрел. Доброволица же, всегда спавшая в коридоре и сидевшая в этот момент у себя, открыла дверь во взвод: «Товарищи, кто-то нечаянно выстрелил, а может быть, и застрелился!..» Схватив лампу со стены, все бросились в коридор. На полу, вздрагивая в предсмертных конвульсиях, лежала Баженова.

На другой день мы поехали в Парголово на панихиду. У гроба страшно убивалась старшая сестра Баженовой. Поражало выражение необыкновенного покоя на лице умершей. Точно после тяжелого утомительного пути она заснула безмятежным сном. На погребении мне не удалось быть, так как я была дежурной.

На другой день после самоубийства в роту зашел вольноопределяющийся, недавно назначенный к нам в роту, лет двадцати четырех, фамилии не помню. Он говорил относительно самоубийства и закончил словами:

— Может быть, есть у вас еще кто-нибудь на подозрении, способный последовать примеру Баженовой?

Я вдруг увидела обращенные на меня взгляды.

— Я скажу… — услыхала я чей-то голос. — Да, господин вольноопределяющийся! Бочарникова!

Меня точно хлестнули эти слова. Что ж? Отпираться, лгать? Не в моем характере. Я опустила голову.

— Бочарникова! — обратился он ко мне. — Уйти из жизни вы сможете в любой момент. Но зачем кончать так бесславно, если свою жизнь сможете отдать родине за правое дело?

— Господин вольноопределяющийся, фронт развалился. Батальон расформирован. Все кончено!..

— Неужели вы думаете, что наше офицерство и все те, кому дорога Россия, останутся только зрителями всего

происходящего?.. Нет, борьба скоро начнется, и жестокая борьба! Вот там вы и сможете, если захотите, пожертвовать своей жизнью…

Он еще долго говорил на эту тему. После этого разговора мне стало немного легче. Но с тех пор, куда бы я ни шла, замечала за собой Канценебину.

— Куда вы идете?

— Фельдфебель послал с поручением.

Следующий раз:

— Вы куда идете?

— Адрес нужный спросить у товарища.

У нее всегда находился готовый ответ. Впоследствии я узнала, что она была приставлена следить за мной.

Вольноопределяющийся оказался прав, и подоспевшие события вылечили меня окончательно от желания покончить с собой.

Глава 11. РАЗЪЕЗЖАЯСЬ ПО ДОМАМ…

Доброволицы начали разъезжаться по домам. Выпал снег, и ежедневно со всех рот отправлялись команды в лес за дровами. Кругом рыскали красноармейцы, форма у них была черная. Раз доброволица семнадцати лет возвращалась среди леса домой со станции. Встречный красноармеец набросился на нее, пытаясь изнасиловать. На ее крик прибежал другой: «Как тебе не стыдно издеваться над женщиной?.. Оставь ее в покое!» Тот злобно толкнул девушку и, когда она упала, начал бить ее ногами. Второй силой оттащил его в сторону. На нее этот случай так подействовал, что она все время искала «черного», во всем остальном оставаясь нормальной. Мы об этом слыхали, но ее не знали, так как она была из другой роты.

Однажды доброволицы из нашей роты пошли в лес за дровами и встретились с другой командой. Одна из наших несла веревки и топор. «Дайте я понесу топор», — предложила соседка. Та дала. На шоссе показался красногвардеец, и вдруг она, занеся топор, бросилась к нему навстречу. Доброволица нашей роты замерла от ужаса. Мелькнула догадка: «Сумасшедшая!» Та же, не добежав несколько шагов, остановилась: «Черный, да не тот!..» — и медленно пошла обратно.

Лет пять тому назад я по объявлению нашла бывшую доброволицу, взводного 3-й роты. Я была приглашена к ней. На редкость милая и интересная дама. Конечно, вспоминали прошлое. Она покинула батальон сейчас же после расформирования. Я же оставалась в Левашове, пока от роты не остались я да еще одна доброволица. Когда я сказала, что многие при разъезде погибли, она ответила: «Ничего подобного! Это все одни разговоры. Доехала же я благополучно! — И тут же добавила: — Правда, пассажиры нашего поезда рассказывали, что солдаты на ходу сбросили в окно двух доброволиц…»

А сколько таких случаев было на тысячеверстных просторах России, когда наши возвращались домой! Ведь у нас были доброволицы из отдаленных мест Сибири. Я ниже расскажу только о случаях, известных мне самой.

Когда же мы коснулись боя у Зимнего дворца, она говорит: «Если бы была наша рота, мы бы все погибли, но не сдались…»

Мне стало больно за свою роту. Не мы сдались, а начальство, во избежание лишнего кровопролития, приказало сложить оружие. Во-первых, я никогда не вступаю в споры, считая это бесполезной тратой времени. Во-вторых, мне не хотелось обижать милую хозяйку, доказывая ее неправоту. А в-третьих, из-за

полной глухоты мне все ответы приходилось писать, что затрудняло беседу. Приказу начальства мы должны были подчиниться. Ведь не могли же мы на заявление поручика, что дворец пал и приказано сложить оружие, ответить: «Сдавайтесь, поручик, если хотите, а мы себя покажем. Вы говорите, дворец пал? Какие пустяки! В нашем распоряжении есть еще целая комната, кстати, с одним выходом, и по нескольку пачек патронов. Мы еще повоюем!» Так?

Теперь опишу несколько случаев. Начну с «бескровных».

На площадке трамвая стояла доброволица. На остановке сели двое, юнкер и штатский. Увидев офицера, юнкер взял под козырек. Штатский, оказавшийся тоже юнкером, забыв, что он не в форме, тоже приложил руку к козырьку. В то время две трети пассажиров составляли солдаты. «А, св…чь, прячешься?» — наступая на него, заорали они. Штатский, видя, что дело плохо, бросился на площадку, солдаты за ним. Доброволица втиснулась между ними и крикнула юнкеру: «Прыгайте!» Тот на полном ходу благополучно соскочил. Взбешенный солдат наотмашь ударил ее по лицу кулаком. И еще. Двадцатилетняя интеллигентная, хорошенькая Офицерова шла по Петрограду. Подскочили два солдата и нанесли ей несколько ударов кулаками по лицу. Она вернулась с распухшим, как от флюса, лицом.

В то время вагоновожатые, точно издеваясь, останавливали трамваи чуть ли не на полном ходу, отчего вся публика летела друг на друга. И не дождавшись, пока соскочат пассажиры, рвали с места. Публика, зная это, заранее напирала друг на друга и спрыгивала со страшной быстротой. Я ехала на передней площадке. Около меня стоял лет тридцати пяти солдат с симпатичным, изнуренным лицом и две бабы с мешками. Приближалась остановка. В дверях показались трое солдат. Один, белесый, с отталкивающей физиономией, заметив меня, закричал:

— Чего красногвардейцы смотрят и не расщелкают эту св… чь? Только нас позорят!

— Ничего не позорят! Если одна сделала глупость, а другая последовала ее примеру, для нас ничего позорного, — огрызнулся зло стоявший на площадке.

— А ты кто такой, что защищаешь эту дрянь?

— Такой же солдат, как и ты!

У них завязалась перебранка. Бабы приняли мою сторону. Я молчу. Вмешиваться в разговор и получить от хама по физиономии или даже быть выброшенной на ходу с трамвая, как это случалось, мне, конечно, не улыбалось. В дверях показался офицер. Солдаты считали в то время чуть ли не за позор приветствовать офицера. Я нарочно, на виду у всех врагов,

вытянулась как можно сильнее и отдала честь. На! Выкуси!.. Офицер с улыбкой ответно приложил руку к козырьку. Приближалась остановка. Публика сзади надавила. И когда я увидела, что белесый вот-вот должен соскочить, я, как храбрая шавка из подворотни, бросила вдогонку:

— Считаю выше своего достоинства вступать с вами в какие-нибудь пререкания!

Белесый, соскочивши на землю, повернулся и злобно поднял кулак:

— Я тебе покажу «достоинство»… — и «трехэтажное здание» обрушилось на мою голову.

Он попытался вскочить обратно, но пассажиры, прыгавшие со скоростью блох, его отталкивали. У меня что-то под ложечкой тоскливо засосало. «Если вскочит, обязательно залепит по физиономии…» — мелькнул тревожная мысль. Вагон с силой рвануло… Я вздохнула с облегчением: слава Богу, пронесло! Через несколько остановок, слезая и проходя мимо своего защитника, у меня вырвалось от всего сердца: «Спасибо, товарищ!». По изнуренному лицу солдата пробежала добрая улыбка.

Как-то во взвод вбежала доброволица: «Товарищи, из отпуска вернулось двое, над которыми солдаты издевались. Идемте слушать, они будут рассказывать». Мы направились в соседний взвод. Одна — интеллигентная девушка восемнадцати лет, вторая — высокая худенькая крестьянка двадцати лет.

И вот что мы услыхали. Они шли по Петрограду около каких-то казарм. На них напали солдаты и силой приволокли в помещение. Комната быстро наполнилась гогочущей солдатней. «А ну, барышни, раздевайтесь!» Видя, что те не двигаются, один, со словами: «Нужно помочь раздеться» — толкнул младшую на койку и, когда та упала, схватил ее за ногу и сдернул. Та затылком ударилась об пол. И сейчас же на них набросились и с подобающими выражениями и, оказывая «внимание», сорвали всю одежду… «Надо посмотреть, нет ли молока», — заявил один из них и схватил младшую пальцами за кончик груди, с силой перекрутил. Из надорванного соска брызнула кровь. Добровольцы заметили молоденького вольноопределяющегося, который, не принимая участия, смотрел на все со слезами на глазах. Вдруг, быстро повернувшись, он выбежал из комнаты. В это время в дверях появился прапорщик. «Товарищи, прапорщик Владимиров пришел!» Солдаты обратились к нему: «Господин прапорщик, мы тут свежинки приготовили!..». Тот, нагло улыбаясь, направился к пленницам. Вдруг дверь распахнулась и вбежали члены полкового комитета, по-видимому предупрежденные

вольноопределяющимся. Они приказали немедленно вернуть одежду и освободить девушек. Тогда солдаты начали отмахиваться руками: «Да ну их к черту! Мы их не трогали. Еще заразишься от них!»

В газете было сообщение, что в Мойке или Фонтанке (не помню) были выловлены два женских голых трупа со стрижеными головами. У одной вырезана грудь, у другой погоны.

Группа добровольниц, сорок или сорок два человека, поехали по домам. В Петрограде видели, как их захватили матросы и увезли в Кронштадт. Они пропали бесследно. Нами было получено письмо от родителей уехавшей с этой группой: справлялись о судьбе дочери.

Вторая группа в тридцать пять человек была в Москве захвачена солдатами и приведена в казармы. От одной из тех добровольниц наши получили письмо, где она, сообщая о случившемся, пишет: «Рассказать, что было с нами, я не в состоянии… Но лучше бы они нас расстреляли, чем после всего пережитого отпускать по домам».

Опишу еще два случая, происшедших не с добровольницами, чтобы показать, какие были нравы в то время. Оба были описаны в газете, и одного из этих случаев был свидетель мой знакомый. После приказа о снятии погон юнкер, не подчинившись этому приказу, шел с сестрой под руку. Подошел к ним солдат и со словами: «Товарищ, погоны было приказано снять!» — попытался их сорвать. Юнкер его ударил. В один момент на него набросились солдаты и начали бить. Сестра лишилась сознания. Они повалили несчастного на землю, били и топтали ногами, поднимали за голову и руки и били телом о землю. И наконец, схватив обезображенный, окровавленный труп за ноги, поволокли на Гороховую.

Второй мой знакомый увидал, как к мосту солдаты ведут за шиворот какого-то парня. Тот, с белым, перекошенным от ужаса лицом что-то кричал, пытаясь вырваться. «Что случилось?» — «Вора ведем топить…» — весело отозвался мальчишка лет двенадцати, бежавший за ними вприпрыжку. Поднявшись на мост, солдаты сбросили свою жертву в ближайшую прорубь. Но тот упал на лед. С трудом поднявшись и простирая руки к палачам, что-то кричал. С моста загремели выстрелы. Вор опрокинулся, лед обагрился кровью…

Впоследствии, когда в доме (кажется) графа Шереметьева, на Спасе на Водах, было устроено под видом лазарета общежитие для разъезжающихся добровольниц, ко мне подошла доброволица. По званию я была здесь старшей. «Господин взводный! Из Обуховской больницы дали знать, что нужно забрать нашу

выздоравливающую доброволицу». Я направилась туда. Меня провели в палату. Оказалась интеллигентнейшая барышня лет девятнадцати. Лежала с поврежденной ногой. Она с другой доброволицей проходила по улице Петрограда, когда на них напали солдаты и, затащив силой в Зимний дворец, выбросили их со второго этажа через окно на улицу. Эта разбилась и повредила ногу, вторая сломала пальцы и, раскроив череп, умерла. «Господин взводный, мне не в чем выйти, сапог разрезали. Не сможет ли кто-нибудь из товарищей одолжить мне для переезда к вам свои сапоги?» Я на другой день отвезла их, и она прибыла к нам.

Глава 12. Я КОМАНДУЮ СВОДНЫМ ВЗВОДОМ

Все окрестные жители относились к нам с большой симпатией.

Еще в начале, когда я была рядовым, случился в лесу пожар. От батальона в помощь жителям для тушения пожара была немедленно отправлена команда с топорами и вилами. Я тогда побежала к фельдфебелю: «Господин фельдфебель, разрешите мне присоединиться к команде!» — «Кругом, марш!» — сердито рявкнула она. Увидят ли возвращающиеся из отпуска, что кто-то с трудом тянет перегруженную повозку, сейчас же впрягались и довозили до дому. Зато когда начался голод, сколько раз жители снабжали нас хлебом и брюквой! И я не помню случая, чтобы, получив хлеб, кто-нибудь его утаил. Все делилось поровну.

Как-то несколько добровольцев отправились на разведку за овощами. Притащили несколько реп.

— Где вы их достали?

— От благодарного населения, — ответила одна из них и сделала многозначительный знак рукой, означающий «украла».

— Товарищ, я прошу вас в другой раз этого не делать. Вы знаете, с каким доверием относятся к нам жители. Не дай Бог, поймают — ведь тень ляжет на всех нас!

Та, вытянувшись и лукаво улыбаясь, взяла шутливо под козырек:

— Слушаюсь, господин взводный! Но так как я слышу, что в вашем желудке от голода гремит оркестр, то надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу…

И тут же поделили все поровну, и с шутками и прибаутками репа заскрипела на наших молодых зубах. Впоследствии на хищения подобного рода приходилось закрывать глаза. Не умирать же с голоду!

Число добровольцев постепенно уменьшалось. Из взводных я осталась одна. Как-то командир тоном просьбы спросил:

— Бочарникова, не примете ли командование над сводным взводом?

— Не хочется, господин поручик! Уж очень все распустились, ни с кем нет сладу.

— Бочарникова, вы примете командование над сводным взводом! — приказным тоном произнес он.

Я вытянулась:

— Слушаюсь, господин поручик!

Глава 13. МЫ ВСТУПАЕМ В БОРЬБУ

Доброволицы быстро разъезжались. Осталась небольшая группа. Мы сидели, разговаривая, когда вбежала С.:

— Господин взводный! Из Петрограда приехала наша доброволица, привезла какие-то важные новости. Все собираются наверх. Идемте слушать!

Наверху мы застали уже человек десять.

— Товарищи, выставьте кого-нибудь на площадку, чтобы никто не подслушал. Товарищи! На Дону генерал Корнилов поднял восстание. К нему присоединяются все недовольные советской властью. Идут бои. Есть ли среди вас желающие пробраться туда?

— Ура! — истошным голосом завопила одна из присутствующих.

— Цыц вы, оглашенная! — зашикали на нее со всех сторон. — Вы что, хотите привлечь внимание красногвардейцев?

— Ох, не могу, товарищи! От радости. Как говорят бабы, «аж все нутро взыгралося»!

— Смотрите, как бы ваше нутро красные не выпустили преждевременно!

— А когда и как можно туда пробираться?

— Пока что нужно сидеть на месте и быть тише воды и ниже травы. Я буду служить связью. Надеюсь, вы мне доверяете? Я буду держать вас в курсе всего происходящего. Затем вторая новость: в Петрограде, в доме графа Шереметьева, устраивается под видом лазарета общежитие для доброволиц. Столоваться будем бесплатно, так же как и юнкера, в столовой, устраиваемой Городской управой. В другом месте нашим выдают бумазейное платье, стеганую бабью кофту, а на голову косынку сестры милосердия. Ходить на обед нужно в этих костюмах…

— Черта с два я променяю штаны на бабью кофту! Пусть «товарищи» на мне хоть горох молотят, а я переодеваться не стану. Опять же, если придется тикать от «товарищей», куда удобнее скакать через заборы и препятствия в штанах, чем задравши юбку на голове!

— Товарищ, перестаньте дурачиться! — рассердилась одна из присутствующих. — Здесь идет серьезный разговор, а вы с шуточками…

— А вы что, хотели бы, чтобы я от восторга пустила бы по-бабьи слезу умиленья? Ну ладно, буду серьезной…

— Вторая рота, — продолжала приехавшая, — запасайтесь отпускными билетами, указывая на Дон, но лучше, чтобы не

навлекать подозрений, какое-нибудь другое место, где нужно проезжать Дон.

Дав еще кой-какие указания, она уехала в Петроград.

Тогда же в каждую роту был прислан комиссар с несколькими красногвардейцами. Через несколько дней я направилась в канцелярию за увольнительным билетом. Поручик Сомов отсутствовал, и его заменял начальник хозяйственной части капитан Мельников. Высокий, худой, малосимпатичный. Застала его в компании поручика Верного и комиссара. Комиссар — белолицый, красивый, упитанный тип лет двадцати восьми, очень напоминавший матроса. Одет он был во все кожаное и в кубанке.

Я обратилась к капитану Мельникову с просьбой выдать увольнительный билет.

— Куда вы едете?

— На Дон.

— К кому?

— К тетке…

— Удивительное дело! — пожал он плечами. — У всех наших добровольниц вдруг на Дону оказались тетки! — насмешливо проговорил он.

Комиссар усмехнулся.

— Я, господин капитан, из Тифлиса. А как вам известно, на Кавказ сейчас не пропускают. Больше нигде у меня родственников нет, — спокойно ответила я.

Дверь приоткрылась, просунулась голова красногвардейца:

— Товарищ комиссар, вас спрашивают.

Комиссар вышел. Получив бумажку, я давай Бог ноги! На следующий день я рассказала об этом ротному. Он был страшно возмущен.

Уехала из нашей роты последняя группа. Нас осталось двое. Оставаться одним в даче на отлете было неприятно, да и небезопасно, так как кругом шныряли красногвардейцы. Мы перебрались в маленькую комнатку около канцелярии, где раньше жили денщики. Снег выпал недавно, морозов же пока еще больших не было. И вдруг в первую же ночь ударил таковой. Дровишки были, но от усиленной топки быстро иссякли, а до рассвета еще далеко. Корчась от холода, мы коченели. Я услыхала грохот. При свете лампы моя товарка рубила скамейку. За ней пошли стул и стол. Воображаю, каким «добрым» словом нас помянули хозяева квартиры. Чуть свет, захватив топоры с веревками, отправились в лес за дровами. На другой день перебрались в Петроград. Что не смог сделать голод, заставил холод.

Под «лазарет» были отведены две большие комнаты без

всякой мебели, только для всех матрацы на полу. Каким-то образом сюда попали два солдатенка. Девятилетний Алеша и семилетний Ленька. Алеша был симпатичный деревенский парнишка, а Ленька — не по летам шустрый.

Скоро явился к нам управляющий, заявив, что обнаружил взломанным бельевой шкаф и что украдено несколько простыней. Мы были поражены, как громом, так как знали, что никто из нас не способен на воровство. Следом у добровольцы пропали выданные вещи.

Спустя пару дней вошла взволнованная доброволица:

— Сейчас, когда я проходила по двору, меня, плача, остановил сторож-китаец и сказал, что у него пропала бритва и 16 рублей денег. Мы знаем, что среди нас воров нет, но, безусловно, подозревают нас. Давайте соберем, сколько сможем, и дадим сторожу. Жалко человека!

Сбор дал 28 рублей. Две доброволицы понесли деньги и вернулись смеясь:

— Если бы вы видели, в какой восторг пришел «ходя», начал смеяться, кланяться. «Пасиба, пасиба. Луска девка-солдат халасо! Пасиба!»

— А знаете, товарищи, мне кажется, что это дело рук Леньки. Уж не по летам шустрый, чертенок. Надо будет его допросить.

Все направились в другую комнату, где на матрасе сидел Ленька.

— Леня, пойди сюда!

Отойдя с ним в сторону, девушка начала ему что-то говорить. И вдруг он на виду у всех подошел к своему матрацу и, засунув ручонку в подпоротый шов, вытащил бритву.

— Товарищи, я ему обещала, что за это ему не будет ничего.

Бритва, к великой радости китайца, была ему возвращена.

На обед приходилось ходить очень далеко. И когда мы все, одетые в бабьи кофты, с косынками на головах и в сапогах, по привычке держа равнение и размахивая руками, шли «в ногу», то прохожие с улыбкой оглядывались: «Женский батальон марширует!».

Доброволица Котликова, сломавшая на ученье ногу и по выздоровлении переехавшая к нам, предложила вместе с ней снять в благотворительном обществе «угол» и поступить на сапожные курсы, куда нас обещали устроить бесплатно. Они же обещали помочь нам и деньгами, дав впоследствии по 160 рублей. Котликова, двадцати одного года сибирячка, в прошлом, как и ее отец, сапожник. Но она хотела усовершенствоваться в этом деле; оказалось, что она работает лучше преподавателей.

На бирже труда предложили записаться на очистку

железнодорожного пути от снега. Меня записали в «интеллигентную» группу. Кого в ней только не было! Священник, гимназист, дамы из общества, учителя, адвокаты, офицеры…

Платили по 9 рублей в день, что считалось хорошим заработком.

Стоял морозный день, дали только две кирки, а остальным деревянные лопаты. Шествовать по рельсам пришлось до второй станции Петроград, когда же вернулась домой, то свалилась от усталости замертво, не будучи в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой. Больше не пошла.

Ударили страшные морозы. Выйдя как-то на обед, вернулась обратно — побелели уши. Решено было переждать, и с разрешения директрисы мы ставили в котелке на плиту один раз ячменную, а в другой гречневую крупу и получали по четверти фунта черного хлеба с соломой.

Но Котликова скоро свалилась. Меня не было дома, когда приезжал доктор. Вернувшись, я задала ей вопрос: «Что у вас нашел доктор?» — «Туберкулез…» — «Да вы что, смеетесь?» Я бросилась хлопотать о ее выезде. Доктор велел немедленно уезжать, так как сырой климат для нее пагубен. Через два дня я ее проводила на вокзал.

Накануне отъезда к нам зашла конный разведчик Прокопчук Анна и предложила поступить в тайную организацию. Подготовлялось восстание. Я записалась. Кажется, 5 января должно было состояться открытие Учредительного Собрания. Мы с Прокопчук отправились на сборное место.

Десятки тысяч петроградцев, неся полотнища с надписью «Вся власть Учредительному Собранию!», двинулись с пением к Таврическому дворцу. Со всех улиц вливались новые процессии. На последней улице, сворачивавшей вправо, была расставлена цепь солдат под командой офицера, требовавшего, чтобы все разошлись, иначе будут стрелять. Шествие остановилось. «Товарищи, двигайтесь дальше! Они не посмеют стрелять. Кто в передних рядах?»

Через толпу пробились две молоденькие барышни, держа на древке полотнище. Одна, багровая от волненья, проговорила: «Товарищи, солдаты церемониться не будут. Будут только жертвы!..»

Солдаты дали первый залп в воздух. Большинство манифестантов попадали на землю, но сейчас же, поднявшись, с пением двинулись вперед. Раздался второй залп, уже по ним. Упали раненые и убитые. А солдаты, перекинув винтовки, пошли в штыковую атаку. В один момент все полотнища были брошены, и все в панике бросились наутек.

Имевшиеся подворотни оказались закрытыми ранее туда заскочившими. Я увидела на земле стонущего раненого с перебитой ногой. Мы с манифестантом-солдатом пытались его поднять и занести в какой-нибудь дом. Должна честно сознаться, что я не столько думала о помощи раненому, сколько надеялась, что солдат, видя мое желание помочь пострадавшему, не пырнет меня штыком! Страшная штука русский штык!..

Подбежавший солдат ударом приклада столкнул меня на лесенку, ведущую в подвальное помещение. Я больно ударилась о ступени, но в первый момент, в состоянии возбуждения, не обратила внимания на это.

Манифестация была разогнана, полотнища разодраны. Раненых стали вносить в дом для оказания помощи. С других же мест доносилась стрельба, и там шел расстрел манифестантов.

Открытие Учредительного Собрания было сорвано. Я направилась домой. Боль началась невыносимая. Еле доплетясь до дому, с трудом стащила сапог. Ступня посинела и распухла, но согревающий компресс исцелил.

Через день нам было приказано переселиться на жительство под видом курсантов (солдатские «университеты» для малограмотных) в одну из казарм, где помещалась наша группа — двадцать восемь человек Пятигорского ударного батальона.

Во время восстания нам отводился участок около Варшавского вокзала. Пока же у нас на руках было только несколько бомб и револьверов. Восстание предполагалось начать до 15 января 1918 года. Меня записали под именем Николая, а Прокопчук — Андрея. Все ударники — молодежь от семнадцати до двадцати восьми лет. Два прапорщика тоже под видом солдат.

Мы с Прокопчук в тот же день перебрались на жительство в казармы. Может быть, мое признание вызовет улыбку у читателей — мы, две молодые девушки, поселились среди двадцати восьми молодых мужчин!.. Но тогда мы все горели желанием бороться с красными поработителями. И как мы не видели в мужской части нашего батальона мужчин, так и они не видели в нас женщин. Мы были только товарищи по оружию!..

Глава 14. В ТЮРЬМЕ

За несколько дней пребывания в казармах мы так подружились с ударниками, что, казалось, не дни, а долгие месяцы провели вместе. На редкость симпатичные ребята.

Из оружия у нас было несколько ручных гранат и револьверов. Нас познакомили, как вставлять запал и, ударив, со счетом бросать бомбу.

Самым молодым ударником был парнишка семнадцати лет. Повествуя о своей голодной жизни, он рассказал, как добывал деньги на пропитание: «Пошел, заработал…», делая соответствующий знак рукой, означающий «украл». И вдруг один из ударников, лет двадцати пяти, расплывшись в улыбку, с отеческой нежностью начал гладить молодчика по голове, приговаривая: «Наш, наш…»

— Вы чем занимались?

— Вагоны разгружал… — Я поняла, что он имеет в виду. — На станции забирался в вагон с вещами пассажиров и на крутом подъеме, где поезд полз черепашьим шагом, открывал дверцу и выбрасывал тюки с чемоданами. А потом соскакивал сам. А здесь уже ждала подвода.

Я от души расхохоталась. В хорошую компанию попала!..

Через несколько дней поздно вечером вернулся из города встревоженный ударник:

— Товарищи, когда я заходил в казарму, то заметил часового у входной двери.

— Я пойду в разведку, — предложил другой.

Он сейчас же вернулся обратно:

— По всем коридорам стоят часовые. Никого не пропускают. Ясно, что это по нашу душу…

— Приготовьте оружие и держитесь поближе друг к другу. Будем пробиваться! — предупредил прапорщик.

С нами были два прапорщика, переодетых солдатами.

Мы все улеглись на нары, делая вид, что спим. В дверях выросли две фигуры вооруженных солдат:

— Прокопчук, Бочарников! (Как я уже говорила, мы были записаны — я под именем Николая, Прокопчук — Андрея.

Как потом узнали, в группу записалась большевичка под видом добровольцы. Она выдала всю организацию. Офицеры были убиты.)

На нарах приподнялись головы.

— Спите, товарищи, нам нужны только женщины-добровольцы.

— Нас провели в комнату, где за столом заседали несколько человек и стояла группа вооруженных солдат. Нас поставили к стенке. Солдаты вышли, приведя еще двоих. Оставшиеся, видя, что пробиться не удастся и дело плохо, зарыли оружие в кучу мусора. Через десять минут вся группа была в сборе. Солдаты навели винтовки: «Руки вверх!» Все подняли руки. Начался обыск. У нас ничего не нашли, но, разрыв мусор, обнаружили оружие. Часовые привели еще какую-то доброволицу. Я ее несколько раз встречала в коридоре. Хорошенькая, лет двадцати, нашего батальона или из отряда Бочкаревой — не знаю. Она работала переписчицей у них. Однажды, когда я проходила, она шутя стукнула меня по голове рукой. «Какой пупс!» — со смехом проговорила она.

— Зачем вы привели Д.? Она у нас работает. Отпустите!

Арестованных вывели на улицу и погрузили на грузовик.

Впрыгнувший солдат связал всем шпагатом руки. Грузовик двинулся. Несмотря на то что было не более трех часов ночи, у всех продовольственных лавок, на морозе, стояли длинные очереди. Автомобиль то и дело обгонял толпы арестованных, ведомых солдатами и матросами. Наконец грузовик остановился у громадных ворот — Петропавловская крепость! Ворота распахнулись, и мы въехали под мрачные своды.

— Здесь похоронены, так сказать, наши бывшие цари, — проговорил конвоир.

Нас ввели в большую комнату. За письменным столом восседал рыжий солдат. Сейчас же к нашей группе присоединили поручика с простоватой, неприятной наружностью.

— Будьте осторожны, похоже, что это шпик! — шепнул нам ударник.

Через несколько часов всех перевезли в Смольный институт. За большим столом сидел Бонч-Бруевич, окруженный восемнадцати-двадцатилетними парнями, которые усиленно дулись, изображая из себя начальство. Начался допрос.

— Кто вы по профессии? — обратился Бонч-Бруевич к Прокопчук.

— Сельская учительница.

— А вы? — повернулся он ко мне.

— Сестра милосердия.

— И вам не стыдно? В то время когда страна переживает великие события и мы нуждаемся в медицинской помощи, вы беретесь за оружие против своих братьев?

— Я с вами, господин комиссар, работать не буду.

Молодой рабочий, сидевший рядом с ним, подскочил как ужаленный:

— И не надо, наши заводские будут ухаживать лучше вас!

— Извините, товарищ, — решительно, хоть и любезно обратился к нему Бонч-Бруевич. — Сейчас я здесь допрашиваю. — И, повернувшись ко мне:

— Прискорбно это слышать. Это, конечно, ваше дело!

Он сейчас же повернулся к красивому ударнику Демьянову:

— А вот вы, товарищ, вы! Мне было бы очень приятно, чтобы вы были большевиком!

Демьянов с презрительной усмешкой отвел от него взгляд. Обратясь еще кой к кому с вопросом, Бонч-Бруевич начал писать.

Вдруг дверь открылась и вошел в штатском с иголочки наш бывший ротный, приходивший на ученье в компании «мадемуазель». Пожав руку Бонч-Бруевичу, он окинул взглядом нашу группу, на секунду задержался на мне. Конечно, узнал! Бонч-Бруевич сделал знак конвойным, и те, окружив нас, вывели из комнаты.

Спускаемся в подвальное помещение; дохнуло затхлостью. В коридоре у всех дверей стоят часовые. Провели вглубь. Часовой открыл дверь в камеру, где сидело уже человек двадцать пять. Передавая нас, матрос предупредил:

— Начнутся разговоры на политическую тему — бей по голове прикладом. Не берет приклад — бей штыком. Не берет штык — бей пулей!

Кого здесь только среди заключенных не было! Гимназист, присяжный поверенный, чиновник, «буржуй», офицеры и т. д. Здесь же сидели трое убийц министров Шингарева и Кокошкина.

Явившись в госпиталь, где эти министры лежали больными, они их пристрелили в кровати. Двум из этих сорванцов было лет по двадцать, а третьему, с шевелюрой, как у Троцкого, лет двадцать пять. За все пребывание в подвале ни один из заключенных не промолвил с ними ни слова. Те же, видимо, чувствовали, что опасаться им нечего, и вели себя очень весело. Целый день тузили друг друга, боролись и хохотали.

Нам на обед приносили ведро бурды, которую, за неимением ложек, хлебали по очереди. Но этой же тройке пища приносилась в котелках, та же, что и конвойным.

Поручик, присоединенный к нашей группе, оказалось, сидел за дебоширство в пьяном виде. Он был запанибрата со всеми конвойными, с матросами был на «ты» и пожимал им руки, прося ускорить его дело. Как-то он вздумал поиздеваться над добровольцами. Я с ним сцепилась…

— И вы станете утверждать, что при полной нагрузке сможете проделать двадцать пять верст?

— Двадцать пять не приходилось, а восемнадцать почти с

полной накладкой делали!

— И даже с противогазом?

— Нет, без него.

Он, издевательски захохотав, махнул рукой.

Самое же страшное в нашей камере — это были насекомые, ходившие стадами (когда через одиннадцать дней нас перевели в женскую тюрьму, в одиночное заключение, то надзирательницы ахнули, увидев мое изгрызанное и исчесанное тело, точно покрытое экземой).

С нами сидел очень симпатичный рабочий тридцати одного года: «С восемнадцати лет, при царе, я как революционер попадал из одной тюрьмы в другую. А при большевиках, как видите, тоже попал, но уже как контрреволюционер. Грамоте я выучился по тюрьмам…».

Нам с Прокопчук уступили узкую кровать, на которой можно было лежать, только вытянувшись. Остальные заключенные спали на столах и под столами на грязном полу. Каждую ночь кого-нибудь вызывали с вещами. Наступила наша очередь с Прокопчук и еще нескольких человек из нашей группы.

Мы были выведены в коридор, где уже стояли арестованные из других камер. Сердечно простившись с остающимися, мы последовали за конвоем. У ворот ждал громадный грузовик. Места для всех не хватило, и четверых усадили в легковую машину. Мужчин отправляли в «Кресты» и пересыльную тюрьму, нас же — на Выборгскую сторону, в женскую тюрьму одиночного заключения.

Тюрьма была новая, построенная при Николае II. После подвалов Смольного было ощущение, что попали в первоклассную гостиницу. Сделали ванну, выдали грубого полотна рубашку, платье, косынку и арестантскую курточку. Чистая камера на третьем этаже. Под потолком крошечное окошко с решеткой. Вделанная в стену железная кровать, стол, табуретка и полка. Волосяной матрац с подушкой и шерстяным одеялом. Алюминиевая кружка, тарелка, кувшин и деревянная ложка. Тут же уборная с крышкой и проточной водой. Под потолком электрическая лампочка. Паровое отопление. В дверях для подачи пищи окошко, закрывавшееся на ночь, и глазок.

Все надзирательницы, за исключением старшей, лет сорока злого цепного пса, были на редкость сердечные. Нам, политическим, не разрешалось ни с кем разговаривать. На прогулку во двор выводили на пятнадцать минут, тоже в одиночестве. Я от прогулок отказалась. Во-первых, при стоящих морозах я замерзала, да и вид клочка неба напоминал мне, что я в неволе. В отсутствие старшей нам надзирательницы делали

поблажку, разрешая через окошечко перекидываться фразами с другими заключенными. Иногда и сами надзирательницы вступали с нами в разговор.

В нашем коридоре сидели: несколько воровок; возлюбленная князя Д., стрелявшая в него, когда он захотел с ней порвать и жениться, страшная скандалистка, еженедельно отправляемая в холодный карцер за ее грубость старшей надзирательнице; убийца пятидесяти восьми лет, всю жизнь терпевшая тирана-мужа, бившего ее смертным боем, которого она зарубила во время сна топором. Разрубив потом его тело на части, голову сварила в котле, а изувеченные до неузнаваемости части тела разбросала по городу. Воровка — интеллигентная барышня восемнадцати лет, со дня революции попавшая за воровство в тюрьму и уже сидящая в третий раз… «Ты опять к нам пришла?» — спросила ее надзирательница. «Да не пришла, а привели!» — смеется в ответ. Сидела также княгиня Куракина, за саботаж, и две шведки, одна сорока двух лет, симпатичная богатая дама, хорошо говорившая по-русски. Она хотела вынуть из сейфа свои драгоценности и угодила за это в тюрьму. Вторая, девятнадцатилетняя шведка, была доставлена прямо с бала в роскошном синем платье за отказ сотрудничать с большевиками. По-русски не говорила.

Прокопчук сидела через камеру от меня. Раз надзирательница открыла мою камеру: «Идите проведать свою товарку!» Обрадовавшись, что мы вместе, забыв всякую предосторожность, пустились мы в разговоры и громко захохотали. Вдруг смех замер у нас на губах… В окошечко смотрело злое лицо старшей надзирательницы. «Это что еще за теплая компания! Марш к себе!» Она открыла дверь, и я, как провинившаяся школьница, рысью помчалась обратно. За себя я не боялась. В крайнем случае попаду в холодный карцер. Но, Боже, как мы подвели нашу добрую надзирательницу!

На следующий день новая надзирательница сообщила, что устроившую нам свидание надзирательницу увольняют. На другой день, перед закрытием окошек, она пошла прощаться с заключенными. Ее все так любили! Увидела я ее и у моего окошка с протянутой рукой:

— Прощайте, голубчик, увольняют!

Я схватила ее за руку:

— Дорогая, скажите, это я с Прокопчук вас подвели?

Она с улыбкой, как у ребенка, похлопала меня по щеке:

— Нет, милая, успокойтесь. Просто сокращение штата. Я скоро все равно должна была уйти сама, так как жду ребенка. А если бы даже и так, то моя совесть спокойна. Я против заповедей

Христа не поступила, а людской суд меня не страшит…

В это время с моим окошком поравнялась хорошенькая девочка пятнадцати лет в сопровождении банщицы.

— Пойди сюда! — позвала ее надзирательница. Она ее обняла за плечи. — Вот, тоже полюбуйтесь! Еле из пеленок вылезла, а уже попала за решетку!

— Как, разве это не дочь кого-нибудь из служащих?

— Нет, сидит уже полтора месяца.

— За что?

— Я душа заговора, — засмеялась девочка. — Я сирота. Мама умерла, когда мне было тринадцать лет. Она оставила мне маленький домик; я сдавала комнаты и на это жила. У меня поселились ударники. Пришли их арестовывать, сказав, что они устроили какой-то заговор, а заодно и меня тоже. Сказали, что я — душа заговора!

— Боже, что делается на свете! — вздохнула надзирательница. — Скоро грудных младенцев начнут прятать по тюрьмам за то, что не по-советски сосут у мамки сиську…

Дней через пять надзирательница сообщила:

— К нам сегодня привезли смертницу.

— Кто такая?

— Какая-то молодая баба. Вместе с двумя мужчинами совершила вооруженный налет, а когда прибыли красногвардейцы, стали отстреливаться. Все приговорены к расстрелу. Казнь состоится на рассвете.

В эту ночь я не ложилась спать, сидела прислушиваясь. Электричество горело всю ночь. Перед рассветом раздался громкий треск открываемой двери. Послышались шаги нескольких человек. Со звоном щелкнула открываемая камера. Мужской голос что-то тихо произнес. Через несколько секунд послышались удаляющиеся шаги… Хлопнула дверь… Все стихло. Я перекрестилась: «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоея…».

Из тюрьмы разрешалось писать на волю: по получении от меня письма пришла навестить доброволица Каш. Меня провели в приемную, перегороженную поперек, на расстоянии аршина, двумя решетками. Надзирательница оставила нас одних на пять минут. Начальником тюрьмы был бывший рабочий, тридцати одного года, на редкость симпатичный человек. Как-то для развлечения заключенных он разрешил какому-то приезжему господину устроить чтение о «Сыне Человеческом» (о Христе). Все были собраны в зал, где по окончании хором поблагодарили за доставленное удовольствие.

Второй раз по молодости лет, не подумав, что могу подвести

человека, написала знакомой адрес поручика Сомова, прося сообщить ему о моем аресте. Впоследствии, после освобождения, зашла к ним. Она мне говорит: «Когда я сказала, что вы из тюрьмы сообщили мне его адрес, он схватился за голову: «Боже! Что она наделала!..»» Возможно, что он скрывался. Лет пять назад, переписываясь со знакомой, я узнала, что поручик Сомов был большим другом ее двоюродного брата и что в 1918 году он был расстрелян большевиками. Страшное подозрение закралось в голову… Описав в письме случай с письмом из тюрьмы, я задала вопрос, не я ли была Иудушкой, предавшим Сомова на расстрел. Две недели я не находила себе места, пока не пришел ответ: «Нет, его выдали солдаты его полка».

Раз я получила передачу, присланную уехавшей Котликовой ее родителями из Сибири. Уезжая, она просила сестру милосердия из госпиталя передать ее мне. Сухари, несколько кусков сахару и коробка из-под гильз с папиросами. Продукты я поделила с Прокопчук, а папиросы передала ей все, так как сама не курила.

Через два дня к окошечку подошла заключенная-воровка:

— Товарищ, возьмите мой паек хлеба, а если вам еще принесут папиросы, то дайте мне одну.

— Не нужно! Возьмите ваш хлеб, так как мне никто больше не принесет папирос. Если будет передача, то я вам и так дам с удовольствием.

Хлеб взять обратно она отказалась.

Раз я услыхала стук по окошечку. Молодая шведка быстро сунула коробку открытых сардинок и исчезла. У кого были деньги, тот в тюремной лавочке мог купить сардинки, сельди и фруктовое повидло. Побывали у меня и две дамы из благотворительного общества. Я попросила кусок мыла и зубной порошок.

Пользуясь отсутствием цербера — старшей надзирательницы, дежурная иногда выпускала кого-нибудь из заключенных погулять по коридору. Выпущенная как-то пожилая шведка со мной заговорила:

— Ах, вы знаете, я так боюсь! Как только услышу по коридору мужские шаги, мне кажется, что это идут за мной, чтобы вести на расстрел. И мне делается дурно…

Надзирательницы, отчаявшись запретить нашей певунье петь, просто махнули на нее рукой, но старшая, получив на требование замолчать дерзкий ответ, позвала сторожа, единственного человека, которого заключенная боялась. «А ну, вылетывай!» Та быстро схватила подушку, единственное, что разрешалось брать с собой в карцер, и побежала впереди него, ожидая, по-видимому,

затрещины.

Что мучительно давало себя чувствовать, так это голод. Утром получали кувшин кипятку, кусочек кирпичного чаю, один кусок сахару и на весь день 200 граммов черного с соломой хлеба. На обед три дня давали соленую жижицу с запахом селедки и немного ячневой каши-размазни на воде. Три дня — суп из протухшей свинины с тремя кубиками мяса и просяную размазню. От голода, заткнув нос и затаив дыхание, быстро проглатывали жидкость, но от мяса несло такой падалью, что не было сил проглотить — лезло обратно. И только в среду был «пир горой»! Гороховый суп на воде и гречневая каша. В этот день у меня бывало ощущение, что накормили пирогами!.. А вечером опять немного каши.

Одиночное заключение сказывалось. В душу начало закрадываться отчаяние. Сколько еще времени придется быть полу-погребенной? Может быть, месяцы, а может, и годы… Однажды я не могла долго уснуть, перебирая в памяти события. Я не выдержала, и тяжелый стон вырвался из груди. Я сейчас же услыхала быстрые шаги надзирательницы, и в глазок показался ее глаз. В это время вся большевицкая верхушка переехала в Москву, а новое начальство начало кое-кого освобождать. За нас хлопотал Политический Красный Крест. Через два месяца меня с Прокопчук вызвали в канцелярию и в сопровождении солдата повели в какое-то учреждение, где дали подписать бумагу. Вернулись обратно, и надзирательница нам сообщила:

— Вы свободны!

Я обратилась к ней:

— У меня по прибытии отобрали два патрона. Это я спрятала на память о первом бое в Зимнем дворце. Нельзя ли их получить обратно?

Та засмеялась:

— Благодарите, что вам жизнь со свободою вернули, а про патроны забудьте.

Она нас провела к воротам. Часовой открыл тяжелую дверь, и мы очутились на свободе.

С каким наслаждением я втянула струю холодного воздуха! Казалось, что пахнет он иначе, чем в тюрьме. На проезжающей подводе сидела баба.

— Куда вы идете? — сокрушенно покачала она головой.

— Домой! — засмеявшись, крикнула Прокопчук.

На одном из поворотов мы пожали друг другу руки и разошлись навсегда.

Глава 15. НА ДОН

Утренняя прогулка после долгого пребывания в тюрьме сказалась, и я с трудом передвигала ногами.

— Бочарникова! — Передо мной стоял ударник-пятигорец. — Вы давно освобождены?

— Только что из тюрьмы.

— Уезжайте немедленно. С. с неделю как освободили, а вчера вновь арестован. Я сегодня покидаю Петроград. Уже сделал все документы.

— Да мне ехать некуда! Я из Тифлиса, а на Кавказ не пропускают.

— Нет, уже пропускают. Я сам с Кавказа.

Он дал мне нужные адреса, и мы расстались. Чуть ли не на четвереньках добравшись до Благотворительного общества, где я раньше снимала угол, я замертво повалилась на койку.

Через два дня все было готово. Забрав вещи с деньгами у Саморуковых, я отправилась на Варшавский вокзал. Народу в теплушку набилось как сельдей в бочку. Раздался третий звонок. Вагон дрогнул… Прощай, Петроград!

Обязанности контролеров в большинстве случаев исполняли солдаты, ничего не понимающие в билетах. Я билета не купила, хотя у меня было 260 рублей (100 руб. выдала Лига равноправия женщин и 160 — Политический Красный Крест). Я нахально предъявила вместо билета удостоверение от какого-то учреждения, где разрешался свободный проезд до Тифлиса. Мне его проштемпелевали, и так пошло дальше.

В Москве на вокзалах висели предупреждения: «Не доверяйте своих вещей солдатам!» Но я все-таки попалась. Заговорила с солдатом, ехавшим, по его словам, на Кавказ. Я спросила, берут ли там только вышедшие керенки, так как все деньги у меня были именно в керенках.

— Нет, нужно их обменять. Идемте в город, покупайте мелочь, и вам будут давать сдачи.

Мы так и поступили, покупая сразу вдвоем. У него сдачи от моих денег оказалось 105 рублей, а когда я на вокзале повернулась, чтобы взять из хранения багажа свои вещи, его и след простыл.

Вечером выехала из Москвы. На рассвете подъехали к станции Горки. От купленных в Москве сарделек я расхворалась и, чувствуя приступ тошноты, вылезла из вагона. И вдруг мой поезд свистнул и тронулся. Я бросилась бежать вдогонку, так как ехала в предпоследнем вагоне, надеясь ухватиться за буфера,

подняться на мускулах и встать на площадку, но ног не успела подобрать, и меня поволокло. Поезд набирал скорость, начало качать, а меня мотает из стороны в сторону. «Бросьте, товарищ, убьет!» — крикнул мне солдат с площадки. Я отпустила руки, и меня с силой отбросило головой на рельсы. Из глаз посыпались искры… Два солдата на платформе, видевшие эту сцену, подбежав, подняли меня под руки привели на вокзал и обмыли в кровь разбитую голову.

Вещи мои уехали, а вместе с ними и… моя смертушка. Уже через четыре часа начались первые обыски. По мере приближения к Дону, где шли бои с Добровольческой армией, они участились по нескольку раз в день. Искали оружие. А ведь я везла на память части от своей винтовки: штык, затвор и шомпол и множество фотографий Женского батальона, так жгуче ненавидимого солдатами. Меня спасло сходство с мальчишкой. Раз контролер пришел в недоумение, что моя фамилия кончается на «ва». Я сказала, что я из Женского батальона.

— Так-то, молодой человек! — улыбнулась она.

В другой раз во время проверки документов на станции я соскочила набрать во фляжку воды.

— Мальчик, твои документы! — крикнул часовой.

— Я уже предъявляла!

— Предъявляла? А ну-ка покажи! А я их и не признал, — засмеялся он.

Впоследствии, когда я служила сестрой милосердия в 1 — м Кубанском стрелковом полку, во время эпидемии сыпняка мы с сестрой Марианной лежали больные в госпитале в Новороссийске. Нас пришел навестить командир полка полковник Димитриев. Проходя мимо кроватей, он вглядывался в лица. Меня не узнал. Слышу, спрашивает Марианну:

— А где Маруся?

Та мотнула головой:

— Вон она…

— Где?

Я засмеялась:

— Здесь, господин полковник!

— Да разве можно узнать? Мальчишка лет пятнадцати лежит.

К соседке пришел муж.

— Почему к вам положили мальчика?

— Где?

Он показал на меня. Та засмеялась:

— Это сестрица!

Это-то сходство с мальчиком меня и спасало в дороге от неприятностей. На одной станции я разговорилась с женщиной,

которой нужно было отправить девятилетнюю племянницу к матери. Мне оказалось не по дороге. Вечером я села в теплушку, в которой ехали с фронта человек пятнадцать солдат. Им женщина и поручила довезти племянницу. Они сидели, закусывая, при свечке, а я забралась в дальний угол. Вдруг слышу, девочка спрашивает:

— А эта девочка с вами едет?

— Какая девочка?

— Солдатик.

— Да это мальчик!

— Нет, девочка.

— Откуда ты знаешь?

— Она разговаривала с моей тетей.

«Ах, — думаю, — чтоб ты скисла с твоим языком…» Я моментально прислонилась к стенке и, свесив голову на грудь, закрыла глаза.

— Товарищ, закурим? — Чиркнула спичка, и несколько секунд молчания. — А верно, девочка…

Как только они угомонились и потушили свет, я на первой же остановке соскочила и пересела в другой вагон. Дальше на одной станции, в ожидании пересадки, я разговорилась с дамой. «Если бы вы знали, какого ужаса свидетельницей мне пришлось быть сегодня! Матросы с солдатами проверяли на станции документы. Сделав шаг, чтобы взять у четвертой пассажирки бумагу, солдат зацепился за что-то ногой. У первой дамы из-под пальто клеш торчало что-то металлическое. Ее раздели, она оказалась обвешанной частями пулемета. На допросе заявила: «Мне было все равно умирать. Мой муж, татарин, заявил, что, если я откажусь провезти, он меня застрелит». Так ли это было или она скрывала правду, неизвестно. Ее тут же приговорили к смерти. Все пассажиры высыпали смотреть на казнь. Я думала, что сойду с ума от ужаса, и в то же время не было сил отвести взгляда от этой страшной картины. Матрос, опоясанный шашкой, отвел ее аршина на два от вокзала, пальто было снято, и велел женщине держать руки прижатыми к телу. Он первым ударом отсек ей руку. Кровь хлестнула фонтаном. Женщина только передернула плечами. Вторым ударом матрос отсек ей вторую руку. Она не дрогнула. Шашка взвилась, но зацепилась только за ее макушку. Смертельно бледная, женщина пошатнулась, но устояла на ногах. И наконец, четвертым ударом матрос наотмашь отсек ей голову. Умирать буду, а это страшное зрелище будет стоять перед глазами. Нас, женщин, принято называть слабыми существами. А мужеству этой женщины мог бы позавидовать любой из мужчин».

За два дня до прибытия поезда в Туапсе я в вагоне

подружилась с двумя солдатами, симпатичными ребятами, ехавшими с фронта домой. В Туапсе к нам присоединились еще человек восемь, едущих на Кавказ. Двое выбранных пошли просить капитана парохода провезти нас бесплатно до Поти, что тот и разрешил.

Не доезжая двух часов до Поти, нам встретился пароход, едущий в сторону Новороссийска. Как оказалось, на нем отплыла вся наша семья, за исключением двух братьев, приехавших проводить семью, с которыми я случайно встретилась на пристани. До выяснения, где наши остановятся на жительство, я поехала с братьями в Тифлис.

Вместо эпилога. СУДЬБА КОМАНДИРОВ И ДОБРОВОЛИЦ

Поступив впоследствии в Добровольческую армию, сначала в 1-й Марковский полк ротным фельдшером, а затем в 1-й Кубанский стрелковый полк, с которым я прошла весь поход, я узнала о судьбе наших офицеров и добровольниц. Командир Женского батальона капитан Лосков, как и его адъютант, оба убиты в Добровольческой армии. Там же убит командир 4-й роты капитан Долгов. В Марковском полку еще служил начальник пулеметной команды поручик Булыгин. С ним я встретилась в Абиссинии и в Аддис-Абебе. Переехав во Францию, я узнала из газет, через несколько лет, о его смерти, кажется, в Бразилии. Начальник конных разведчиков поручик Хомутов, служивший там же, живет в Париже. Командир 3-й роты капитан Шагал, женившийся на своем фельдфебеле — очаровательной Стебель-Каменской, живет в Париже, и они уже имеют внуков. Наш бывший кособрей Самойлова служила в Марковском полку санитаром. Бывший взводный — пулеметчица Нейман служила сестрой, а Краснинг — добровольцем. В Первом походе Нейман была тяжело ранена в ногу с повреждением кости. За неимением подводы, при отступлении была оставлена в станице вместе с Самойловой. И когда уже полк выступил, нашли подводу и ее вывезли. Вахмистр конной разведки княжна Черкасская служила добровольцем в артиллерии. Под Новочеркасском, когда уже кругом кипел бой, ее довенчивали с поручиком Давыдовым. «Скорее, скорее!» — торопили брачующихся. «Дайте довенчаться…» — молили они. Обряд окончен. Сняв белое платье и драгоценности, занятые у полковой дамы, она, переодевшись в форму, вступила в бой и через три часа была осколком убита. Несчастный муж с горя чуть не лишился рассудка. Гроб при погребении везли на лафете.

И я… В Добровольческой армии раненная и контуженная в голову, уже 25 лет как оглохла совсем и три раза делался паралич глаза, восстанавливаемый пикюрами. А тяжелая болезнь позвоночника сделала меня стопроцентным инвалидом. Живу уже восьмой год в Инвалидном доме, по предсказанию врачей — кандидатка в паралитики. Живу воспоминанием о прошлом и надеждой на скорое переселение в лучший мир… И благодарю Всевышнего за Его великие и богатые милости.

З.С.МОКИЕВСКАЯ-ЗУБОК

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ, ЭВАКУАЦИЯ И «СИДЕНИЕ» В ГАЛЛИПОЛИ ГЛАЗАМИ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

(1917–1923)

Зинаида Мокиевская-Зубок Гражданская война в России, эвакуация и «сидение» в «Галлиполе» глазами сестры милосердия военного времени (1917–1923)

В 1974 году, вскоре после высылки из СССР, А.И. Солженицын обратился с призывом ко всем еще здравствующим свидетелям событий Гражданской войны в России отозваться и написать свои воспоминания об этом времени для задуманной им Всероссийской Мемуарной Библиотеки.

Моя мать, автор предлагаемых здесь воспоминаний, была добровольная сестра милосердия — с конца Первой мировой войны и на протяжении всей Гражданской. До поступления на ускоренные курсы сестер милосердия военного времени она подавала большие надежды как пианистка. Она долго колебалась, отозваться ли на вышеуказанный призыв, не будучи уверенной в своих литературных силах, говоря: «Я хорошо владею пальцами на клавишах рояля, но не пером». И все же она поддалась нашим уговорам, для пробы написала две-три страницы и отослала А.И. Солженицыну. Александр Исаевич заинтересовался, обменялся с мамой письмами и посетил наш дом в 1976 году. Встреча его с Зинаидой Степановной была сердечной; они как земляки вспомнили Ростов-на-Дону и условились, что мама будет писать свои воспоминания. С этого момента мама взялась серьезно за дело.

С тех пор прошло уже много лет, за это время мама скончалась (без трех месяцев не дожив до 90 лет), копии ее записей выцвели и перемешались; и, пересматривая недавно ее бумаги, я наткнулся на рукопись. Начав читать и заинтересовавшись написанным, я не мог оторваться, пока не прочел ее до конца. Мне стало ясно, что события, описанные моей матерью, далеко не заурядны, и особая ценность их в том, что писала непосредственная участница событий той исторической поры. Язык их простой и легкий.

Ставшая сестрой милосердия по идейным соображениям и добрая по душе, она глубоко переживала человеческие страдания и всячески хотела помочь. Поэтому и вызвалась на фронт, добровольно и сознательно пойдя на лишения и тяготы войны,

ставшей особенно тяжелой, когда она превратилась в братоубийственную, с одной только целью — помочь страдающему защитнику Родины, а в революцию — защитнику моральных устоев России. Все, что происходило тогда, глубоко врезалось в память, и, таким образом, 60 лет спустя, когда моя мать согласилась описать виденное и пережитое, она с поразительной точностью вспоминала имена, места и даты происходящего. Когда не удавалось, писала «не помню».

Все, что она видела, запомнила и передала на бумагу, является как бы частью семейной хроники, и для этого я взялся перепечатать воспоминания, разделив их по ходу действий на несколько глав (чего не было сделано в оригинале), чтобы моему младшему поколению, да и последующим, было легче воспринимать написанное. Мне бы хотелось, чтобы, читая о закате бывшей Великой России, они поняли, что в этих событиях, которые обрекли страну на последующие многия десятилетия кровавых мук и моральное падение, дедушка и бабушка принимали деятельное участие на стороне белых, борющихся за ДОБРО Родины. Как ни парадоксально, но за свою любовь к Родине они лишились ее на всю жизнь.

О.Л. Мокиевский-Зубок

Август 1995-го Оттава, Канада

Глава 1. РОСТОВ-НА-ДОНУ

В 1917 году я поступила на курсы сестер милосердия военного времени и в конце года была назначена в лазарет для военнопленных австрийцев. Лазарет помещался за городом, между Ростовом и Нахичеванью, в бывших казармах Таганрогского полка. Работая в лазарете для военнопленных, я все свое свободное время посвящала перевязочному пункту Добровольческой армии, который расположился в помещении вокзала железной дороги города Ростова. В то время на перевязочный пункт медицинский персонал приходил добровольно и из других лазаретов, но желающих было мало — многие боялись, так как подозрительные личности все время встречались в палатах перевязочного отряда. Ростов был окружен наступающими большевиками, раненых всегда было много, а среди них много учащихся: кадеты, гимназисты, реалисты (были подростки четвертого и пятого классов), юнкера, а также и офицеры. Там же помещался и питательный пункт для добровольцев-воинов, обслуживаемый местными дамами-патронессами.

В городе было много беженцев со всех концов России, искавших спасения на Дону. В январе переехал в Ростов со своим штабом из Новочеркасска генерал Корнилов и поселился в прекрасном особняке местного миллионера Паромонова. Политикой я не занималась, но прислушивалась и интересовалась, что говорили «политикане» о событиях. Несмотря на воззвания генерала Корнилова, местные и приезжие, призывного возраста и старше, мало и неохотно записывались в Добровольческую армию. Кафе и рестораны были переполнены штатской и военной публикой и спекулянтами, а защищали их почти дети. Многие штатские и местные офицеры не верили в «авантюру» и старались при первой возможности выехать в безопасные места, но вскоре за свою «нейтральность» они дорого поплатились.

В лазарете для военнопленных, где я работала, был многочисленный медицинский персонал. Большинство из них были евреи и галичане, студенты медицинского факультета, эвакуированные в Ростов с Варшавским университетом ввиду приближения к Варшаве фронта. Старший врач лазарета был мужчина — доктор Голуб, остальные врачи были женщины: доктор Нефедова, доктор Копия, доктор Миненко, доктор Блюма Львовна (фамилию не помню), доктор Сара (отчество и фамилию не помню) и другие, которых я уже не могу вспомнить. Сестры:

Цецилия Минц, Ядвига Галай, Школьницкая, Женя Галищева, Мария Галищева, Зина Демьяненко (это я) и другие, фамилии которых не могу вспомнить. Братья милосердия (студенты): Альфред Минц, Тейтельбаум, Гольдштейн и другие. Нас, сочувствующих Белой идее, было только четверо: из врачей доктор Нефедова, доктор Копия, из сестер милосердия — Женя и я (Зина). Каждый день мы с Женей ходили помогать на перевязочный пункт на вокзал. Так проработали мы до первых чисел февраля 1918 года, когда Добровольческая армия должна была отступить и оставить Ростов. Это было 8 или 9 февраля. Я хотела уйти с перевязочным пунктом и пошла домой, чтобы переодеться в теплое, но, когда возвращалась на станцию, там уже была слышна перестрелка — это местные железнодорожные рабочие стали преследовать отступавших добровольцев. Добровольцы шли врассыпную, поднимаясь по главной (Садовой) улице в город. Я шла к вокзалу (в сестринской форме), но меня остановил офицер и спросил, куда я иду. Я ответила, что иду на перевязочный пункт Добровольческой армии, который находится на вокзале. Он посоветовал мне не ходить дальше, так как там идет бой, а когда я спросила, где перевязочный пункт и раненые, он ответил, что ничего об этом не знает и куда идти, тоже не знает. Я повернула назад с целью найти раненых и весь отряд и пошла с отступающими добровольцами. Тут навстречу мне вышла моя подруга Нина Костанди, которая жила рядом, на этой улице. Она увидела меня в окно, вышла мне навстречу и почти насильно завлекла к себе на квартиру. Она объяснила мне ситуацию, говорила, что все пропало, большевики займут Ростов и это вопрос, может быть, нескольких часов. Сняла с меня сестринскую форму и сразу же, не дав мне опомниться, бросила ее в огонь кухонной печи, а меня убедила надеть штатское платье. На мои протесты заявила, что я своим «военным видом» могу подвергнуть и их опасности. Наутро в город вошли красные войска. Я осталась ночевать у Нины, а днем пришел мой младший брат узнать, не знает ли она что-нибудь обо мне. Он сообщил, что приходили к нам с обыском и искали «кадетскую сестру», но папа (мамы у меня не было) сказал, что дочь ушла и он не знает куда. Ища «сестру», красноармейцы забирали вещи, которые им нравились. Папа просил передать, чтобы я не показывалась домой до поры до времени. Потом явились в город матросы — «краса и гордость революции», вооруженные до зубов, и делали «чистку» города. Прислуга выдавала офицеров, в семьях которых служила. Бабы с окраины города с растрепанными волосами бегали с солдатами от дома к дому, указывая, где, как им было известно, есть офицеры. Несчастных выволакивали из домов и под конвоем

верховых гнали прикладами своих винтовок на вокзал, где и расправлялись с ними[17]. На вокзале железной дороги, на перроне, было много убитых добровольцев, среди них были и сестры милосердия. Благодаря счастливой случайности, я не разделила их участи.

С утра по городу ходили группы вооруженных солдат и обстреливали «буржуйские» дома. Я стояла у окна, прикрытого внутренней ставней, которое выходило на Садовую улицу, и в щелочку смотрела, что делалось на улице. Группы пьяных женщин и солдат распевали под гармошку «Яблочко» — женщины при этом отплясывали, подбрасывая награбленные вещи над головой. Доносились слова частушки:

Ой, яблочко краснобокое,
Ой, девочка краснощекая…

В это время я заметила группу вооруженных солдат, направивших дула винтовок на наш дом. Не знаю, какая сила меня толкнула, — я пригнулась, и в это время посыпались стекла — ставня стала как решето. Другого залпа не последовало, и я перебежала в переднюю, где было безопасней. К концу дня снова пришел мой брат справиться обо мне и повторил, что меня ищут и мне следует скрыться. Нина посоветовала надеть платье ее горничной, а я еще повязалась платком, как крестьянка, и пошли мы с ней к ее старшей сестре, которая была замужем и жила отдельно. Таким образом я скиталась в течение двух недель от одних добрых людей к другим (под видом прислуги), пока не уехали матросы из города и не наступила как будто тишина. Тогда я снова надела сестринскую форму и пошла в свой лазарет для военнопленных австрийцев. Доктор Нефедова сообщила нам с сестрой Женей, что многие добровольцы не успели уйти из города и скрываются в склепах на кладбищах, в водопроводных люках и других потаенных местах и что надо носить им пищу и штатскую одежду и помогать как-то выбираться оттуда и распыляться. Для этого сформировалась подпольная группа, через которую мы и будем действовать. Все строго должно было держаться в тайне, иначе мы не только их подведем, но и себя. Пока мы работали вчетвером, врачи Нефедова и Копия, сестры Женя и я; мы очень боялись доверить кому-либо свою тайну, а с подпольной группой имела связь доктор Копия, у которой муж был доброволец-офицер.

Поскольку у моего отца было большое знакомство с известными жителями города, то на моей обязанности лежало доставать штатскую одежду и деньги. Откликнулись все, к кому

бы я ни обращалась. Давали все, что я просила, и люди эти в свою очередь просили меня, в случае надобности, обращаться к ним снова, но, конечно, соблюдать осторожность. Я понемногу переносила вещи в лазарет, в известное только нам место, и отсюда доктор Копия передавала куда было нужно. Дальше нашей четверки я ни с кем не имела дела. Во главе подпольной организации называли военных с известными нам именами. Был «свой человек» в управлении ЧК (в то время возглавляемой латышом Лацисом), который доставал документы (тех времен пропуски на выезд из города) с печатями, и многих удалось вытащить из склепов и отправить в другие города.

Однажды я прихожу в лазарет, и от доктора Нефедовой мы с Женей узнаем, что отправили к поезду тридцать человек (я думаю, что отправили так много сразу потому, что, видимо, уже было спокойно и отправка застрявших добровольцев шла без помехи и гладко). Перед отходом поезда нагрянула облава и, как сообщили, искали этих тридцать человек. По-видимому, среди нас был шпион, который выдал. Нескольким добровольцам все-таки удалось прорваться, убежать под вагонами и скрыться, перемахнув через забор железнодорожной станции. Хотя в них стреляли, но все-таки некоторым удалось уйти. Один из них (а может быть, и больше) пришел обратно и рассказал про этот ужасный случай. Нашего благодетеля из ЧК арестовали. Что было с ним, я не знаю, но нетрудно догадаться. Мы на время приостановили работу, но позже удалось распылить всех остальных.

Был такой случай. В одном из склепов (кладбищ было несколько в городе) прятались несколько человек. Они не имели пищи и сильно изголодались. Один из них увидел проходящую старушку-нищую и попросил «добрую бабушку» принести чего-нибудь покушать, а «добрая бабушка» привела красноармейцев, и ясно, какая участь их постигла.

Испытала и я на себе случай человеческой низости. Когда красные заняли Ростов в 1918 году, а Корнилов с армией ушел на Кубань, некоторые сестры милосердия, не успевшие уйти, скрывали у себя отставших добровольцев, которые были или отрезаны от армии местными большевиками или ранены и не могли ходить. Одного такого приютила и я. Я его приняла в нашу семью с согласия моего отца. У этого молодца были отморожены пальцы на ногах (он был добровольцем, но не офицером, профессии я его не знала, а имя забыла), и я ему делала перевязки дома, чтобы он не показывался на улице и не привлекал бы внимания соседей. Когда как будто настала тишина в смысле «ловли кадетов», он начал выходить, но жил у нас.

Однажды, когда я пришла из лазарета домой, папа мне говорит: «Знаешь, Зина, опекаемый тобою твой «крестник» — подлец и очень опасный; он нас может предать». Я спросила папу, почему он так думает. На это папа рассказал, что этот типик потребовал большую сумму денег, которых наличными у папы не оказалось — банки были закрыты и денег не выдавали. Папа ему об этом сказал. Тогда он пригрозил, что если папа ему не достанет денег, то он скажет куда следует, что наша семья скрывает кадетов и т. п. Его не было дома, и я сразу же пошла предупредить других, чтобы были осторожны. Не знаю почему, но он больше не приходил. Заговорила ли совесть или он уехал, но больше он у нас не появлялся. Я очень беспокоилась не только за мою семью, но и за тех, кого он встречал у нас в доме, — так как ему доверяли и говорили при нем не остерегаясь, он даже принимал участие в наших разговорах и планах.

Сестра милосердия Женя, или просто сестра Женя, искала своего младшего брата, добровольца; она не знала, что с ним. Она попросила меня пойти с ней в здание университета, куда свозили трупы всех расстрелянных и замученных на «Колхиде» (в этом же здании университета разъяренная толпа по указанию какого-то тупоумного студента вывела профессора Колли и перед домом расстреляла). Женя попросила меня пойти с ней поискать ее брата там. Мне было страшно, но она очень просила, и я уступила. Со страхом мы вступили в огромный зал. Весь ужас описать невозможно, настолько все трупы были изуродованы, что опознать их можно было только по одежде или по особым приметам. До сих пор в моей памяти стоит этот огромный зал, где помещалось не меньше тысячи человеческих останков. Брата Жени мы не нашли, как позже выяснилось, он ушел в Кубанский (Ледяной) поход.

Траллер «Колхида» был ЧК. Все знали: кто туда попадал, обратно не возвращался. Тогда и пели частушку на мотив «Яблочка»:

Офицерик молодой, куды котися, —
На «Колхиду» попадешь, не воротишься…

Прошел март. За это время мы узнали, что генерал Корнилов снова идет со своим отрядом на Дон. В начале апреля (даты не помню) пронесся слух «из достоверных источников», что подходят к Ростову дроздовцы с Румынского фронта. Однажды приходит к нам в лазарет ученик старшего класса реального училища, он назвал мне фамилию, которая была мне знакома, — брат моей подруги Лели Петренко, курсистки местного университета, был

женат на сестре этого ученика, Евгеньева. Леля и вся семья Петренко были левого направления, и брат Лели, недоучившийся студент, политический ссыльный, во время революции был выпущен на свободу. Поэтому я отнеслась к Евгеньеву с подозрением и осторожностью. Меня удивило, что он знает меня и о моей причастности к подпольной организации, а я его не знаю. Он мне по секрету сообщил, что подходит к Ростову отряд Дроздовского и что у них образовалась группа учащихся и других добровольцев, готовых выступить, но у них нет оружия. Хотел, чтобы я посодействовала в его получении. Я, наученная горьким опытом, боялась, чтобы это не был подосланный шпион. Не зная его, я видела и его оплошность, если он не предатель. Я опасалась повести его к доктору Нефедовой и сказала ему, что ничего для них не могу сделать и не знаю, где можно достать оружие. (По его словам, у них был план забрать почту и телеграф, железнодорожную станцию и еще какие-то учреждения.) Я ему сказала: «Если вы хотите помочь Дроздовскому своим выступлением, то следовало бы подождать, пока окончательно не будет известно, что Дроздовский входит в Ростов, — вот тогда и понадобится ему ваша помощь, а в настоящем положении для вас это выступление может окончиться печально, ведь ваша группа никакой связи не имеет с Дроздовским. Вас горсточка, и вас перебьют, как куропаток». Он был очень огорчен и позже, когда я его встретила во Втором Кубанском походе, он меня укорил, что я не помогла им тогда. По своей молодости он не понимал, что я не знала ни его, ни его убеждений и что их поступок был бы опрометчив.

В апреле, перед Пасхой, мы вдруг услышали артиллерийскую канонаду. А перед этим несколько дней красные отправляли длинные составы товарных вагонов, нагруженные до отказа, в которых вывозили все, что могли награбить в городе. Поезда с награбленным добром должны были идти на Батайск по железнодорожному мосту через Дон. Артиллерия била по мосту, снаряд попал в паровоз, и поезд застрял посреди моста. Но мы еще не знали, кто подходит: генерал Корнилов или генерал Дроздовский. Во всяком случае, все с трепетом ожидали прихода избавителей. Но, как оказалось, подходили немцы. Большевики оставили город, угнездились в Батайске и оттуда били по городу из орудий. В Светлую Пасхальную ночь, когда люди шли от заутрени, красные начали стрелять по городу (это было в 20-х числах апреля). Много народу было ранено и убито. Говорили, что в эту ночь было выпущено до восьмисот снарядов. Разрушения были огромны.

Наутро немцы победоносно входили в город, и население

радостно встречало вчерашних врагов, а сегодня «избавителей», которые не преминули дограбить и в свою очередь стали вывозить эшелонами недограбленное большевиками. За ними пришли и дроздовцы. А позже вернулись из Ледяного похода и корниловцы, но уже без Корнилова, и остались в Новочеркасске на заслуженный отдых. Дальше начался Второй Кубанский поход, в котором и я, неугомонная, приняла участие. Со мною пошла и сестра Женя. Доктор Нефедова переехала в Новочеркасск, а доктор Копия встретилась с вернувшимся из Кубанского похода мужем и, как говорили, уехала с ним в Польшу. О ее дальнейшей судьбе ничего не знаю.

Доктора Нефедову я видела еще один раз, задержавшись проездом на несколько часов в Новочеркасске и побывав у нее дома. От нее я узнала, что она работает в больнице, не то в местной, не то в военном госпитале — точно не помню. Она мне рассказала о расправе над больными и ранеными добровольцами в одном из госпиталей Новочеркасска, когда я спросила о судьбе тех, которых мы отправили туда из Ростова. А было это так: почти в последний момент, перед уходом Добрармии из Ростова, срочно отправляли больных и раненых казаков и офицеров, жителей Новочеркасска и окрестностей, в новочеркасские госпиталя. Сестра милосердия Женя и я отправили одного офицера лейб-гвардейского полка, полковника Богуцкого, по просьбе родной сестры Жени. Помню, как мы торопились погрузить его в носилках в грузовик с еще несколькими ранеными, боясь, что не успеем отправить с последним транспортом. Доктор Нефедова слышала о нем от женщины-врача того госпиталя, в палате которой лежал этот полковник. Вооруженные красные выводили из госпиталя тех офицеров, кто мог ходить, а кто был тяжело ранен, тех выносили на носилках и расправлялись с теми и другими. Когда красные подошли к ее палате, она уже знала о расправах и, задержав их на пороге, спросила, что они хотят. «Я вас не могу впустить в палату, потому что она для сыпнотифозных, и здесь лежат больные тифом», — сказала доктор. Но они ей ответили, что им известно, что здесь лежит полковник, и они хотят его забрать. Доктор предупредила, что у полковника и у других больных очень опасная стадия заболевания, и тот, кто притронется к ним, неминуемо заразится. Красные ушли, обещая прийти за ним, когда он выздоровеет, и приказали ей сообщить об этом. Но они больше не приходили, так как корниловская армия уже возвращалась из Ледяного похода. Позже, уже в 1919 году, я видела полковника Богуцкого в Ростове.

К сожалению, ни имени этой женщины-врача, ни госпиталя, в

котором она работала, и на какой улице он находился — не запомнила, да и Новочеркасск я не особенно хорошо знала.

Таким образом, эта добрая и геройская душа, рискуя собственной жизнью, спасла не только полковника, но и других офицеров, которые находились в ее палате, потому что в ней не было ни одного сыпнотифозного.

Немного забегу вперед. В Ростове, на Таганрогском проспекте, был незадолго до революции отстроен многоэтажный дом вблизи Осмоловского театра. Для чего он был предназначен — не помню. Его заняли под лазарет Добрармии. Раненых было в нем много.

Тогда, при общем отступлении в декабре 1919 года, мы, несколько человек медицинского персонала 26-го Полевого запасного госпиталя, проезжая через Ростов, задержались для устройства дел в Санитарном управлении и ушли пешком через замерзший Дон в Батайск, где стоял санитарный поезд, переполненный ранеными. Это было незадолго до прихода красных в город. В поезде из медицинского персонала были только один врач и одна сестра милосердия, и мы присоединились к ним, чтобы помочь при отступлении (об этом напишу позже).

Подходящие из Ростова беженцы говорили, что лазарет около театра не смогли эвакуировать из-за отсутствия транспорта, и он был оставлен на попечение города. Раненые, которые могли ходить, ушли пешком, а тяжелораненые остались. Последние боевые части, покидавшие город, когда его уже занимали красные, сообщили, что это здание с оставшимися там тяжелоранеными красные подожгли и как будто видели висящие на сгоревших перекладинах дома обгоревшие трупы. За достоверность последнего не ручаюсь, так как сама не видела, но здание могли поджечь местные большевики.

Еще одно происшествие, свидетельствующее о зверствах красных (но сколько ни напрягала память, не могла припомнить даты этого события — оно случилось в дни оставления Ростова): помнится, красные засели в Батайске и очень беспокоили Ростов, но казаки их не пускали через Дон. Положение Ростова и Новочеркасска создавалось критическое — добровольцы дрались храбро, но они были все равно под угрозой победы красных — те превосходили их численностью, да, кажется, и амуниции не хватало. Тогда начальство (командующее) решило попытаться пойти с красными на переговоры, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению, и предложило красным прислать к ним делегацию из офицеров для переговоров. Красные дали слово, что офицеры вернутся невредимыми.

Поехала делегация из трех офицеров, и среди них был знакомый брата сестры милосердия Жени (имя его было Рубакин или Ивакин). Когда делегация из трех офицеров вышла из вагона поезда в Батайске, их встретила толпа озверевших красных и буквально растерзала. Их тела были доставлены назад тем же поездом в совершенно неузнаваемом виде — до того они были изуродованы. Так красные «сдержали» слово вернуть офицеров невредимыми. Оправдалась поговорка: «Для подлецов и дураков законы не писаны».

Хочу еще добавить о встрече с участницами известного Женского батальона, который доблестно и храбро сражался в Великую войну, а очутившиеся в Петрограде в октябре 1917-го около сорока участниц геройски защищали Зимний дворец и Керенского и почти все пали. Некоторым из Женского батальона удалось пробраться на Дон и продолжать борьбу с большевиками. С одной из них — Кочергиной — я познакомилась у моей двоюродной сестры Любови Николаевны Соболевой. Ее муж и она тогда были еще студентами медицинского факультета Ростовского университета. У них иногда собирались студенты, и я посещала их от времени до времени. Там я и встретила Кочергину. Она рассказывала про события, в которых она участвовала, но за давностью времен (почти 60 лет прошло с тех пор) — подробности я забыла.

Другой случай. Как-то в конце января 1918 года подошел в Ростов эшелон с ранеными и убитыми. Мы с Женей пошли на разгрузку, и в одном из вагонов лежала убитая в бою княжна Черкасская, воин из Женского батальона. Она лежала в гробу, и возле нее сидел ее муж, капитан Давыдов, убитый горем, наклонив голову, не спуская с нее глаз, никого не замечая. Картина производила тяжелое впечатление.

Вскоре я уехала из Ростова на фронт и потеряла всех из виду. Почтового сообщения вообще не было из завоеванных областей, а общаться приходилось с оказией, но и это не помогало. Мои родные справлялись обо мне и получали неверные сведения. Они не знали обо мне до тех пор, пока я сама не приехала в отпуск в Ростов летом 1918 года, сопровождая транспорт с ранеными со ст. Торговой.

Глава 2. ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД (1918)

С приходом Добрармии в Ростов в апреле 1918 года наш лазарет ликвидировали — немцы отправили военнопленных австрийцев домой. Медицинский персонал разбрелся, частью записались в армию, врачи-евреи уехали обратно в Польшу (Варшаву), а студенты, приехавшие из Варшавы с эвакуированным университетом, продолжили свое образование, так как университет навсегда остался в Ростове.

Мы с Женей решили записаться в Добрармию, на фронт, и пошли в отель «Монтре», где расположились представители отрядов и полков со своими бюро для набора добровольцев и медицинского персонала. Там были: корниловцы, марковцы, дроздовцы, шкуринцы и др. Когда мы поднялись на второй этаж, народу уже было много, все жужжали, как пчелы в ульях, и мы не знали, к какому столу подойти. Пока мы стояли в нерешительности, к нам подошли два дюжих казака и предложили, если мы желаем, записаться в отряд генерала Шкуро и сказали, что у них в отряде есть доктор и им нужны две сестры милосердия. Мы не дали определенного ответа и сказали казакам, что подумаем. Тут к нам подошел офицер-дроздовец, слышавший наш разговор с казаками, и посоветовал не записываться в отряд Шкуро. Он объяснил нам, что в отряде Шкуро все время придется ездить верхом, к тому же отряд этот делает набеги в тыл врага и такая служба не для нас. Мы после такого доброго совета, конечно, отказались. Здесь же я случайно встретила своего друга детских и гимназических лет М. Игнатова, офицера инженерных войск. Когда он узнал, почему мы сюда пришли, он нам предложил записаться к ним в отряд, сформированный полковником Селезневым. Мы приняли его предложение, записались и вскоре уехали с его отрядом. С нами ехала и жена начальника штаба отряда — Сумарокова.

Незадолго до отъезда я зашла к Жене проститься с ее мамой. Ее мама была очень набожной женщиной, читала только священные книги, и всегда, в свободное для нее время, можно было застать ее за чтением Библии. Она и раньше нам говорила о пророчествах, о том, что должно произойти. «Вы не знаете, — говорила она, — придет конец мира, брат пойдет на брата, будет голод и мор. Настанет время, когда люди будут прятаться в щелях, чтобы сохранить свою жизнь…» А когда настала Гражданская война и люди действительно скрывались в «щелях»

(водосточных люках, склепах и т. п.), я не раз вспоминала ее слова. Перед нашим отъездом она попросила нас отслужить напутственный молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, кем-то пожертвованной. Я с радостью согласилась и сказала ей, что эту икону пожертвовал в их церковь мой отец. Она очень удивилась, что я ни разу не пришла помолиться перед своей иконой. Но ей, как глубоко верующей, нельзя было доказать, что расстояние от нашего дома было довольно большое и я не могла собраться в эту дальнюю церковь, да и к стыду своему должна сознаться, что тогда я в церковь ходила редко, только в великие праздники, и то когда бабушка или старая няня пристыдят.

История этой чудотворной иконы такова. Когда-то, очень давно, в царствование Императора Александра I Царь с Царицею, проезжая в Бахчисарай через Таврическую губернию, проездом остановились в имении моей прабабушки (не знаю, какие отношения связывали мою прабабушку с Царской семьей) и отдыхали у нее от дальней дороги. Государыня подарила прабабушке икону, всю убранную драгоценными камнями, с частицей мощей какого-то святого. По-видимому, поэтому она и считалась чудотворной. Подробностей не знаю, так как слышала эту историю в детстве. Эта икона переходила по наследству как благословение к старшей дочери в роду и перешла к моей маме, затем должна была перейти к моей старшей сестре, но мама и сестра моя рано умерли, и папа в память их пожертвовал эту икону в самую бедную церковь. Народ так веровал в мощь этой чудотворной иконы, вероятно получая исцеления, что, как рассказывал священник, с утра и до позднего вечера служились молебны перед иконой и он едва успевал поесть. Зато церковь в короткое время из бедной сделалась богатой.

Перед этой иконой мать Жени повела нас отслужить напутственный молебен. Впоследствии много раз мне приходилось чудом выходить из тяжелого и, казалось бы, безвыходного положения, и я приписываю эти чудеса именно благословению Божией Матери, которой я искренне молилась перед отъездом. Что сталось с иконой после прихода красных — мне неизвестно. Надеюсь, верующие ее спасли, потому что этот район был заселен рабочими и бедным людом.

С отрядом полковника Селезнева в конце апреля или в начале мая мы приехали в станицу Мечетинскую. Там уже стоял штаб Деникина, и наш отряд расположился там же, а также и походный лазарет. Вскоре полковник Селезнев ушел с войсками на фронт, и через несколько дней г-жа Сумарокова сообщила, что полковник Селезнев убит.

Отряд был расформирован, и нас, сестер милосердия, прикомандировали к походному лазарету, а г-жа Сумарокова пошла за мужем в его часть.

Бои шли беспрерывно, и армия очень быстро продвигалась вперед. За армией продвигался и наш лазарет; передвигались на крестьянских телегах и возили за собой раненых. Как-то остановились в только что занятой станице Егорлыкской, помесив непролазную черноземную грязь, которая не успела еще высохнуть после весенних дождей. Здесь мы оставались недолго, жители разбежались, и станица была пустынна. Мы проголодались, а продуктов достать было негде. Узнали, что в станице есть какая-то лавчонка, где можно кое-что купить из съестного. Мы с Женей пошли в эту лавчонку и только вошли, как услышали свист летящего орудийного снаряда. Хозяин падает на пол, и мы последовали его примеру, что нас совсем не спасло бы. Снаряд зарылся в огороде вблизи дома лавочника, но, к счастью, не разорвался. Мы поспешили уйти из этого места, забыв, зачем пришли, и даже голод прошел. Я вспомнила напутственный молебен Божией Матери, чья рука отстранила опасность. Красные от времени до времени обстреливали станицу, и, вероятно, поэтому лазарет не задерживали там долго и двинули дальше. Перед отъездом мы пошли осмотреть станицу. Остановились на углу какой-то улицы, услышав опять свист летящего снаряда — как будто летит над нашими головами. Мы с Женей, по «опыту» в лавке, пригнулись к земле и вдруг слышим смех и возглас: «Сестры, кому вы кланяетесь?» И, о ужас! На другой стороне на углу перекрестка стоял генерал Деникин с офицерами своего штаба. Нам стало стыдно, и мы поторопились уйти. Им было смешно, что мы удрали, и они нам вслед смеялись. С тех пор я никогда больше не кланялась снарядам.

Вскоре была отбита у красных станица Торговая, и наш лазарет направили туда, где он расположился (или, как военные говорили, «развернулся») в здании какой-то школы. Коек, нанесенных из станицы, было очень мало. На них положили приехавших с нами тяжелораненых, а вновь прибывающих раненых клали прямо на пол, на солому. Условия были очень тяжелые и негигиеничные, медицинского персонала было мало. Один врач, пришедший с лазаретом, и другой, вероятно из станицы, были заняты все время в операционной и перевязочной. Сестер с дипломами было только три — старшая сестра, Женя и я, а несколько остальных, ничего общего с медициной не имевших, шли с обозом и помогали нам как санитарки или сиделки. Работа, ввиду недостатка персонала, была очень тяжелая, особенно на ночных дежурствах, когда нельзя было не только

спать, но и присесть, чтобы дать ногам отдохнуть от дневной беготни. Ночью света не было, о керосиновых лампах и думать нельзя было — работали при свечах, а свечей было ограниченно, поэтому обходы ночью делались впотьмах, и свечи зажигались, когда нужно было обходить тяжелораненых. Старшая сестра попросила меня взять в свое ведение палату с тяжелоранеными. Сиделки и санитары были хорошие помощники сестрам. Они носили пищу, помогали кормить тяжелораненых, подавали сосуды, и так круглые сутки. Раненые беспрерывно поступали с фронта, а лечение было слабое за неимением медперсонала и ограниченного числа врачей. Мест в палатах не хватало, и прибывающих раненых клали уже в коридорах, на солому. Нужно было лазарет разгружать, и медицинское начальство решило отправить транспорт с тяжелоранеными в Ростов. Старшая сестра сообщила, что выбор сопровождать транспорт с ранеными пал на нас, двух сестер милосердия, — меня и Женю. С нами ехали доктор с фронта, поляк, уезжавший к себе в Польшу, фельдшер и несколько санитаров. Передвигались на крестьянских телегах. Транспорт благополучно достиг Ростова, где доктор и фельдшер сами сдали раненых в лазареты, а меня и Женю доктор отпустил по домам.

Дома меня встретили с удивлением и радостью, так как дома были получены сведения, что меня уже нет в живых. Мой младший брат Сережа от меня не отходил, он очень меня любил (разница в годах с ним была восемь лет), не знал, куда меня посадить и что мне сделать приятное. Пробыла я в Ростове (это было в июне 1918 года) три недели, побывала у родных и знакомых, и наступил срок отъезда, конец отпуска.

За это время Женя встретила своего жениха и вышла замуж, а я возвращалась обратно одна. Здесь я немного отклонюсь и напишу больше о знакомстве с сестрой Женей. Называю ее «сестрой» по старинке. У нас в России до революции сестры милосердия назывались коротко: «сестра», а солдаты звали «сестрица». Слово «милосердия» вообще не упоминалось. Вот почему я часто пишу «сестра». Ни Женю, ни ее семью я раньше не знала, а после знакомства знала постольку, поскольку мне приходилось с ней работать вместе в лазарете и пройти часть Второго Кубанского похода. Иногда заходила к ней домой, где познакомилась с ее матерью. Встретилась и познакомилась с Женей у моих друзей, когда она уже была сестрой милосердия лазарета для военнопленных австрийцев. Я выразила тогда желание поступить сестрой в лазарет, но, к сожалению, очередные ускоренные курсы сестер милосердия военного времени еще не были открыты. Женя мне посоветовала

обратиться к старшему врачу их лазарета с просьбой разрешить работать волонтеркой у него в лазарете. Я последовала ее совету, и доктор разрешил. Проработала я в лазарете три месяца, а за это время открылись ускоренные курсы сестер милосердия при Общине св. Николая. По окончании курсов после короткого отсутствия, о котором напишу позже, с согласия старшего врача меня утвердили в этом же лазарете. Таким образом, я с Женей не расставалась до момента ее замужества.

Итак, двинулась я в обратный путь. До Маныча надо было ехать на пароходе. Придя на пристань, я не застала парохода. Не могу вспомнить — в этот день пароход или не шел, или уже ушел. На пристани я встретила еще одну сестру милосердия, Тоню Аверкиеву, которая также ехала из отпуска на фронт и тоже не застала парохода, как и я. Мы уже решили возвращаться домой до следующего дня, но неожиданно она увидела своего, проезжающего на тачанке, знакомого станичника-офицера, который возвращался из отпуска на фронт. Остановив его и познакомив нас, она рассказала ему, что мы не застали парохода. Узнав, куда мы едем, он предложил довезти нас до места на тачанке, так как ему это по дороге. Так мы втроем и поехали. Наступил вечер, ночь была темная, безлунная, наш возница заблудился, и дорога привела нас прямо в усадьбу Черновых. Там нас встретил управляющий имением или приказчик — не знаю, но очень неприветливо (как оказалось, он был заядлый большевик и офицеров ненавидел). Это мы узнали от горничной, которая угощала нас молоком. Едва дождавшись рассвета, мы поехали дальше. Вскоре мы приехали в станицу Торговую, и я отправилась в лазарет. Прошло еще несколько дней, и добровольческие войска заняли станицу Тихорецкую. Сразу же перебросили туда и наш лазарет, под который было занято помещение гимназии. С переездом в станицу Тихорецкую стало намного лучше. Прибавилось несколько докторов и сестер милосердия — легче стало работать. Здесь было электричество, оборудованы ванные комнаты, а ночные дежурства выпадали реже и не такие напорные. Не буду описывать станицу Тихорецкую, известно, какая она — почти город.

В то время под Екатеринодаром шли сильные бои, и раненые поступали беспрерывно. Их было так много, что лазарет не мог вместить всех, и даже коридоры были ими полностью заняты. Многие оставались на станции железной дороги в ожидальных помещениях на полу, на соломе. Чтобы разгрузить вокзальные помещения, заняли здание народной школы, где было только две небольших комнаты и одна маленькая для перевязочной, а в передней разместилась кухня, куда приносили и где

распределяли обед. Раненых, за неимением коек, клали на полу, на соломе. Ходячих было мало, больше лежачих, раненных в ноги или в грудь. В это отделение назначили меня, фельдшера и двух санитаров. (Назначение я получила от старшей сестры.) Мне сказали, что доктор будет делать обход утром и вечером, а меня будут сменять на ночное дежурство другие сестры. За пищей ходили санитары в кухню лазарета. Фельдшер сделал раз утренний обход и больше не приходил, по всей вероятности, задержали в лазарете, так как фельдшеров было очень мало и их больше посылали в полки — на фронт. Врачи были заняты в операционной, и никто из них ни разу сюда не показался, может быть, им и неизвестно было об этом маленьком отделении. Обещанная смена сестер на ночное дежурство также не приходила. Пробовала я послать санитаров сообщить, что здесь нужна медицинская помощь и я жду доктора, но мои сообщения были гласом вопиющего в пустыне. Санитар, как нижний чин, не мог ничего добиться. Написала записку в канцелярию, но и это не помогло. Казалось, что о нашем отделении там не имеют понятия. Так прошло трое суток, и я решила на следующее утро сама пойти в лазарет.

Я старалась как-то сгладить создавшееся положение, чтобы раненые не волновались. Надо отдать справедливость терпению раненых — все они покорно переносили эту ситуацию и, наверное, зная все от санитаров, не задавали мне никаких вопросов. Делала все, что было в моих силах и знании, — перевязывала, подбинтовывала промокшие раны, подбадривала. Особенно было трудно ночью — приходилось также бороться со сном и усталостью. Санитарам я разрешала спать, так как с утра у них было много работы, но, когда мне нужна была их помощь, я их будила. Утром им приходилось бегать на кухню, помогать мне кормить лежачих, подавать сосуды, умывать, исполнять просьбы больных и т. д. Так прошло трое суток, бессменно и без сна, и я не смела оставить раненых без присмотра, чтобы самой сходить в лазарет.

На четвертый день утром нагрянул с обходом доктор Трейман Федор Федорович, помощник начальника санитарной части Н.М. Родзянко (сына знаменитого отца).[18] Я обрадовалась его приходу. Он заметил, что я очень плохо выгляжу, спросил, не больна ли я. Когда я ему объяснила положение, он удивился и моментально распорядился всех лежачих раненых отправить в лазарет. Доктор Трейман сочувственно отнесся ко мне, расспросив санитаров и больных и узнав, что я трое суток была без смены, приказал немедленно меня сменить. Сразу же появились врач и сестра и даже фельдшер. Доктор Трейман

сделал выговор старшему врачу лазарета, допустившему такой беспорядок. Но, как оказалось, мои донесения до него не доходили. Канцелярия ему почему-то не докладывала. Я вернулась в главный лазарет и там встретилась с новой сестрой милосердия — Лисицкой Варварой Митрофановной. Мы очень быстро подружились, и она ко мне относилась с любовью, как к младшей сестре, — она была немного старше меня. Вскоре к нам в лазарет была назначена еще одна сестра милосердия — Леонова Магдалина Митрофановна, племянница донского атамана А. Богаевского. Мы трое сошлись по характеру и крепко сдружились. Друг друга называли уменьшительными именами: Линочка, Зиночка, Вавочка. Имя Вавочка мы дали Варваре по нашумевшему роману Вербицкой[19].

Была с нами в дружбе еще и экономка лазарета Олимпиада Семеновна. Она почему-то только нас трех выделила из всех сестер лазарета. Уже немолодая, сухая, высокая, она была жительницей Тихорецкой, по нраву добрая, ласковая, милая, каких можно было много встретить на Руси в старое доброе время. Она нас баловала вкусными домашними сладостями, которые приносила из города. В уголке проходной комнаты она устроила свою «канцелярию», как она называла свой стол, где делала ежедневные записи в приходо-расходную книгу, а в углу стоял ее заветный шкаф, в котором она хранила свои запасы домашнего печенья, варенья, сухих фруктов и т. п. Иногда мы втроем, ради шутки, заглядывали в этот шкаф полакомиться в ее отсутствие. Когда она обнаруживала утечку — ловила нас и выговаривала: «Ах! Так вот вы какие! Опять «похрумали» сладенькое. Ах вы, сладкоежки!» Мы ее обнимали, целовали, и ее сердце смягчалось. С милой и доброй улыбкой она нас приглашала к себе на чай, после ужина. Относилась к нам, «тройке», по-матерински. Но недолго продолжалось наше счастье заглядывать в ее заветный шкаф. В станице вспыхнула эпидемия холеры, и было строго запрещено принимать подарки в виде продуктов от родственников раненых. Принимались только фрукты и овощи, которые сразу же поступали в котел. Нам, сестрам, строго запрещалось прикасаться к приносимым продуктам, нужно было сразу отправлять их к заведующему хозяйством. Дыни, арбузы и домашние печенья не принимались вовсе.

Опять я получила палату тяжелораненых. Помню, на одном из ночных дежурств возле умирающего от ран капитана сидела его жена в отчаянии, и время от времени ее приходилось успокаивать. А у меня еще были два тяжелобольных с высокой температурой. Две кровати рядом. На одной лежал раненый из

Запорожского полка, а на соседней койке лежал тоже тяжелобольной с высокой температурой — громадного роста широкоплечий донской казак. Когда я подходила к запорожцу, казак волновался и кричал: «Не трогай сестрицу!» Когда я поворачивалась к казаку, пытаясь положить на голову компресс, он вскакивал, пытаясь драться с запорожцем, и мне больших усилий стоило (маленькой в сравнении с ним) уложить его и успокоить. Запорожец был меньше казака и слабый от болезни, подниматься не мог, только едва слышно выкрикивал: «Ты не смей трогать сестрицу!» — и хватал меня за руку. Так пришлось мне в узком проходе между кроватями примирять враждующих, успокаивать то одного, то другого, положив по руке на обоих. Каждый держал мою руку и успокаивался. Оба были в бреду… Так провела я с ними эту тревожную ночь. А к утру они оба, один за другим, отправились в лучший мир, и капитан тоже. На меня эта картина ужасно подействовала, и я долго и тяжело переживала эту трагедию. Доктор Трейман, застав меня в слезах, сказал, что я сестра и должна хладнокровней относиться к таким сценам и привыкнуть к ним.

Глава 3. ЕКАТЕРИНОДАР (1918)

Сколько времени мы простояли в Тихорецкой — сейчас не могу вспомнить; помню только, что это был уже конец лета. Наконец пришло известие, что Екатеринодар взят и красные далеко отогнаны, что город в безопасности и наш лазарет переводится в Екатеринодар. Радость была неописуемая. Начались сборы. Для перевозки раненых и лазарета приготовили поезд из товарных вагонов. Всех раненых погрузили в теплушки, и в каждом вагоне поместился кто-нибудь из медицинского персонала. Врачи и сестры, которые и раньше работали в Тихорецкой, остались, а также нам пришлось распрощаться (к сожалению, навсегда) с нашей милой экономкой, Олимпиадой Семеновной. Вава, Лина и я были вместе в одном вагоне с тяжелоранеными. После полудня поезд прибыл в Екатеринодар. Какая была встреча нашему поезду — описать трудно. Здание вокзала было украшено гирляндами снаружи и внутри. Поезд встречали дамы-патронессы, девушки с цветами и масса народу. Кричали «ура!». Сколько было искренней радости и радушия, сколько было радостных слез! Все эти раненые были защитниками Екатеринодара, и многие родные встретили своих дорогих воинов. У меня и теперь, когда я вспоминаю эту встречу, невольно слезы напрашиваются. Народ сразу же начал выносить раненых из вагонов. Нас, сестер, буквально вынесли на руках и не дали прикоснуться к своим раненым, чтобы им помочь. Накормив раненых, сразу же развезли их по лазаретам, где были оставшиеся после ухода красных врачи. Для легкораненых и медицинского персонала в помещении вокзала были накрыты столы со всевозможными закусками, пирожными и разными вкусными вещами, чего очень долго не видели в походе и по чему соскучились.

Дамы и девушки были очень любезны и внимательны, очень мило за нами ухаживали и усердно угощали. Такой сердечной встречи мы не видели ни до Екатеринодара, ни после. Наконец, когда все закончилось и раненых развезли по лазаретам, народ разошелся, а нас, медицинский персонал, отвезли в помещение учительской семинарии и предложили оборудовать новый лазарет. Помещение было огромное, с дортуарами, которые послужили общежитием для сестер милосердия. Нам, «тройке», предоставлено было право, как «старым сестрам», выбирать себе комнату. Мы выбрали очень удобную комнату на втором этаже, в центре и близко от всего: от палат, перевязочной, аптеки и др. Лазарет был устроен по-настоящему — прекрасно оборудован на

300 коек, богатая аптека, бельевая, полная белья, много палат, а здание было двухэтажное и выходило на две улицы с садом. В нижнем этаже находились палаты, канцелярия, дежурка врачей, столовая и много других помещений.

Доктор Трейман предложил нам выбрать среди нас старшую сестру, и мы выбрали Лисицкую (Вавочку).

Работа закипела. Приготовили палаты для приема раненых, распределили сестер и санитаров по палатам. Вскоре стали прибывать раненые. Лина взяла палату на верхнем этаже, я — на нижнем. Вава, как старшая, палаты не имела. Новые врачи и сестры все прибывали. Старший врач лазарета доктор Покровский почему-то пробыл недолго, и его заменил доктор Кожин. Человек сугубо штатский, он был плохой администратор и не мог справиться с таким большим лазаретом. Из-за мягкого характера он не мог поддерживать дисциплину, и его не все слушали. Но доктор Трейман часто наведывался в лазарет, и это немного сдерживало расхлябанность административного персонала. К нам прибыло уже несколько врачей, среди них был хороший хирург доктор Морозов. Уже немолодой, строгий, держался со всеми, кроме врачей, на расстоянии, с достоинством; жил в городе. Ему во время операций помогал доктор Кондюшкин, очень несимпатичный и никем не любимый, грубоватый и с большим апломбом. Он остался в городе после ухода красных и всех уверял, что благодаря ему остались склады медицинского материала, что неверно, так как красные просто не успели вывезти многие склады.

К нам в комнату, за неимением места в общежитии сестер, попросилась фельдшерица Вера Эйслер. Крупная, не первой молодости, здоровая, интеллигентная, приветливая. У нас было еще одно место, мы ее приняли и скоро сдружились. Теперь нас была не «тройка», а «четверка». Она имела прекрасный голос — меццо-сопрано — и очень хорошо пела русские песни. Особенно хорошо у нее получалась, и она ее любила, песня «Матушка-голубушка…». Так за ней и осталось прозвище Матушка-Голубушка. У нас в комнате стоял хороший рояль, и мы часто, в свободные от работы часы, развлекались: Вера пела, я ей аккомпонировала, а за дверью нашей комнаты собирались обитатели лазарета, слушали. Иногда я играла соло на рояле, и из палат собирались раненые, слушали, просили еще играть и даже приносили мне ноты.

Так мы и жили, дружно. Прошло некоторое время. И вот однажды приходит доктор Трейман и говорит, обращаясь ко мне: «Вы поработали и заслужили отдых. Сестра Лисицкая и вы можете воспользоваться отпуском». Мы с Вавой были очень довольны

возможностью проехаться домой, но не придали значения такому вниманию. Мы попросили и за Линочку, и это было разрешено. Вера не могла воспользоваться отпуском, так как фельдшериц было всего две на весь госпиталь, к тому же она недавно поступила и никаких «заслуг» за ней не числилось. Так мы втроем и уехали. Лина поехала в станицу Кавказскую, где временно проживала ее мама, а я и Вава поехали сначала к ней домой в станицу Тихорецкую, где у нее была старшая сестра — врач, и младшая, еще гимназистка. Погостив немного у Вавы (семья ее произвела на меня хорошее впечатление, и мне даже жаль было с ними расставаться), мы поехали в Ростов к моей семье. Мои родные и знакомые встретили нас радостно. Моя родная сестра Маруся была за хозяйку дома, брат Сережа, малыш, учился, а другой брат, Анатолий, шестнадцати лет, ушел добровольцем. Наши обрадовались, что я смогла их так скоро снова посетить. Ведь никакие письма не шли ни туда, ни оттуда, и они ничего обо мне не знали.

В Ростове жизнь кипела по-прежнему, войны не чувствовалось. Кафе и рестораны были полны военной и штатской публикой. Много было беженцев из России. Кто был с капиталами, старался выбраться за границу. На Садовой улице в районе «Чашки чаю» и кондитерской Филиппова народу всегда было много, как на гулянье.

Посетила свою подругу детства Нину Костанди, которая за время моего отсутствия вышла замуж. Мы с ней раньше часто проводили время у нее или у ее старшей сестры Нади, которая была замужем за донским помещиком Безугловым. Жили они в Ростове, а в имении оставались родители.

Проведя свой отпуск в Ростове, мы с Вавой вернулись в Екатеринодар, где нас уже ждала Лина. По приезде в лазарет нас ожидал сюрприз: назначены новый старший врач и новая старшая сестра. Старший врач — доктор Мокиевский-Зубок Лев Степанович — мой старый знакомый по Галиции. Тогда он был полковым врачом 9-го Киевского гусарского полка. Его полк стоял в районе лазарета, и он лазарет посещал и иногда в нем работал. Там я с ним познакомилась.

Должна вернуться немного назад. Когда я окончила курсы сестер милосердия, то было предложено желающим ехать на фронт. Я предложение приняла и поехала на фронт, но долго там не оставалась. В то время начался развал Русской Армии, как следствие Приказа № 1 Временного правительства и Керенского[20], и разъезд войск был неминуем. Доктор Мокиевский посоветовал мне без промедления уезжать обратно. А их полк уходил на стоянку в район Киева. Я последовала его

совету и при первом удобном случае уехала в Ростов. По приезде в Ростов я обратилась, с согласия старшего врача лазарета для военнопленных австрийцев, в Земский союз с просьбой назначить меня в этот лазарет и, как уже известно, получив назначение, проработала там до 1918 года.

Главный врач нашего Екатеринодарского (армейского □ 5) лазарета доктор Мокиевский-Зубок (мой будущий муж) принял нас приветливо и сообщил, что Санитарным управлением, в отсутствие сестры Лисицкой, старшей сестрой назначена сестра Романова. Только теперь мы поняли, почему нас выдворили в «отпуск». Не смели снять одну старшую сестру и назначить другую без всякой к тому причины, поэтому сделали это при помощи законного отпуска.

Доктор Мокиевский-Зубок был заслуженный военный врач с боевыми наградами и орденами начиная от Св. Анны с надписью «За храбрость» и красным темляком на саблю вплоть до Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Эти ордена, как и остальные награды, он получил во время Первой мировой войны, которую закончил в чине (по военным чинам) полковника.

Роста немного выше среднего, шатен, близорукий (носил очки), он был крепкий, энергичный, справедливый, но и строгий человек. Подчиненные его ценили и любили. Доктор Трейман Федор Федорович был очень похож на доктора Мокиевского, так же близорук, но носил пенсне, и волосы у него были русые. Они очень походили друг на друга и в другом отношении — одинаково заботились прежде всего о раненых и больных. Они оба окончили Императорскую военно-медицинскую академию в Петрограде и были на «ты». О жизни доктора Треймана я знаю немного. В каких частях он находился в Великую войну — не знаю. Знаю, что семья его жила в Екатеринодаре, а в Добрармию он попал с отрядом генерала Покровского, присоединившегося к ней под Екатеринодаром, и проделал с ней Ледяной поход.

Старшая сестра Романова (имя забыла) была родственница нашего Государя Николая II. Она была сестра милосердия, и нужно было ей дать подобающее место. А так как наш армейский лазарет был на хорошем счету, то ее и пристроили к нам. Она была немолодая, с рыжими волосами, худая, стройная, всегда с поджатыми губами; ни с кем не общалась, жила в данной ей маленькой, как келья, комнатке одиноко. В общей столовой ее не видели — она кушала в своей комнате. Когда она спала, никто не знал, потому что и днем, и ночью, и на заре видели, как она делает обход, проверяя сестер, чтобы те не заснули. При ней у нас не было дежурной комнаты для сестер. Дежурили всегда две сестры — одна на верхнем этаже, другая внизу. И, по ее

правилам, сестры должны были всю ночь бродить по палатам и длинным коридорам, делая обход. Во всякое время можно было неожиданно столкнуться с нею. Она появлялась внезапно и бесшумно. Если она заставала дежурную сестру сидящей в коридоре на скамейке и ежащейся от холода (школьные коридоры были очень длинные и не отапливались зимой, а двери в палаты, где топились печи, были закрыты на ночь), то делала замечание: «Сестра, нельзя сидеть, так можно заснуть!»

Очень редко она заходила к сестрам в общежитие, оставаясь там недолго, — вероятно, заходила по обязанности. Зашла как-то и в нашу комнату, когда я играла на рояле в свободные часы после ночного дежурства. Ей понравилась пьеса, которую я играла. Она прослушала и попросила меня сыграть что-нибудь в палате для лежачих раненых (50 человек). Я отказалась играть в палате, так как там находились тяжелобольные, которым, может быть, помешала бы музыка. Согласилась на то, что буду играть у себя при открытых дверях, а дверь нашей комнаты была против двери в палату. Она была сестрой Кауфманской общины в Петрограде, где властвовал очень строгий режим, и оттуда она перенесла полумонашеские правила в наш лазарет, к чему сестры военного времени не приучены. Ее поведение в отношении окружающих объяснялось еще и тем, что она тяжело переживала семейную трагедию Романовых и потому не хотела никакого общения с окружающими, оставалась наедине со своим горем. Но она долго не задержалась в лазарете. Скоро она получила ожидаемую визу во Францию и уехала. Лазарет ей устроил хорошие проводы, все с ней мило простились, она к каждому подходила прощаться. Нам было искренне ее жаль, но тем не менее все вздохнули облегченно.

После проводов сестры Романовой Вавочке было предложено снова занять место старшей сестры, но Вава, задетая, отказалась от такой чести и сделалась палатной сестрой, взяв себе палату больных с переломами ног и рук. Когда мы с Вавой приехали из Ростова, сестра Романова назначила меня в очень тяжелую палату «черепных» — здесь лежали раненные в голову и послеоперационные больные. Нас в этой палате было две сестры — одной было трудно справиться. Помню, в день моего Ангела (11 октября по ст. стилю) я получила от своих раненых поздравительное письмо, подписанное всеми, кто тогда там лежал. Это письмо с немногими документами каким-то чудом сохранилось до сих пор. Чудом потому, что все мои вещи пропали в Лиенце по окончании Второй мировой войны во время ужасной трагедии — насильственной выдачи казаков англичанами советскому командованию[21].

Приехав из отпуска, мы не нашли в нашей комнате Верочки. Нам сказали, что после большого скандала с доктором Кондюшкиным ее перевели в другой лазарет. А дело было так: при семинарии был небольшой сад с аллеями и много кустовых растений. В глубине сада стоял домик, предназначенный для директора семинарии, а когда помещение семинарии было занято под лазарет, то этот домик занял старший врач. Возле домика разбит был небольшой цветник и кое-где стояли скамейки. Там сестры, свободные весь день после ночного дежурства, выходили к вечеру посидеть с книгой в тишине. Так сделала и Вера, но почему-то задержалась в саду и просидела там до темноты. Когда она уже шла в лазарет, то на нее вдруг набросился притаившийся в кустах доктор Кондюшкин. Она оборонялась, расцарапала в кровь его физиономию, а он изорвал на ней блузку. Вера закричала, на крик прибежали санитары и ходячие раненые, которые сидели возле дома со стороны сада, и освободили ее. Санитарное управление приказало доктору Кожину убрать обоих, хотя Вера ничуть не была виновата. Попав в другой лазарет, она переболела сыпным тифом, и однажды я встретила ее на улице с наголо обритой головой. Она сообщила, что вышла замуж и очень счастлива. С тех пор никто из нас ее не встречал и мы ничего о ней не знали.

На место Веры в нашу комнату была поселена сестра-хозяйка. Полненькая, как пышка, средних лет, приветливая. Она приходила в комнату отдыхать днем — или во время нашего отсутствия, когда мы были на работе, или когда кто-нибудь из нас спал после ночного дежурства. Ночевать приходила, когда мы уже спали. Несмотря на симпатию к ней, мы не могли примириться с одним ее недостатком. Она вставала в 4 часа утра и с заведующим хозяйством уезжала за продуктами для лазарета. Второпях при свете свечи (не включала электричество, чтобы нас не разбудить) «наводя красоту», она в полумраке не могла найти полотенце или что-нибудь другое, что ей было нужно, что бы стереть лишнюю пудру или краску с лица, и схватывала у кого-нибудь из нас первую попавшуюся ей в руки вещь — панталоны, лифчик, комбинезон — все, что попадалось под руку. Просыпаясь, мы находили наши вещи испачканными. Стали прятать белье под подушки, но и это не помогало. Она хватала наши белые передники и даже косынки. Не имея возможности поговорить с нею, так как она приходила поздно ночью или днем только в воскресенье, когда нас не было, мы попросили у кастелянши чистых тряпок и положили ей на ночной столик. Дальнейшее употребление нашего белья прекратилось.

Доктор Мокиевский был хороший администратор, очень

быстро, по-военному, навел порядок, который не мог поддержать доктор Кожин как штатский человек, не имевший опыта. Лазарет быстро приобрел известность и считался образцовым. Часто лазарет посещали и делали у нас операции проживающие в Екатеринодаре профессор хирург Алексинский, петербургская знаменитость, и его ассистент, доктор Федоров. Профессор делал операции довольно часто. Наши врачи-хирурги имели возможность поучиться у профессора Алексинского, и он во время операций им многое объяснял.

Был такой случай: в лазарет привезли с фронта тяжелораненого офицера, капитана Манштейна, командира какой-то военной части. Ранен он был в плечо. У него началась гангрена. Ампутировали руку — не помогло, гангрена стала распространяться дальше, в лопатку. Рискнули вылущить лопатку, это был последний шанс. Стали лечить, назначили только для него сестру, день и ночь он был под наблюдением врачей, и… случилось чудо — его спасли. Получился кривобокий, но живой. Капитан был очень популярен в войсках и очень боевой. Выздоровев, он вернулся на фронт, к своим. Его часть посылали в самые опасные походы. Красные его боялись и называли «безрукий черт». Его часть посылалась в самые опасные военные операции, и красные разбегались не только при его виде, но и при его имени.

В личной жизни ему не повезло. В Галлиполи я его встретила уже в чине генерала. Когда он женился, я не знаю, но по приезде в Болгарию жена хотела его оставить и требовала развода. Он застрелил ее и себя. Так бесславно закончил свою жизнь этот легендарный боевой генерал. Остался, убитый горем, его престарелый отец — старорежимный генерал.

Приблизился конец 1918 года. Дела на фронте шли удачно. Белые войска продвигались на Москву, все радовались, что скоро будет конец Гражданской войне. Вавочка познакомилась с офицером-летчиком, и вскоре они сообщили мне радостную весть, что они жених и невеста. Я их поздравила, расцеловались. По этому случаю был устроен в нашей комнате вечер с ужином. Присутствовали несколько врачей и вновь назначенная старшая сестра. С другими сестрами у нас контакт был только по работе, так как они держались отдельно от нас и не пытались сблизиться. Большинство из них каким-то образом выбрались из Петрограда, и мы были для них «провинциалками». Они попали в лазарет одновременно с сестрой Романовой. Поэтому никто из них на наше торжество не был приглашен. За ужином было объявлено две помолвки — Вавина с летчиком (имя его забыла) и моя с доктором Мокиевским. Друзья принесли в подарок шампанское;

нас поздравили, желали всех благ и кричали «горько!». Вечер прошел весело и непринужденно. Доктор Морозов, уже перешедший средний возраст, худой, всегда серьезный, неразговорчивый, с младшим персоналом надменный, вообще державшийся с достоинством, разошелся так, что пустился в пляс, очень мило острил, рассказывал смешные анекдоты и некоторое время был центром внимания, так что мы не узнавали нашего «буку» — доктора Морозова. Молодой доктор Гинце очень хорошо играл на рояле, и мы наслаждались прекрасной музыкой. Так незаметно пролетело время, и наступил час лазаретной тишины — девять вечера. Наши гости остались, и в разговорах и тишине мы провели еще несколько часов.

Через день жених Вавы с танкистами уехал на фронт. Вавочка была курсистка медицинского факультета Московского университета. Она была очень хорошенькая, глаза темно-серые, волосы в природных золотистых локонах, худенькая, роста среднего, стройная, с гордой осанкой, неторопливой походкой, всегда спокойная и невозмутимая, на все «выпады» отвечала спокойно, не повышая голоса. У нее в палате лежали два офицера, выздоравливающие после переломов ног. Они написали поэму на нас, «тройку», и на лазарет. О Ваве написали — «… Выступает, словно пава, наша сестра Вава…». О Лине я не запомнила, а обо мне — «…Рыцарь Мокий из укрепленного замка похитил принцессу Зиманду…» и много еще чего о жизни в лазарете. Поэма была длинная, события и характеры тонко подмечены, написана хорошо; кто ее читал, — всем нравилась. Но, к великому моему сожалению, она потерялась во время эвакуации из России и моей тяжелой болезни, а всю ее мне уже не вспомнить.

Как-то я обратила внимание на руки Вавы, они не согласовались с ее внешностью — слишком были красные. Я спросила, почему у нее такие руки, не отморозила ли она их? Она мне ответила, что работала в прачечной, следуя учению Л. Толстого, что все должны работать. Я ее спросила, не было ли ей противно стирать грязное белье неизвестных людей, не будучи опытной в этом деле? Она сказала, что стирала только скатерти из ресторана. «Но ведь ты отнимала, ради своей причуды, заработок у профессиональной прачки, для которой, может быть, это был кусок хлеба?» Она со мной согласилась, сказав, что это было в прошлом и она образумилась.

Лина внешностью была полная противоположность Вавочке. В меру полненькая для своих лет (она была старше нас с Вавой), небольшого роста, шатенка, глаза карие, круглолицая. Характер у нее тоже был спокойный, сама положительная. У нее был жених

на фронте, дроздовец-офицер. В Екатеринодар он не приезжал, и мы с Вавой его не знали.

Время проходило в повседневной работе. Как-то в одно мое суточное дежурство прибыла вечером партия раненых пленных красноармейцев. Нужно было их переодеть в больничное белье, а их одежду сдать каптенармусу. Когда я начала одному помогать снимать нательную рубаху, то ощутила под пальцами что-то странное, как крупный песок. Я спросила фельдшера, который также переодевал раненого, что это такое, и попросила его посмотреть. Он сказал, что на внутренней стороне рубахи сплошные насекомые — вши. Меня это поразило, потому что я никогда такого не видела и не предполагала, что может быть что-нибудь подобное. Доктор распорядился все зараженные насекомыми вещи сжечь, а полы продезинфицировать, пока вши не расползлись. В то время тифом уже многие болели. Всех красноармейцев отправили в изолятор для прохождения карантина. Слава Богу, обошлось благополучно, и никто из нас, дежурных, не набрался насекомых.

В конце февраля пришло очень неприятное известие — танкист, друг жениха Вавы, попал в плен (с танком) к красным, и больше мы о нем ничего не могли узнать. Жених Вавы не давал о себе знать. Она, бедняжка, волновалась, но с виду была спокойна. Когда ее спрашивали любопытные, она отвечала: «Когда-нибудь да объявится, если жив!» А позже пришло известие, что он пропал без вести. Вава ничем не показала свое горе, переживала в себе, но очень изменилась и начала употреблять морфий. Стала очень нервной и уже иначе реагировала на «выпады». Такой она оставалась до Галлиполи, где мы с ней расстались, и, к сожалению, навсегда. Она уехала в Болгарию, а после выступления коммунистов переписка наша оборвалась, и я о ней больше не слышала.

Глава 4. НА МОСКВУ (1919)

Как-то вечером, после работы, в начале февраля 1919 года, доктор Мокиевский (теперь мы его звали Левушка) зашел к нам в комнату и сообщил новость: в Ростове формируется Кавказская Добровольческая армия. Начальник санитарной части профессор Ушинский, который знал доктора Мокиевского и ценил его, предложил принять должность помощника. Лев Степанович согласился перевестись, но не на должность помощника начальника Санитарной части, а врачом для поручений. Профессор Ушинский дал свое согласие. На совете нашей «тройки» было решено, что я поеду с Львом Степановичем в Ростов, а когда там устроюсь, тогда выпишем Ваву с Линой.

В апреле мы переехали в Ростов, и там мне удалось устроиться в 19-й Полевой запасный госпиталь в Нахичевани с прикомандированием к зубоврачебному кабинету при штабе Кавказской армии. Зубной врач Нина Афанасьевна Кошелева (из Москвы) приняла меня очень мило, радушно, и мы с ней скоро сдружились. Нина Афанасьевна была молодая, худенькая, роста небольшого, хорошенькая, но близорукая, что ей мешало, так как она не носила очки. Меня и ее поместили в отделении Отдела снабжения, где у нас с Левушкой был знакомый инженер-полковник — Дудышкин Александр Яковлевич, начальник Отдела снабжения. Он был наш большой друг и впоследствии, уже будучи в Югославии, крестил нашу дочь Ирину. Он был немолодой, старше доктора Мокиевского, имел дочь немного моложе меня и называл меня «доченька». Его семья еще находилась в Петрограде, и он надеялся, что все-таки они выберутся оттуда. Нам с Ниной Афанасьевной он много помогал и все, что мог, делал. Для нашего зубоврачебного кабинета было предоставлено помещение при зубоклинике. Служащие штаба помещались в отеле «Монтре». Нас составилась небольшая группа: жена бывшего дипломата, который теперь работал при штабе, мадам Доценко (из Киева), Нина Афанасьевна, я, Александр Яковлевич и инженер Месарош, помощник Дудышкина. Муж мадам Доценко и Лев Степанович приходили поздно, работая в канцелярии, а иногда бывали и в отъездах. Мадам Доценко была очень красивая женщина, с прядью седых волос над лбом, хотя и молодая — ей было не больше тридцати лет. Часто наша группа собиралась по вечерам после работы у мадам Доценко. Мы очень приятно проводили вечера за чашкой чаю. Разговаривали на злободневные темы. Дудышкин был хороший рассказчик и нам доставлял большое удовольствие,

излагая с большим комизмом самые малозначащие события. К этому времени в Ростов отовсюду съехались артистические силы. Давали концерты, работали театры, выступали известные балетчики — Емельянова и Монахов, пел Вертинский, имела успех популярная в то время оперетта «Сильва». Ее напевы можно было слышать всегда и везде. Было много и других выступлений. Кафе и рестораны были по-прежнему полны, только на этот раз прибавились англичане в военной форме — члены Военной миссии, которая также находилась в Ростове. В питании не было недостатка, продавали все свободно.

Иногда давались благотворительные концерты, и мы нашей группой их также посещали. Я навещала свою бывшую учительницу музыки Софию Борисовну Гиршову-Равдель, которая давала мне уроки с самого начала. Она очень беспокоилась — упражняюсь ли я на рояле? Ради ее спокойствия мне приходилось кривить душой и говорить, что упражняюсь по мере возможности. Так мы прожили в Ростове до конца июня или начала июля, до прихода распоряжения собираться для переезда в Харьков, куда перебрасывался штаб Кавказской Добрармии. Мы с Ниной упаковали наш кабинет в несколько ящиков, собрались и сами, и, когда вещи уже были вывезены на вокзал, ко мне вдруг подбежала София Борисовна. Узнав от моей сестры Маруси, что я уезжаю в Харьков со штабом, она пришла, чтобы уговорить меня не уезжать и не бросать музыку (я от нее скрыла, что уезжаю). «Не уезжайте, Зиночка, не оставляйте музыку, вы не понимаете, какая у вас блестящая будущность. Вы моя ученица, вы — моя гордость!» — говорила она и при этом очень плакала, прижавшись к моему плечу. Мне было ее жаль, но изменить ничего я не могла и только обещала, что, если смогу, буду в Харькове заниматься, а когда кончится война, то сделаю так, как она хочет.

Переехав в Харьков, мы поселились в огромном отеле «Россия», опять при Отделе снабжения, как и в Ростове. Устроив зубной кабинет, начали принимать пациентов. Но недолго мне пришлось там работать с Ниной. Лев Степанович мне сообщил, что встретил своих однополчан и от них узнал, что собран 9-й Киевский гусарский полк, который войдет в состав 5-го Кавалерийского корпуса генерала Юзефовича. При корпусе будут две дивизии, при каждой дивизии будут перевязочные отряды, а ему предлагают место дивизионного врача. Левушка очень хотел быть со своим полком и со своими однополчанами, с которыми провел всю германскую войну. Он изъявил свое согласие и в конце июля 1919 года получил назначение в 1-ю Кавалерийскую дивизию, а меня назначили в эту же дивизию в перевязочный отряд.

Здесь я немного отклонюсь назад, чтобы добавить к истории вновь собранного 9-го Киевского гусарского полка. По военной традиции, полк мог быть собран только у своего штандарта. Но когда полк в 1917 году вышел с фронта и стал на стоянку под Киевом (Васильков), украинское правительство (Скоропадского) полк украинизировало, а штандарты поставили в одну из церквей. Решив ехать на юг в Добрармию, несколько офицеров, в том числе и доктор Мокиевский, решили выкрасть штандарт своего полка и увезти с собой. Они пробрались в церковь, сняли (или срезали) штандарт с древка, а доктор Мокиевский-Зубок под шинелью обмотал штандарт вокруг себя и вынес. Они благополучно добрались на юг. В вызволении своего полкового штандарта, кроме доктора Мокиевского-Зубок, приняли участие ротмистр Иванов Евгений Васильевич, закончивший Гражданскую войну в чине генерала, штаб-ротмистр Берестовский (будущий полковник; впоследствии, кажется в 1925 году, во главе русского отряда посадивший короля Зогу на албанский престол) и штаб-ротмистр Сербии.

Когда Нина Афанасьевна узнала, что я уезжаю на фронт, она расплакалась. Ей было жаль со мной расставаться, так она ко мне привязалась. Нина уговаривала меня не уезжать на фронт, мне было грустно, но решение уже принято — я получила назначение, и поздно было отказываться. В конце июля наш перевязочный отряд, сформированный в Харькове, вышел с 9-м Киевским гусарским полком на соединение с дивизией. В перевязочном отряде уже были четыре врача, как и полагалось, но из сестер была только я, так как остальные три сестры ожидали нас в штабе дивизии. Отряд был хорошо оборудован. Старшим врачом был доктор Ефремов, другие два доктора — Шатров и Дубинский, четвертого фамилии не помню — он не был при медицинской части, а исполнял должность заведующего хозяйственной частью отряда. Врачи Ефремов и Шатров были кабинетные ученые медицинского факультета Харьковского университета, попали в отряд по мобилизации, доктор Дубинский прибыл неизвестно откуда, а четвертого мы редко видели — он все время находился в разъездах в добывании перевязочного материала или продуктов.

Передвигались мы по Украине. Выехали из Харькова поездом в последних числах июля, выгрузились на станции Кочубеевка и пересели на подводы. Оттуда проехали в село Опошня, где размещалось волостное правление, которое должно было нам дать квартиры для перевязочного отряда. Я еще сидела на подводе в ожидании распоряжения, как ко мне с развязностью фельдфебеля подошел крестьянин, рослый украинец, в

полусолдатской одежде. Доктор спросил, откуда он. Он ответил, что из деревни помещика Демьяненко. Я говорю ему, что владельцы — мои близкие родственники (мой дед), так нельзя ли будет отряду разместиться в имении? Он сказал, что усадьба была разграблена и разбита, все уехали, а дом пустой. Из Опошни нас отправили в уцелевший флигель в имении Кочубей. На красивой поляне стоял небольшой барский дом Кочубеев. Разместившись во флигеле, врачи и я, с разрешения управляющего, пошли посмотреть дом. В доме было все перебито: картины порублены, мебель поломана, хрустальная посуда побита в мелкие куски и сброшена в одну огромную кучу, рояль лежал с перебитыми ножками и струнами, которые торчали вверх. В общем, погром был «добросовестный». На другой день наш отряд перебрался в Зеньков (уездный город), там нас поместили в здании школы. Доктор Мокиевский передвигался впереди с полком.

В Зенькове наши врачи познакомились с местным начальником контрразведки, и он считал своим долгом посещать отряд. Этот тип был страшен и противен. На его физиономии была написана и его профессия. Его посещения так были мне неприятны, что, когда он появлялся, я уходила. Бедные врачи — им приходилось его принимать, чтобы не было никаких придирок. И так пришлось его терпеть недели две. Штаб корпуса находился в Полтаве, а штаб дивизии продвигался вперед, и наш перевязочный отряд пошел в поход со штабом дивизии. Раненые пока не поступали, и мы шли походным порядком на Конотоп.

Дивизионный врач сообщил нашему перевязочному отряду, что планы похода изменились и 5-й Кавалерийский корпус направляется в Чернигов. Левушка не скрывал своей радости попасть в Чернигов — в Чернигове у него были родители и он там вырос. Раньше, после помолвки, он мне говорил о своих планах — хотел бы познакомить меня с родителями и в Чернигове повенчаться в кругу своих родственников. И, как только Чернигов будет в наших руках, мы немедленно туда поедем. Там же можно будет приобрести для меня теплую одежду, так как я уехала из Ростова в летней, не предполагая, что поеду на фронт.

Наш перевязочный отряд направился за штабом дивизии походным порядком на Дмитриевку. В то время когда мы стояли в Зенькове, киевские гусары отбили у красных много хороших лошадей, набранных в помещичьих имениях. Ротмистр Берестовский, друг Левушки, подарил мне двух, серых в яблоках, лошадей с пролеткой, так что я ездила теперь с комфортом. Остановились в Дмитриевке, дали лошадям отдохнуть. Здесь к нам присоединились сестры милосердия, которые ожидали наш перевязочный отряд при штабе дивизии. Эти сестры были:

Крейтер — жена начальника штаба дивизии, ее невестка — француженка, жена брата, Нелли Адольфовна, и Платонова, которая поехала за женихом, очень молодая. Пробыв некоторое время в Дмитриевке, двинулись на Нежин. В Нежине штаб дивизии и перевязочный отряд расположились в городе. Врачи и я — в доме местного врача, бежавшего от белых. Это был отдельный, очень вместительный дом, комфортабельно обставленный (насколько возможно это в провинции). Дом был брошен наспех, и ничего не унесено, может быть, хозяин скрывался где-нибудь в городе, но в дом не показывался, и мы пользовались всем домом. Перевязочная была в другом месте, и мне здесь пришлось, по просьбе врачей, исполнять роль хозяйки. Остальные сестры поселились со штабом. Поступавшие в перевязочный отряд раненые после осмотра были немедленно отправляемы на станцию железной дороги для погрузки в санитарный поезд.

В Нежине мы простояли больше недели. В этот период времени портной-еврей сшил мне за два дня дорожное, от пыли, брезентовое пальто, которое мне очень помогло в дороге. После отправки раненых перевязочный отряд погрузился в поезд и направился к Чернигову. Не доехав до Чернигова несколько небольших станций, выгрузился в какой-то деревне, так как Чернигов был уже взят другой частью, опередившей нашу (кажется, пехота). К сожалению, очень скоро они его оставили, и город снова заняли красные. Таким образом, желание Левушки не исполнилось и в Чернигове не пришлось, как ему хотелось, повидать родителей и нам повенчаться. Эту мечту мы смогли осуществить только в Крыму, но своих родителей он больше никогда не видел.

Пока перевязочный отряд стоял на этой станции, прибыла партия раненых. При осмотре оказалось, что одному из раненых нужно делать маленькую операцию. Делал ее доктор Мокиевский-Зубок (дивизионный врач) в присутствии докторов Ефремова и Шатрова, сестер Крейтер и Нелли Адольфовны. Дубинский отсутствовал. За все время моего пребывания в отряде я его не видела в перевязочной. При ассистировании Нелли Адольфовна что-то сделала, показав свое незнание в медицине, — она и не была сестра, только была приписана к отряду, чтобы быть вместе с мужем. Доктор Мокиевский приказал ей оставить перевязочную, а сестре Крейтер сказал, что ее невестка может ездить с отрядом, но к раненым не должна прикасаться. С тех пор сестра Крейтер почему-то ополчилась на меня.

Последовал приказ собираться и опять походным порядком двигаться на Конотоп. Время от времени отряд останавливался на

отдых, чтобы дать отдохнуть лошадям. Поехали дальше; по дороге остановились в имении Бычачки, на сахарном заводе, разграбленном то ли красными, то ли крестьянами. При заводе был запущенный сад, а в саду стоял небольшой домик для директора завода. Заинтересовавшись, я пошла побродить по саду. Зашла и в домик, который стоял почти пустой и был открыт. Обитатели его бежали, а из дома было вывезено или разграблено все, остались только несколько стульев, обитых зеленым плюшем. Я вошла и увидела, как доктор Дубинский срезает ножом плюш со стула. Я остановилась, чтобы он меня не заметил, — мне было стыдно за него. Никак не могла себе представить, чтобы доктор занимался подобными делами. Для чего ему нужны были эти клочки плюша? Может быть, он искал в стульях спрятанные драгоценности? Потом он прошел на кухню. Я думала, что он вышел на другой ход, вошла и увидела, как он взламывал замок сундучка, оставленного или забытого прислугой или не успевшей вывезти его. Что он искал в бедном, маленьком сундучке? Кухня тоже была пустая, стоял только этот единственный сундучок. Дубинский меня заметил, и я поторопилась уйти. Сад был пустынный, меня взял страх, и я побежала бегом — мне казалось, что за мной кто-то гонится.

Тут я вспомнила, как мы с Львом Степановичем проходили по улице одного из завоеванных городишек, где магазины были разграблены и в них копошились наши солдаты. Лев Степанович, когда узнал, что эти солдаты грабят недограбленное в магазинах, хотя там уже нечего было грабить, схватил у одного подвернувшегося солдата-кавказца плетку и начал выгонять из магазина солдат-грабителей. Вот это следовало бы сделать и с Дубинским.

Все виденное я рассказала доктору Ефремову. Он также удивился — для чего Дубинскому нужны были эти вещи? А к вечеру прибежала кухарка из этого домика и пожаловалась старшему врачу, что из ее бедного сундучка были вытащены ее платья. Очень просила, чтобы их вернули. Вероятно, она следила за происходящим, спрятавшись в саду в кустах, потому что прямо указала на Дубинского. Доктор Ефремов приказал все отдать ей обратно.

Отсюда наш перевязочный отряд был направлен в Бахмач. Все время, где бы мы ни останавливались, г-жа Крейтер устраивала у себя прием, где собирались офицеры штаба и другие лица. Она несколько раз приглашала меня, но я ни разу не ходила, ссылаясь на усталость. Должна сказать, что, когда нужно было сопровождать раненых к санитарному поезду, она всегда оказывалась больной и с «температурой». Она приглашала на

приемы и врачей Ефремова и Шатрова, но, насколько мне известно, ни один из них не принял ее приглашения. Так же, как и я, врачи считали несвоевременным развлекаться. Они работали. Она же в перевязочную не любила заходить, ссылаясь всегда на болезнь. Зато Дубинский стал завсегдатаем ее «салона»; был, как собачонка, услужлив и исполнял ее поручения. Она была груба, неприятна, высокомерна, страдала манией величия и как жена начальника штаба пользовалась своим положением. Приглашая к себе в гости, она таким образом хотела всех себе подчинить, как Дубинского, но ей это не удавалось. За все время нашего путешествия я ее видела только один раз в перевязочной, за исключением того случая, когда вышла неприятная история с ее невесткой. И зашла она на этот раз мимолетно, видимо только для того, чтобы сделать мне неприятность: в перевязочной я исполняла предписание врача одному больному. Она влетела и стала мне делать замечание, что я не так делаю. Я молча продолжала свою работу. Тогда она рявкнула, чтобы я делала так, как она сказала. Я поняла, что это придирка, молча закончила работу, не обращая внимания на ее замечания, и, выходя из перевязочной вместе с больным, ответила ей, что делала все по предписанию врача, а ее прошу быть корректней по отношению ко мне и не уподобляться торговке. Ее невестка Нелли Адольфовна была совершенно противоположный тип. Прекрасно воспитанная, милейшая женщина.

Дубинский выбрал себе занятие — заведовать отправкой раненых на железную дорогу и в тыл. Старший врач доктор Ефремов ему не препятствовал. Он был тактичный, деликатный, добрый и хороший человек, мягкого характера и не умел отказывать в просьбах, если это можно было исполнить. С младшим персоналом держался просто и мило. Доктор Шатров был другого сорта — явно имело место сознание собственного достоинства. Роста небольшого, брюнет, имел голос (баритон) и любил петь оперные арии, как только представлялся удобный случай, хотя и не всегда удачно. Доктор Дубинский — тип неприятный — высокого роста, плотный, волосы русые, глаза стояли близко к переносице, лицо длинное, и был похож на крысу.

Однажды, отвезя уже несколько раз подряд без подмены раненых на станцию, я спросила Дубинского: «До каких пор я буду исполнять обязанности сопровождающей раненых за всех сестер?» Он ответил: «Сестра Крейтер больна, у нее температура». Теперь я почувствовала, что Крейтер мстит мне за то, что я пренебрегла ее «салоном», а Дубинский — за то, что я была свидетельницей его грабительства. Теперь они соединились в

своей ненависти ко мне и к доктору Мокиевскому-Зубок.

По дороге на Бахмач Нелли Адольфовна заболела, и ее оставили в больнице в каком-то городишке с тем, чтобы забрать по выздоровлении. Оказалось, за нами шли следом красные и занимали места, где проходили наши войска. Нелли Адольфовна попала в плен, но, так как она была иностранка, ей удалось уцелеть.

Приехали в Бахмач поздно ночью. Войска, пришедшие раньше, заняли все жилые помещения. Для штаба место нашлось, для перевязочного отряда не оказалось. Обоз разместился снаружи, а нам, трем врачам и мне, староста дал в своем доме горницу — только одну комнату на всех. Оставалась кухня, но она нужна была хозяевам. Ефремов и Шатров устроили мне постель на стульях, составив и покрыв всю так, чтобы меня не было видно, а сами должны были расположиться на полу вповалку. Врачи предложили мне пойти сначала, устроиться, а потом они улягутся. Так и было сделано. Все улеглись, и я начала засыпать, как вдруг почувствовала на своей шее руку. Я закричала, врачи вскочили, зажгли свет и увидели, что Дубинский стоит у моего изголовья. Ефремов строго спросил, что он там делает. Дубинский ответил, что хотел выйти да заблудился. На другой день Ефремов спросил меня о подробностях происшедшего, и я ему рассказала, как было. Доктор Мокиевский-Зубок в это время заменял корпусного врача и находился при штабе корпуса.

На другой день, дав обозным лошадям перевязочного отряда отдохнуть, двинулись дальше на Конотоп. В Конотопе врачам отряда была предложена комната в квартире местного врача, но Ефремов и Шатров уступили ее мне, а доктор Ефремов сказал, что здесь, в семье, мне будет безопасней. В Конотопе простояли несколько дней и двинулись к Глухову. По дороге наш отряд останавливался в нескольких местах, и однажды мы остановились ночью среди поля — отдыхали лошади.

В Глухове перевязочный отряд задержался довольно долго. Корпус все время пробивался с боями, и раненые поступали беспрерывно. Из штаба дивизии было указано, чтобы перевязочный отряд оставался в Глухове до распоряжения. Раненые прибывали, и их собралось много в ожидании санитарного поезда. Поступило сообщение, что взят нашими войсками Ямполь (не помню, село или город), но распоряжения передвигаться перевязочному отряду на Ямполь все еще не было. Сообщили, что санитарный поезд прибыл. Дубинский собрал раненых и сказал мне, что я должна сопровождать раненых на станцию, которая отстояла от города на значительном

расстоянии. Его слова: «Когда сдадите раненых, поезжайте в Ямполь, мы к тому времени будем там». Ездовой доктора Мокиевского, который возил меня во время нашего передвижения и смотрел за лошадьми, повез меня на станцию и, когда мы собрались ехать обратно, сдав раненых в санитарный поезд, сказал мне, что доктор Дубинский приказал ему со станции везти меня прямо в Ямполь. Мне ничего не оставалось, как ехать, куда было приказано. Не доезжая до Ямполя две-три версты, я увидела мчащуюся во всю прыть нам навстречу крестьянскую телегу, за нею трех верховых, по которым стреляли со стороны Ямполя. Это были наши фуражиры. Один верховой направился к моему экипажу и крикнул мне на ходу: «Тякай, сястрица! Большавики!». Эти слова застряли у меня навсегда в памяти. Мой возница повернул лошадей, да так двинул, что я, держась обеими руками за облучок, а ногами упершись в противоположную стенку пролетки, подпрыгивала на ухабах так, что было чудом, что я не вылетела. Красные давно уже перестали стрелять, а мой ездовой все еще мчался. Я кричу ему: «Довольно гнать, стойте!». А он кричит в ответ: «Я должон, сестрица, вас спасать!».

Так приехали мы назад в Глухов, а распоряжения передвигаться в Ямполь еще не поступило. Наши войска продвинулись дальше и оставили Ямполь без охраны, а красные его снова заняли. И на этот раз благословение Божией Матери было надо мной — как и много раз впоследствии, отводила Она Своей Рукой опасность. Когда мы приехали в Глухов, Дубинский спросил, почему мы вернулись в Глухов, а не поехали в Ямполь. Я ответила: «Спросите моего ездового». Доктору Ефремову я рассказала, что произошло, как мы встретили фуражиров, и если бы их Господь нам не послал, то попали бы прямо в лапы красных. Ефремов сказал, что не понимает, почему Дубинский так распорядился, когда из штаба не было указаний. В Глухове мы простояли еще некоторое время, потом двинулись дальше. Теперь войска продвигались все время с боями, иногда задерживаясь подолгу на одном месте. Нам сказали, что мы двигаемся на Севск и дальше на Орел.

Перейдя с территории Украины в Курскую губернию, сразу увидели разницу. На Украине села чистые, с садами, в хатах просторно, уютно и чисто, через заборы выглядывают мальвы, кое-где и подсолнухи. В Курской губернии совсем другая картина. Избы бедные, маленькие, в одну комнату, в которой едва вмещается вся семья, тут же, под печкой, и поросенок. Одну треть комнаты занимает русская печь, остальное пространство занято постелями и столом со скамьей. Воздух спертый. Люди бедные. И в таких условиях жило все село. Мне отвели место в одной из

таких изб, но спать было невозможно — беспокоили клопы и блохи, и я просидела всю ночь на лавке. А на дворе стояла уже осенняя погода — был октябрь, в этом году очень холодный.

Как-то в одном бою наша артиллерия неудачно била и дала недолет, так что снаряд попал в своих. Привезли в отряд одного раненого офицера с разбитой челюстью. Не знаю, по чьему распоряжению, но Дубинский решил его отправить в тыл, в ближайшую больницу — без перевязки. Он не потрудился его перевязать или хотя бы подвязать больше материала (марли) на рану, так как рана кровоточила, а посылал так, как тому оказали первую помощь в полку. На мои протесты, что в таком виде нельзя раненого отправлять в дорогу, Дубинский ответил, что это его дело. «А вы, сестра, будете сопровождать раненого». Я уже примирилась с тем, что я одна бессменная сестра в отряде, при наличии других сестер. «Сдадите раненого в больницу и возвращайтесь обратно», — добавил Дубинский.

Понадеясь на своего ездового и на крепких лошадок, помолясь в душе своей покровительнице Божией Матери, поехала. Не проехали мы с раненым и двух-трех верст, как нагоняет нас верхом доктор Мокиевский с фельдшером. Оказывается, корпусный врач доктор Трейман прибыл из командировки, а Мокиевский вернулся в дивизию. Доктор Мокиевский подъехал к отряду и прежде всего спросил, где раненый. Ему ответили, что раненого отправили в сопровождении сестры в соседнюю больницу. «Как могли вы послать сестру в место, которое может каждый час быть занято красными? Ведь они идут за нами по пятам. Почему не послали фельдшера?» — возмутился он. И, догнав нас, моему ездовому приказал вернуться в отряд, а фельдшеру указал сопровождать раненого и сказал ему, чтобы в отряд не возвращался, а временно присоединился к войскам, которые там стоят, пока не предоставится возможность вернуться в свою часть. И на этот раз гнусное дело Дубинского — от меня избавиться — не выгорело. Терпение мое лопнуло, и я рассказала Левушке все, что Дубинский проделывал. Доктор Ефремов подтвердил. До сих пор ни врачи, ни я ничего ему не говорили.

Двигались дальше. После утомительного перехода остановились в одном селе, где не было места за недостатком жилых помещений, и наш перевязочный отряд поместили в здании школы. Врачи взяли себе большую комнату, а мне предложили комнатушку в коридоре, которая, должно быть, служила для сторожа школы. Там стояла кровать, маленький стол, стул и больше ничего. Ефремов и Шатров устроили мне место для ночевки, приделали крючочек к двери (который можно было поддеть ножом и открыть дверь), забаррикадировали ее и

сказали, чтобы я не беспокоилась и спала спокойно — они будут сторожить меня по очереди и свет не будут тушить, чтобы следить за Дубинским. «А если услышите малейший шорох или в дверь будет кто-нибудь пытаться войти — кричите». Они расположились на полу в классе. Было холодно, и ночь была темная. Я боялась спать, но ночь прошла благополучно.

Здесь произошел один неприятный случай. Доктор Мокиевский сообщил, что четвертый врач перевязочного отряда, занимавший должность заведующего хозяйственной частью отряда, — не врач, а самозванец. Кто-то его узнал и заявил дивизионному врачу, что это не доктор, а бывший дезинфектор. Доктор Мокиевский немедленно отрешил его от должности и отправил в распоряжение корпусного врача.

Несмотря на начало октября, было очень холодно, а я — в летней одежде. Хотя Левушка и дал мне свои теплые, на меху, сапоги и лошадиную войлочную попону, мне это мало помогало. Армия шла на Орел, мы подходили к Дмитриевску, а здесь стояла уже совсем зимняя погода, и я сильно промерзла. В Дмитриевске была остановка, и перевязочный отряд расположился по квартирам. Мне дали место в квартире местной народной учительницы, которая ушла, когда подходила наша армия; в доме оставалась только ее прислуга, пожилая женщина. Она видела, как я продрогла, и посоветовала мне лечь на печь, чтобы согреться. Я полезла на печь, легла и незаметно заснула. Не знаю, сколько я пролежала или проспала, но вскочила как ужаленная. Меня так припекло, что весь бок, на котором я лежала, был красный и болел, как от ожога. Я слезла с печи и почувствовала большую усталость. В Дмитриевске наш отряд остался ночевать, но я уже не рискнула лечь на печь.

Через день отряд двинулся за армией в поход на Севск. Подойдя к позиции, наш перевязочный отряд остановился, не разгружаясь, у опушки леса на поляне, внизу, под высоким обрывом. Наша артиллерия стреляла снизу, а красные отвечали сверху. Их позиция была выгодней, и наши стали отступать. Наш перевязочный отряд стоял на видном месте и был хорошей мишенью для красных. Красные стали бить из орудий. Стреляли ли они по нашему отряду или по отступающим войскам, трудно сказать, знаю только, что снаряды сыпались вокруг нас. К счастью, никто не был ранен. В это время вестовой из штаба доставил приказ уходить в лес. Я не знаю, как передал вестовой — уходить в лес или уходить лесом, — или кто-то из врачей, принимавший приказ, его не понял, но перевязочный отряд передвинулся в лес и остановился в ожидании новых приказаний (проще говоря, мы спрятались в лесу). Стояли долго, стрельба уже

прекратилась и наступила тишина. Простояли так до темноты. Уже совсем стемнело, когда наши врачи наконец решили двинуться по лесной дороге. Сколько прошли, не помню, вдруг послышался шум и голоса позади нас. Кто-то из врачей спросил:

— Кто идет?

— Арьергард. А вы кто?

— Перевязочный отряд 1-й Кавалерийской дивизии, — ответили наши.

Подъехали конные, спросили: «Почему вы здесь? Все полки ушли. Мы последние, и красные могут каждую минуту наскочить».

Офицер распорядился и дал проводников вывести нас на дорогу. Проехали версты две, как навстречу нам мчатся верховые. Это были доктор Мокиевский и офицер из штаба дивизии.

— Почему вы здесь застряли? — спросил доктор Мокиевский у Ефремова.

— Ждали приказаний, мы не знали, куда идти, — ответил доктор Ефремов.

— К вам был послан вестовой с приказанием уходить через лес, — сказал офицер штаба.

Значит, кто-то из врачей не понял вестового.

Наконец выбрались мы из леса и добрались до Дмитриевска. Расположились на ночевку, а на рассвете пришло приказание спешно собираться, отступаем. Красные наступали. Началось общее отступление…

В суете мой ездовой Никита обнаружил, что кто-то спустил лошадей в погреб, довольно глубокий, где не было ступенек. Он сообщил об этом доктору Мокиевскому. Хозяева уверяли, что лошади сами спрыгнули туда. Неверно, конечно, у лошадей ноги все целые, сами они целехоньки — никаких царапин, а высота большая, и почему-то обе сразу «спрыгнули». Тот, кто это сделал, надеялся, что их не успеют вытащить. Отступление шло быстрым темпом, и остались только мы с Никитой.

Доктор Мокиевский привел несколько солдат, которые, соорудив сходни, дружно и благополучно вытащили лошадей. Было уже крайнее время уходить, и мы с Никитой благополучно догнали перевязочный отряд (назло врагам). По дороге останавливались во Льгове, но не в городе, а в небольшом селении. Не помню, какие еще в этом районе проезжали места. Запомнила только чудесные леса с деревьями в осеннем уборе. Потом проезжали Путивль, но в нем не останавливались. Ехали на Белополье, к железной дороге.

Глава 5. ОТСТУПЛЕНИЕ

По приезде в Белополье наш перевязочный отряд наконец остановился. Здесь уже стояли штаб корпуса, штаб дивизии и часть войск. Из штаба корпуса сообщили, что в перевязочный отряд прибыла новая сестра милосердия. А через два часа пришел корпусный врач Трейман с сестрой Лисицкой, Вавочкой. Я очень обрадовалась ее приезду, так как потеряла надежду на ее назначение сюда, так долго пришлось ее ждать. Оказывается, она долго искала наш 5-й Кавалерийский корпус. Ей пришлось ехать и с санитарным поездом, и с бронепоездом, и другими путями — как по ступенькам добиралась. Корпус все двигался вперед, и трудно было его нагнать. Наконец настигла, когда он сам пошел ей навстречу — отступал.

Перевязочный отряд до погрузки в вагоны расположился по квартирам. Сколько дней простояли в Белополье и какое количество войск там стояло — не помню. Раненые поступали понемногу. Наконец в начале ноября пришло распоряжение грузиться в вагоны поданного товарного поезда. Погода стояла сухая, но холодная. Весь медицинский и административный персонал нашего перевязочного отряда, кроме сестры Крейтер, погрузился в товарные вагоны. Доктор Мокиевский-Зубок оставался, но вошел с нами в вагон, чтобы приготовить нам с Вавой место для длительного путешествия, и приказал Никите принести наши вещи и попону, которая была с моими вещами в пролетке, чтобы сделать нам постель поудобнее. Никита принес, доктор Мокиевский развернул ее и сказал, что эта попона не его.

— Никак нет, господин доктор, попона ваша, вы ее мне дали — ответил Никита.

— Я тебе дал большую, а эта маленькая, — сказал доктор.

И когда они ее рассмотрели, оказалось, что попона разрезана пополам. Вор все-таки был милостив, «позаботился» и о лошади — оставил половину.

При укладывании вещей в вагон оказалось, что у меня пропали теплые сапоги, которые дал мне Левушка, и пальто-пыльник. Это происшествие произвело на всех неприятное впечатление, и все как-то притихли. Кое-как в вагоне устроились, положив солому и покрыв ее одеялами.

Под вечер услышали громкий разговор у вагона. Доктор Мокиевский кого-то распекал. Оказывается, пришла женщина, местная жительница, и со слезами жалуется доктору, что солдат (санитар) забрал у нее какие-то вещи.

— Ты что же, пошел воевать или грабить? Ты знаешь, что тебе

за это будет? — спросил доктор солдата, на которого указала женщина.

— Почему же доктору брать можно, а мне нельзя? — ответил солдат.

— Какому доктору? — спросил доктор Мокиевский солдата.

— А доктор Дубинский отнял самовар — ему ничего, а я за какой-то пустяк и виноват, — ответил солдат.

Имея наконец прямую улику, доктор Мокиевский, обращаясь к Дубинскому, сказал:

— Дубинский, верните самовар и немедленно отправляйтесь в распоряжение корпусного врача!

Писарь написал сопроводительную записку, и Дубинский отправился в штаб корпуса в сопровожении солдат (санитаров), захватив свои вещи. Женщина получила назад все взятое у нее. Солдат-санитар получил строгий выговор.

Выехав из Белополья, помню, останавливались, выгружались, снова грузились. Шли бои, в которых участвовал и 9-й Киевский гусарский полк, неся большие потери. Бои были сильные, и раненых было много. Несколько молодых офицеров было убито и ранено, но названия мест, где происходили бои, я не запомнила. Все время отступали с боями — как начали отступать от Орла, так и шли назад, к Харькову. Раненых возили с собой до первой возможности отправить их в тыл. Доктор Мокиевский-Зубок отступал с дивизией, со своим полком.

Когда мы подходили к Харькову, Лев Степанович предупредил нас с Вавой, что перевязочный отряд расформировывается, врачи Ефремов и Шатров возвращаются в Харьковский университет, а Вава и я назначаемся в штаб Кавказской Добрармии в Харьков. Он устроил нас в санитарный поезд, в котором из всего медицинского персонала были только врач и сестра. Мы сердечно простились с персоналом перевязочного отряда и перешли в санитарный поезд. Я простудилась, и мне пришлось, за неимением места, лежать в помещении аптеки на полу, а Вава помогала сестре и врачу. Машинист санитарного поезда, по всей вероятности, был красный или сочувствующий им, он проделывал с поездом такие штуки, что по вагонам стоял стон раненых. Машинист дергал поезд то взад, то вперед, очень быстро, рывками, так что некоторые раненые падали с коек. У меня сильно болела шея, и я не могла пошевельнуться, а при таких тряских от боли я теряла сознание. Наконец доктор и сопровождающие поезд военные решили отправить на паровоз вооруженных военных, и толчки прекратились. Дальше уже продолжали путь спокойно.

В Харьков приехали в начале декабря, и я направилась прямо

в Отдел снабжения к инженеру-полковнику А.Я. Дудышкину с просьбой нас приютить на некоторое время. Он не удивился, что мы вернулись с фронта, так как эвакуация в Харькове была в разгаре. Александр Яковлевич поделился своею радостью — его жене и дочери удалось выбраться из Петрограда, и они приехали к нему, но вскоре началась эвакуация семейств служащих штаба армии, и ему пришлось с ними временно расстаться. Семьи были отправлены в Ростов.

Той приветливости, с которой меня встретили в штабе старые знакомые, нельзя описать. Я познакомила со всеми Вавочку. Из-за того, что мы прибыли вечером, комнату нам не смогли дать, несмотря на то что много комнат освободилось после отъезда семейств, — в это время не было заведующего отелем. Нина Афанасьевна (зубной врач), единственная женщина, которая осталась в штабе, приютила нас в своей комнате, а так как у нее были только одна кровать и маленький диванчик, на котором нельзя было улечься, то нам с Вавой пришлось расположиться на полу. Печи в отеле не топились, и было очень холодно.

На другой день мы получили комнату, но страшно холодную. Нас учили, как надо укрываться, чтобы ночью согреться, но это мало помогало, так как я была в летнем одеянии. Я очень жалела о потере моего пальто-пыльника, которое мне очень помогало в дороге, а из теплых вещей у меня была только кожаная куртка. И невольно мне вспомнилась солдатская песенка — один из ее куплетов:

Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У меня нет зимнего платочка,
У меня нет зимнего пальта…

Согревались мы чаем. Благо было на чем согреть, да и друзья заботились, спасибо им. Здесь мы должны были ожидать Льва Степановича, который сдавал должность дивизионного врача. Условились с ним, чтобы не растеряться, оставаться при штабе Добрармии. Ждали его недолго.

Дня через два после нашего прибытия в Харьков офицер штаба сообщил мне, что какой-то господин разыскивает доктора Мокиевского-Зубок. Офицер этому господину сказал, что из перевязочного отряда 1-й дивизии доктора Мокиевского-Зубок прибыли две сестры милосердия, и тот просил офицера устроить ему с нами свидание. Я дала согласие. Господин этот оказался родной брат Льва Степановича, Вадим Степанович. Он нам рассказал, что бежал из Чернигова с женой и теперь разыскивает

брата, который находится в Добрармии. Вадим Степанович ничуть не был похож на Льва Степановича — худой, седой, хотя и младше его. Как после мы узнали из его рассказов, Вадим Степанович был мировым судьей, и когда пришли красные, его арестовали. Вошел в тюрьму с темными волосами, а вышел белый. Освободили арестованных белые войска, временно занявшие Чернигов, и они с женой поспешили уйти. Жена его была крупная, неунывающая. С этого момента мы с ними не расставались. Они наведывались каждый день, пока не приехал Левушка.

При штабе мы прожили с Вавой несколько дней. Харьков, казалось, опустел, жители притихли, на улицах даже днем прохожие были редки. Как-то вечером полковник Дудышкин предложил мне и Ваве пройтись по городу и посмотреть, как он выглядит ночью. Вава не захотела, а я пошла. Все офицеры штаба несли караульную службу и обходили ту часть города, где находился штаб Добрармии. Полковник Дудышкин, с винтовкой за плечом, и я рядом с ним пошли делать обход. Прошли по городу и вышли на мост. Тишина, в городе пустынно, только наши шаги раздавались в тишине. Я спросила Александра Яковлевича:

— А нас не подстрелят? Мы ведь на виду, как на ладони.

— Могут, мы на все готовы, — ответил Александр Яковлевич.

Сделав обход, вернулись благополучно в отель.

Приехал Лев Степанович и рассказал, что Санитарное управление предложило ему сформировать госпиталь. Для этого ему следовало поехать в город Славянск, недалеко от Харькова, где находился санаторий, но больных уже туда не принимали и он был закрыт. В этом санатории ему было предписано реквизировать имущество для оборудования будущего госпиталя на 300 коек. Санаторий был очень богатый и прекрасно обставлен, огромный, так что из его имущества можно было составить не один госпиталь. Лев Степанович с назначенными уже врачами выбрал нужный инвентарь, остальное добавили из складов Санитарного управления. Госпиталь назвали 26-й Полевой запасный госпиталь. Ваву, Лину и меня записали в состав сестер милосердия этого госпиталя.

Однажды утром я заметила большое волнение среди служащих штаба. Я спросила Нину Афанасьевну, что это значит, но она также ничего не знала. Мы пошли вместе к полковнику Дудышкину, и он сообщил нам неприятную весть. Только что пришло извещение в штаб, что поезд с эвакуированными семьями служащих штаба Добрармии потерпел крушение и есть раненые и убитые. Александр Яковлевич тоже был удручен, так как не знал,

что с его семьей. Позже были сообщены имена пострадавших, и его жена и дочь не значились в списке.

Имущество госпиталя было погружено в поезд, персонал госпиталя прибыл, и мы, простившись с Ниной Афанасьевной, Александром Яковлевичем и всеми знакомыми, погрузились на поезд и поехали в Ростов в надежде, что скоро все опять встретимся. Штаб Кавказской Добрармии недолго оставался в Харькове, также двинулся в Ростов.

В декабре 1919 года мы благополучно прибыли в Ростов. К нам присоединилась и Лина. Вава, Лина, Лев Степанович и его брат с женой Руфиной Александровной остановились у моего отца. В Ростове настроение было тревожное. На Садовой улице народу по-прежнему было много, но все торопились, в кафе уже не рассиживались; в кондитерских, в магазинах было почти пусто. Красные, сужая кольцо, подходили все ближе. Положение Ростова было критическое. Белые войска быстро отступали.

Лев Степанович ежедневно ходил в Санитарное управление, которое помещалось в огромном здании. Если память не изменяет, то это было Управление Владикавказской железной дороги на меже между Ростовом и Нахичеванью. В этом здании находились все отделы Добрармии. Лев Степанович добивался назначения стоянки для госпиталя, но все безрезультатно, так как из Ростова предстояло уходить. Положение на фронте было неустойчивое, и потому с назначением оттягивали. В это время брат его, Вадим Степанович, заболел тифом, и его отправили в госпиталь.

Как-то Вава и я отправились в Санитарное управление по какому-то делу. Санитарное управление находилось за городом, и нужно было идти пешком. В те дни единственным сообщением были трамваи. Извозчиков не было видно, по всей вероятности оттого, что лошадей мобилизовали или реквизировали в армию, так что из транспорта остались только трамваи, которые были всегда настолько переполнены, что даже на подножках стояли, вернее, висели, и попасть в трамвай было большим счастьем, а если и попадали, то выбраться из него было не менее трудно, чем войти. Ноги были молодые, привыкшие к хождению, так что нам не составило большого труда добраться пешком до Санитарного управления. Донимал только холод. А декабрь в том году выдался очень холодный.

Народу в Санитарном управлении оказалось много, трудно было пробиться. Мы остановились в коридоре, ожидая Левушку, который должен был получить окончательный ответ, и вдруг видим, как из толпы вылетел и подскочил к нам доктор Кондюшкин. Вава стояла впереди меня, и он подошел к ней.

— Здравствуйте, Варвара Митрофановна! — приветствовал Кондюшкин Ваву. Вава молча смотрит на него. — Вы меня не узнаете? — опять спрашивает Кондюшкин.

— Нет, — отвечает Вава невозмутимо, спокойно.

— Я доктор Кондюшкин. Мы вместе работали в лазарете в Екатеринодаре, — продолжает Кондюшкин.

Вава молча смотрит на него. Тогда он подошел ко мне и спросил:

— Вы тоже меня не узнаете?

— Подлецов не узнаю, — отрезала я.

— Как вы смеете… — начал он, приступая ко мне.

В это время позади нас раздался громкий смех. Наш герой вдруг остолбенел и, повернувшись, быстро исчез в толпе. Мы повернули головы — позади нас стоял офицер с погонами полковника, которого мы раньше не заметили, и неудержимо смеялся. Вава и я тоже засмеялись и поспешили уйти. Вскоре подошел Левушка, и мы направились домой. Так мы отомстили Кондюшкину за нашу Матушку-Голубушку — Верочку. С этого раза мы его больше не встречали ни в Крыму, ни в Галлиполи.

Дома нас ожидал сюрприз: папа решил меня с Левушкой, по старинному обычаю, благословить. Посаженой матерью была моя тетя и крестная, сестра папы. Нас благословили. Папа дал на дорогу маленький серебряный старинный образок, которым нас благословил. Маруся устроила нам скромный ужин, и провели мы вечер в уютной семейной обстановке.

На следующий день Левушка, как и все эти дни, пошел в Санитарное управление и принес наконец приятное известие — наш госпиталь назначен в город Ставрополь.

Приближалось Рождество и Новый, 1920 год. В Ростове ходили очень тревожные слухи, красные были уже близко. Нам следовало уходить из города, чтобы вовремя вывезти госпиталь. Госпиталь, погруженный в вагоны, с остальным персоналом уже стоял в Батайске. Началась эвакуация из Ростова на Кубань. Уходить на Батайск было уже крайнее время.

Перевозочных средств не было, и даже раненых эвакуационная администрация не могла вывезти; кто из раненых мог ходить пешком, уходили сами, а тяжелораненых оставляли на попечение города.

Простившись со своими родственниками и друзьями, я пришла домой, и началась упаковка вещей. Мой дорогой братик Сережа отдал нам свои санки для перевозки вещей и усиленно помогал нагружать их и увязывать в санях наши немногочисленные вещи. Маруся приготовила нам, что могла, из пищи, и мы двинулись в дорогу. Папа, Маруся и Сережа

провожали нас, помогая по очереди везти санки. Дошли до Таганрогского проспекта, куда направлялась масса беженцев, и вышли на угол Тургеневской улицы, откуда уже начинался спуск к Дону. Здесь мы с ними расстались. Тяжело было расставаться, не зная, когда увидимся и увидимся ли. У моих родных была надежда, что мы расстаемся ненадолго. Бедный Сережа, он больше всех на это надеялся и успокаивал, говоря, что наше отсутствие продлится недолго, но надежды не оправдались — я больше никогда их не видела. Сережа в 1928 году умер от туберкулеза горла. Как сестра писала, он часто вспоминал меня и говорил обо мне. Его последние минуты тоже прошли в воспоминаниях обо мне.

Незадолго до отъезда мы узнали, что в боях под Ростовом погибли, почти одновременно, мой двоюродный брат, студент-доброволец, тоже Сережа, и муж его сестры, доброволец. Погибли также мои друзья гимназических лет — военный инженер Маркиан Игнатов, Павел Сиренко, студент Киевского коммерческого института, и другие знакомые.

Мои родные, проводив нас, еще долго стояли наверху Таганрогского проспекта, глядя нам вслед, пока мы не скрылись, двинувшись через Дон по льду. Придя в Батайск, Лев Степанович, выгрузив наши вещи в эшелон госпиталя, нас — меня, Ваву и Лину — поместил в санитарный поезд помогать сестре, которая была в единственном числе, а сам, забрав санки, пошел обратно в Ростов вывозить своего больного брата. Беженцы, нагруженные вещами — кто в санках, кто на спине, — беспрерывно двигались группами и в одиночку. Бои с красными шли уже на окраинах Ростова, и мы все боялись, что Левушка не успеет добраться вовремя до Батайска. Наконец он появился. Привез своего брата, уже выздоравливающего, и поместил его в эшелон нашего госпиталя. В Батайске мы простояли еще несколько дней, красные тем временем заняли предместье Ростова. Паровозов не хватало. Положение создалось такое, что, может статься, придется уходить пешком из Батайска. Доктор Мокиевский приложил все усилия, чтобы вывезти госпиталь. Как-то он пришел очень удрученный и сказал, чтобы мы на всякий случай собрали необходимые вещи, которые могли бы понести на себе, так как не исключена возможность, что придется уходить пешком. Красные уже занимали Ростов, но при энергии доктора Мокиевского трудно было бы застрять где-нибудь, потому мы все верили, что с ним мы не пропадем. Не помню, как это ему удалось, но он действительно достал паровоз, да еще не только для нашего эшелона — он успел отправить и санитарный поезд на Кубань.

У Лины в станице Кавказской жила мама. Во время стоянки в

Батайске и на станции Кавказской у всех скопилось грязное белье, а постирать было негде. Лина и Вава решили отдать белье в стирку под присмотром Лининой мамы. Я им советовала не делать этого сейчас, так как поезд может каждый час двинуться, потому что Лев Степанович уже почти наладил отъезд. Они все же сделали по-своему, будучи уверены, что поезд раньше завтрашнего дня не уйдет, а белье к утру будет готово.

В госпитале старшим санитаром был Суботин, очень толковый, и с виду производил впечатление не простого солдата. Лев Степанович поручил ему предложить машинисту спирт, который был в запасе в госпитальной аптеке. Но так как никто не знал машиниста, то Лев Степанович посоветовал начинать с «низов», то есть со стрелочника. Так и вышло — снабдили спиртом обоих, и вдруг ночью наш поезд двинулся. Мы без приключений доехали до Ставрополя, а Лина и Вава остались без белья, которое отдали в стирку.

В Ставрополе госпиталь поместили на Форштадте, в просторном здании, и он уже не был только хирургический — прибывали и заразные больные (тифозные). Многие из персонала были недовольны тем, что госпиталь поставили в Ставрополь, в тупик, откуда не скоро можно будет выбраться в случае эвакуации.

Госпиталь всегда был полон больными и ранеными. Врачей было немного: доктор Случевский — хирург, молодой, подающий большие надежды. Очень хороший человек, воспитанный, деликатный и сердечно относился к больным. Другой — доктор Липко-Порфиевский, семейный. У него была жена, тихо помешанная, и дочь одиннадцати лет, серьезная, не по годам умственно развитая; она ухаживала за матерью, кормила ее, вела в доме хозяйство и разговаривала со всеми, как взрослая. Липко-Порфиевский боялся, чтобы ее не постигла участь матери, — слишком не по годам была развита. Попал он в госпиталь по мобилизиции и просил доктора Мокиевского войти в его положение и устроить в земскую больницу, чтобы сидеть на месте со своей семьей. Лев Степанович, всегда добрый и отзывчивый, ходатайствовал у своих друзей в Санитарном управлении, чтобы вошли в положение доктора Липко. Хлопоты увенчались успехом, Липко-Порфиевский был назначен в какую-то земскую больницу и, довольный, уехал. Были еще врачи, но их я не помню. Из сестер была назначена еще одна сестра, Фелица Конутовна, вдова доктора Керлера. Она была уже в годах, по образованию акушерка, и мы, сестры, называли ее Бабушка. Она заведовала операционной. Очень милая, со всеми ровная, отзывчивая, и все мы ее любили.

Сколько госпиталь простоял в Ставрополе и сколько было всего медицинского и административного персонала — не помню, но хорошо помню, как мы уходили из Ставрополя. Положение на фронте было печальное, отступали беспрерывно. Старались удержать фронт, но силы были неравные и где-то у добровольцев был открыт фронт. Кроме того, в областях у красных находились заводы и склады снарядов — у белых этого не было, и еще прошел слух, что англичане, помогавшие Добрармии снарядами и одеждой, прислали снаряды на миллиметр больше, и так же обстояло с обувью для армии (бедные солдаты шли с подвязанными подошвами) — пришли несколько вагонов ботинок на одну только левую ногу. В общем, как и всегда, англичане проводили свою гнусную политику.

Фронт приближался, была объявлена эвакуация Ставрополя. Комендант (а может быть, градоначальник — не помню) заявил доктору Мокиевскому-Зубок как главному врачу госпиталя, что персонал может эвакуироваться, а госпиталь целиком, с больными и ранеными, он предлагает оставить в Ставрополе на попечение города, так как эвакуировать его невозможно за неимением перевозочных средств.

Доктор Мокиевский ни за что на это не соглашался, так как не хотел оставлять раненых и больных на произвол, и его трудно было сломить. Он часто ходил к градоначальнику, и у них доходило до крупных разговоров вплоть до угрозы ареста доктора. Все же доктор Мокиевский-Зубок добился своего, получил разрешение на выделение состава для вывоза раненых и госпиталя.

В городе уже царил хаос. Военные склады были открыты для всех, и жители разбирали, кто что мог. Доктор Мокиевский-Зубок приказал Суботину взять с собой несколько человек и набрать на складе нужного товару — главным образом обуви и теплых вещей, которые служили бы для «смазки» в путешествии, а также для нужд больных и санитаров.

Подали состав из товарных вагонов. Погрузили мы всех раненых и больных (их было более трехсот), погрузились и сами. Вблизи города уже бродили зеленые, красные наступали. Направление нашего поезда было на Новороссийск. Паровоз нам дали, но только до Армавира, хотя об этом никто из наших не знал; вероятно, сделали так для того, чтобы отвязаться от назойливого доктора. Паровоз привез госпитальный поезд в Армавир, поставил среди других составов и бросил.

Когда мы немного осмотрелись, то увидели, что наш поезд стоит среди составов, нагруженных снарядами. На втором пути перед вокзалом стоял санитарный поезд, готовый принять

раненых. Старшим врачом поезда был доктор Сычев, давнишний знакомый и приятель Льва Степановича (позже, когда мы были уже в Югославии, его жена крестила нашего сына Олега). Ни их, ни нас не устраивало «снарядное» соседство. Перспектива была не из приятных. Наш поезд стоял в самой гуще этих опасных эшелонов, и, казалось, невозможно было выбраться оттуда. Лев Степанович через Суботина начал «подмазку» — кому обувь, кому теплое белье, кому спирт. И вот однажды ночью наш поезд неожиданно двинулся («подмазка» подействовала) — паровоз вытолкал наш состав со станции, вывез в поле и оставил, а сам вернулся обратно на станцию. Мы еще не пришли в себя от этой неожиданности, как вдруг увидели большое зарево над станцией и услышали взрыв снарядов. Сначала подумали, что был налет зеленых или красных, но потом сообразили, что это взрываются снаряды тех составов, в гуще которых мы стояли.

Лев Степанович сразу же собрал перевязочный материал и персонал, и они двинулись пешком туда, чтобы оказать помощь, если она нужна. В санитарном поезде Сычева, когда начались взрывы, совсем рядом, все в это время спали. Они повыскакивали, полуодетые, как спали, из поезда и кинулись, кто мог, в помещение вокзала. Наших раненых и персонал хранила Божия Матерь — и на этот раз она отвела опасность. Не помню, сколько мы еще простояли в Армавире (в поле), но так же, с «подмазкой», проехали и в Новороссийск.

Началась та же история — наш госпитальный состав загнали в тупик на так называемую Кузькину ветку. Это было свалочное место для отслуживших вагонов. Пригнали наш поезд к самому обрыву, с которого сбрасывали в глубокий овраг старые негодные вагоны. Наши все пришли в ужасное смятение: вдруг начнут сбрасывать ненужные вагоны и, не заметив нашего госпиталя, сбросят и нас?

Началось паломничество к начальнику станции, чтобы вывезти поезд из тупика. Но начальника станции ведь спиртом не подмажешь, так как начальники станций в то время были военные. Тогда начали со стрелочников. И пошла сказка про белого бычка. Все-таки нас вывезли на свободный путь, ближе к порту. Теперь нужно было устраивать погрузку на пароход, чего надо было добиваться, так как пароходов было ограниченное число.

Доктор Мокиевский хлопотал, чтобы дали пароход для раненых и больных. Наконец разрешение было получено, но с условием, что персонал останется на берегу. Поставили стражу из юнкеров, чтобы никого из персонала не впускать. Юнкера знали доктора Мокиевского-Зубок, так как многие из них прошли через

его руки, а кроме того, доктор часто защищал молодых юнкеров на службе. К тому же несколько юнкеров лежали у нас в госпитале и знали сестер. Уговор был с ними такой: санитары и другой персонал, сопровождая последнюю партию раненых, должны остаться с ними на пароходе. Так и сделали. Почти все служащие госпиталя погрузились с ранеными. Вава, Лина и я оставались последними. Меня превратили в больную, едва волочащую ноги. Лина и Вава подхватили меня с обеих сторон под руки, и пошли мы по трапу. Я настолько удачно сыграла роль больной, что даже дежурный юнкер помог мне подняться. Пропустили беспрепятственно. Погрузка раненых и госпитального имущества, которой ведали доктор Мокиевский и Суботин, была закончена. Все было сделано очень быстро благодаря их необыкновенной энергии. За бортом оставалось из наших только двое — доктор Мокиевский и Суботин.

Перед тем как грузиться, доктора Мокиевского просил зайти генерал Хвостиков, заведовавший погрузкой на пароходы, и просил его перевезти с нашим госпиталем, как госпитальное имущество, «медицинский материал» Санитарного управления до Крыма. Мокиевский согласился на просьбу Хвостикова и дал госпитальных людей для переноски груза на пароход. Суботин с несколькими санитарами начал погрузку «медицинского материала». Это были ящики и бочонки. Приходит Суботин и говорит доктору, что это не медицинский материал, а мед — одна бочка протекла. Мокиевский сообразил, что этот багаж, который под видом госпитального имущества перевозится в Крым, предназначается для спекуляции. Доктор Мокиевский сказал Суботину, чтобы при погрузке один бочонок уронили, да так, чтобы он разбился. Когда это было исполнено, он приказал мед раздать раненым, больным и санитарам, а погрузку ящиков приостановить. Сам же пошел к Хвостикову и сказал: «Ваше превосходительство, вас обманули. Тот груз, который вы просили перевезти с нашим госпиталем, — не медицинский материал, его там нет… Один бочонок разбился, и там оказался мед. Я распорядился раздать его раненым». Со слов Левушки, Хвостиков вскочил, позеленел и только прошипел: «Можете идти».

Генерал Хвостиков занимал какое-то положение в Санитарном управлении. После того случая 26-й Полевой запасный госпиталь приобрел в его лице злейшего врага, и с этого времени начались еще большие мытарства госпиталя.

Погрузив, как я уже сказала, весь госпиталь с больными, ранеными и персоналом на пароход, Лев Степанович с Суботиным оставались еще на берегу. Они обдумывали, как бы попасть на пароход, чтобы команда их не заметила. С своими людьми они

заранее условились, как те должны будут им помогать. Пароход уже начал отчаливать, когда Суботин и Лев Степанович кинулись к отверстиям (дырам) в борту, и с той стороны их втянули свои люди, дежурившие все время в ожидании этого момента. Так мы выехали в Крым. На берегу оставалось еще много людей, ожидавших погрузки на пароходы, которых было очень мало и на которые было трудно попасть. Если бы не знакомые юнкера — не знаю, попали ли бы мы на пароход. Наш пароход «Петр Регир» был очень старый, и эта, как говорится, «старая калоша» привезла нас в Феодосию.

В дороге доктор Мокиевский почувствовал недомогание. У него обнаружился сыпной тиф. Когда началась разгрузка парохода в Феодосии, он уже лежал в отделении сыпнотифозных, но еще был в сознании и мог ходить.

Генерал Хвостиков следил за разгрузкой пароходов и спрашивал каждый раз, когда что-то выгружали: «Чьи вещи?» Ему отвечали чьи. Подошла очередь 26-го Полевого запасного госпиталя. Хвостиков закричал, увидя госпитальные кровати:

— Чьи вещи?

— 26-го Полевого запасного госпиталя, — ответили санитары госпиталя, участвуя в разгрузке парохода.

— В море, — свирепо закричал Хвостиков, и кровать полетела в море.

Такая участь постигла еще несколько кроватей. Санитары госпиталя, видя такое отношение к госпитальному имуществу, старались выгружать другие вещи, а в это время Суботин поспешил к старшему врачу сообщить о случившемся. Доктор Мокиевский приказал санитарам прекратить выгрузку госпитальных вещей, а сам, больной, в сопровождении своего вестового и доктора Случевского пошел в Санитарное управление, которое еще находилось в Феодосии. Начальником оказался однокашник доктора Мокиевского по Военно-медицинской академии, доктор Лукашевич. Мокиевский объяснил, что случилось, и просил сохранить госпиталь, прекрасно оборудованный и столь нужный. Лукашевич дал предписание не трогать имущество госпиталя, и на некоторое время как будто дело уладилось. К тому же Лукашевич прибавил к госпиталю медицинского персонала. Так как Хвостиков занимал какое-то место в Санитарном управлении, он чинил всякие препятствия госпиталю, если не сказать — подлости, без ведома начальника санитарной части.

Доктор Мокиевский окончательно разболелся, и его положили в местный госпиталь. Что это был за госпиталь, одному Богу было известно да тем, кто там лежал еще в сознании.

Больные были без ухода, медицинский персонал отсутствовал — только один раз в день я видела доктора, делавшего обход больным, но что он мог сделать, если у него не было помощников?

Возле доктора Мокиевского дежурили сестры нашего госпиталя по очереди, а попутно помогали и остальным больным, которых было очень много. Левушка уже бредил — звал своего вестового и торопил его поскорей приготовить лошадь… «Для сестры Зины, надо спасти сестру, скорей! Красные близко!» — бормотал он и при этом сильно волновался. В это время возле него дежурили я и Бабушка. Пытались его уговаривать, я старалась, чтобы он обратил внимание на мой голос, но наши усилия ни к чему не приводили, он вырывался из рук. Бабушка была крупная и сильная женщина, но не могла с ним справиться. Ему делали уколы для стабилизации сердечной деятельности. Доктор, делая обход, прописал ему для поддержки сердца шампанское. Вава и я пошли в город искать.

Трудно было достать хорошего вина, потому что все лучшее было припрятано, а власти запретили продавать алкогольные напитки военным. Но мы, понадеясь на волю Божию, пошли в винную лавку. Молодой приказчик уверял нас, что у них нет шампанского. Я просила его найти — для очень тяжело больного, для поддержки сердца, может быть, он нам в этом поможет? Вавочка присоединилась ко мне. Он посмотрел на нас, видно, поверил, и ему нас стало жалко — еще не вывелись в то время хорошие люди, — полез под прилавок и вытащил оттуда бутылку «Абрау-Дюрсо». Посмотрев вокруг, не видит ли кто, он завернул ее и дал нам, попросив не выдать его и никому не говорить, кто нам дал, — так как им строго запрещалось продавать это вино.

Мы с Вавочкой вернулись в госпиталь и по рюмочке давали вино Левушке и другим больным, которые нуждались в этом по предписанию доктора.

Наш 26-й Полевой запасный госпиталь приказали открыть в палатках на берегу моря, вблизи расположенных там вилл российских богачей. Прикомандировали к госпиталю мобилизованных врачей и сестер, аптекаря и священника. К старому персоналу прибавились: доктор Толчинский Мейер Цудьевич (с женой Ревеккой Яковлевной, тоже врачом, но в госпитале она не работала); вторая женщина-врач, еврейка (забыла ее имя и фамилию; помню только, что у нее было очень слабое зрение и она носила очень сильные очки. Все ее жалели, так как видно было, что ей трудно работать. Ее вскоре освободили — доктор Мокиевский хлопотал об этом); доктор Коновалов — одинокий, молодой и еще кто-то, кого я не

запомнила; фармацевт Симоновский и его служитель, пан Штенсель; священник отец Федор.

Сестры милосердия также были мобилизованые: Макурина — курсистка медицинского факультета из Симферополя; Скоркина — сестра милосердия; Женичка — сестра милосердия, фамилию забыла, которая вскоре умерла от тифа. Помню еще одну сестру, потому что ее прозвали Божия Коровка, но имени не помню. И еще несколько сестер, имена которых не запомнила.

Доктор Мокиевский проболел долго, так как получилось осложнение — воспаление легких. Здесь уже все приуныли, положение его было критическое, но здоровья он был крепкого и выдержал. А в это время и я заболела сыпным тифом.

Как-то я шла с дежурства от Левушки, уже чувствуя себя плохо, едва передвигая ноги, и встретила на улице доктора Треймана. Он подошел ко мне и спросил, что со мной. «Вы ведь главная ухаживательница за Левушкой, устали?» Я ответила, что все сестры госпиталя одинаково ухаживают за своим доктором, а я просто плохо себя чувствую. Он посмотрел мой язык, попробовал пульс и посоветовал лечь в постель, так как он думает, что у меня сыпной тиф. Он оказался прав. Я пришла к себе и слегла. К счастью, тиф я перенесла в легкой форме и без осложнений, в полном сознании.

Когда уже выяснилось, что у меня сыпной тиф, меня положили в заразное отделение в нашем госпитале. Доктор Мокиевский еще лежал в городском госпитале, и старшего врача заменял доктор Толчинский, он же был и ординатором заразного отделения. В палате были в большинстве больные, выздоравливающие после сыпного тифа. Рядом со мной лежала больная с желудочным заболеванием — сестра Женичка (молодая, тихая, спокойная, приветливая, тоненькая, небольшого роста, была похожа на девочку). Ей было лет восемнадцать — девятнадцать, ее все называли Женичка, даже больные. В этой же палате лежал уже выздоровевший от тифа какой-то пожилой военный чиновник. У него были знакомые в канцелярии нашего госпиталя, которые часто его навещали. Этот чиновник уже выздоровел настолько, что выходил гулять в город, и приходил в палату только чтобы спать и кушать. И много курил. На протесты больных не курить в палате он не обращал внимания, а своим знакомым все жаловался на какие-то недомогания. У меня создалось впечатление, что ему просто не хотелось уходить из госпиталя, где были готовы «и стол и дом»… Доктор Толчинский не находил у него никаких симптомов внутренней болезни, и чиновник был этим недоволен. Его знакомые решили пригласить знакомого врача из города, чтобы тот осмотрел его, но без ведома

Толчинского. Толчинский делал обход только раз в день, считая, что в палате нет серьезных больных, и не обращал внимания на серьезность болезни Женички. Ко мне он относился так же: несмотря на мои невыносимые головные боли, я ничего не получала для облегчения этих болей.

Видя такое отношение к больным, знакомые чиновника привели из города другого врача. Когда Толчинский узнал об этом, его «докторское самолюбие» было задето настолько, что он заявил, что в палату приходить не будет, а так как он заменял старшего врача, то решил никого не назначать вместо себя, из-за чего пострадали все больные, включая и совершенно не причастных к посещению и осмотру больных другим доктором. Так мы остались без врача. Сестра палатная, из вновь назначенных, тоже не долго задерживалась в палате, только исполняла предписание врача. Прошло двое суток. Женичке было очень плохо, ночью мне приходилось, пока не приходила дежурная сестра, вставать и помогать ей, хотя и кружилась у меня голова от высокой температуры. Ко мне часто наведывался вестовой Левушки, и я его послала к старшей сестре, прося ее прийти ко мне. Вава пришла, я ей объяснила общее положение и сказала о бесчеловечно оставленной без врачебной помощи тяжело больной Женичке. Вава вызвала дежурного врача, который уделил Женичке много внимания, но уже не мог ничем помочь, и к утру она отдала Богу свою молодую душу.

Через день Женичку хоронили, и я попросила Ваву, чтобы ее пронесли мимо нашей палатки. Все больные вышли из палатки проводить ее хотя бы взглядом. Толчинский больше не показывался в палате. Вскоре приехал из госпиталя доктор Мокиевский и навел в нашем госпитале порядок. Какой у него был разговор с Толчинским, я не знаю, но до переезда в Воинку среди персонала Толчинский больше не появлялся. Сам он был крымский еврей (караим) и при оставлении Добрармией Крыма остался в Воинке с брошенным госпиталем.

С Левушкой выздоравливали мы одновременно, и он просил не откладывать дольше с венчанием. И, сказано — сделано, мы оба после болезни едва двигались, но все же решили этот акт совершить. Отец Федор нас обвенчал в церковной палатке в мае 1920 года в присутствии Вадима Степановича, Случевского, Бабушки — Керлер — и Лины. Скромненько провели этот «праздник». Скромно потому, что с продуктами было настолько скудно, что уже ели конину, и то не каждый день.

В палатках прожили недолго. Левушка, как только почувствовал себя крепче, сразу пошел в Санитарное управление и потребовал определить место для устройства госпиталя, где он

принес бы пользу, а не прозябал в палатках без пациентов.

Через несколько дней пришел приказ из Санитарной части разбить госпиталь на перевязочные отряды и послать на фронт. Мокиевский сразу же помчался в Санитарное управление узнать, кем дан такой нелепый приказ. Разрушать госпиталь, который остро нужен в создавшейся обстановке, — непростительное безумие. По пути Левушка случайно встретил Треймана, который теперь находился не в Санитарном управлении, а при штабе генерала Кутепова. Узнав, в чем дело, он также отправился спасать 26-й Полевой… Они добились того, чтобы госпиталь не разбивали, но назначили стоянку в селе Воинка под Перекопом, вблизи фронта.

Приказано было свернуть палатки, погрузить имущество в товарные вагоны, персоналу быть наготове и ждать отправки. Нас, «ветеранов», такая обстановка не стесняла — мы привыкли к походным неудобствам, но вновь назначенные, семейные врачи, роптали. В вагонах мы пробыли долго, точных дат не помню. С пищей было худо, кормили нас соленой камсой утром и вечером, ежедневно, только раз в неделю давали мясо — конину. Казалось, конца не будет этому сидению. Наконец получили приказ двигаться на Воинку.

В Воинке под помещение для госпиталя была отведена местная больница. Но пришлось перебороть сильный отпор со стороны женщины-врача, заведовавшей больницей. Она доказывала, что население не может остаться без больницы.

В главном здании помещались канцелярия докторши, несколько комнат-палат и здесь же — ее квартира. Во дворе вокруг главного здания больницы располагалось много построек. После недолгих переговоров мы убедили докторшу, что их можно обустроить под госпиталь, и она смилостивилась. В одном флигеле устроили операционную и палаты. Так как комнат было немного, то койки были поставлены и в коридоре. Во втором флигеле были устроены палаты и аптека, в третьем расположились канцелярия госпиталя и склады имущества — белья и пр. В сарае — хранение продуктов. Общежитие сестер поместилось в домике служащих больницы, которое они уступили сестрам. Кухню для больных построили сами рядом с аптекой. Госпитальный персонал разместился по избам в селе. Село было большое, но природа жалкая. Летом трава желтая, выгоревшая, растительности нет, кое-где торчат деревья. Огородов не было видно. Весь вид села был жалкий, неприветливый. Кухня для персонала поместилась в кухне больничного персонала, который уступил ее нашему госпиталю. Столовую устроили на дворе вблизи кухни, под навесом.

Мокиевский и Случевский работали в операционной. Случевский был старшим ординатором хирургического отделения. Коновалов, Толчинский и женщина-врач — в остальных отделениях. Старшей сестрой была Вава. Я получила назначение в аптеку — в помощницы Симоновскому. Хотя он сначала был недоволен, но потом радовался и благодарил старшего врача за помощницу, на которую, когда уезжал в Симферополь, мог, не беспокоясь, оставлять аптеку. Лина, по ее желанию, пошла на госпитальную кухню сестрой-хозяйкой. Остальные сестры работали в палатах.

Работали дружно и жили дружно, — весь персонал жил как одна семья. В столовой все собирались во время еды, а иногда вечером, после ужина, в хорошие теплые вечера оставались дольше. В разговорах и остротах проходило время.

Как-то в один тихий лунный вечер доктор Случевский был в «поэтическом настроении». Читая стихи и обращаясь к природе, он продекламировал: «Какая красивая ночь, какие нюансы…» Бедный наш, добрый доктор Случевский, с тех пор мы звали его Нюансы. Конечно, за глаза, но, может быть, он знал об этом.

Однажды приходит крестьянин в канцелярию госпиталя, где в тот момент находились Мокиевский и Случевский. Крестьянин просит у старшего врача пистолет. Когда ему сказали, что в госпитале оружия нет, он попросил отравы.

— Для чего тебе нужна отрава? — спросил Мокиевский.

— Убить лошадь — ответил крестьянин.

— Чем она больна? Может быть, мы сможем ее вылечить? — спросил Случевский.

— Нет, она не годна для работы, сломала ногу, а кормить ее мне не выгодно, — сказал крестьянин.

Тут в Случевском заговорила душа хирурга.

— Покажи нам свою лошадь, — попросил он.

Крестьянин повел их в поле и показал лошадь. Они посмотрели ее и предложили ему попробовать ее вылечить.

— Какое там лечение, берите ее себе, коли хотите ее лечить, — кормить ее мне нечем, — сказал на это крестьянин.

Лошадь взяли в госпиталь, сделали ей перевязку и наложили шину на сломанное место. Лошадь пустили в поле и понемногу подкармливали. Она вначале ходила на трех ногах, но через две-три недели стала понемногу становиться на четвертую. По прошествии полагающегося времени сняли шину и повязку, кость срослась, и перевязка была так удачна, что и не заметно было перелома. Лошадь могла ходить, но в телегу ее еще не запрягали, чтобы дать окончательно затвердеть кости. Таким образом, через некоторое время в госпитале появилась и вторая собственная

лошадь, и больше не приходилось занимать лошадей у крестьян для поездок за продуктами. Крестьянин, увидав свою лошадь в запряжке, весело бежавшую, схватился за голову: «Какой я дурак, хотел убить такую лошадь!» Но, пока ему ее не возвращали, она продолжала работать на госпиталь. Отдали ему лошадь позже, при эвакуации.

У больничной докторши был маленький теленок, которого все баловали, главным образом больные, и научили его бодаться. И вот однажды сестра Божия Коровка, которая заведовала кухней для персонала, проходила через двор и не заметила там теленка. Увидев сестру, теленок разогнался и боднул ее в «сиденье». Она упала, потом хотела подняться, но теленок стоял рядом в ожидании боднуть ее снова, когда она встанет. Убедившись, что от него не убежать, сестра стала кричать. Тогда к ней со всех сторон поспешили на помощь и увели теленка. Бедная Божия Коровка долго не могла спокойно сидеть.

С питанием было плохо, у крестьян ничего нельзя было достать, особенно в таком количестве, какое требовалось для госпиталя. Посылались люди во главе с отцом Федором менять набранные в Ставрополе вещи на продукты, но запас вещей уже подходил к концу. Тогда Лев Степанович стал думать, как выходить из такого положения. Кто-то из крестьян сказал, что недалеко от Воинки есть озеро, в котором водится рыба. Организовали рыбачью группу из умеющих ловить рыбу. Нашлось много желающих. Добыли у крестьян рыболовные снасти и во главе с Левушкой двинулись ночью на озеро. Привезли хороший улов и некоторое время побаловали всех рыбкой, даже больничную докторшу смогли угостить. Кроме того, недалеко от Воинки были соляные озера — сиваши. Наши ездили на озера, набирали соль, затем снаряжали отца Федора с санитарами, и те ездили в глубь полуострова, где был недостаток соли, и меняли соль на продукты, иногда очень удачно.

Так как отбросов на кухне было достаточно, то завели свиней. Левушке один крестьянин продал поросенка, и я его отдала на кухню. Лина и повар-татарин Музафар его прикармливали и за ним присматривали. Все с ним возились, баловали и дрессировали. Имя поросенку дали Машка. Машка легко меня узнавала и, когда я появлялась, ходила за мной, как собачка, тыкала пятачком в ногу — напоминала, что надо дать ей что-нибудь вкусное, а когда получала, убегала, довольно хрюкая… Благодаря соли и рыбе персонал и наши больные питались недурно.

В госпитале царили порядок и чистота. В кухне для больных посуда из красной меди была всегда вычищена и блестела.

Музафар был веселый, безобидный, услужливый и вежливый, старался изо всех сил угодить и старшему врачу, который требовал чистоту, и больным, которые хотели, чтобы их вкусно кормили.

В один летний день неожиданно в госпиталь нагрянул врач с предписанием из Санитарного управления и заявил, что он назначен в этот госпиталь старшим хирургом. С важностью и шумом явился в госпиталь, представился: «Доктор Мантейфель». Старший врач спросил его, не родственник ли он знаменитому немецкому хирургу, профессору Мантейфелю. Он ответил, что это его дядя, а потом объявил: «Сюда я послан Санитарным управлением для инспекции, чтобы привести ваш госпиталь в «христианский вид», и в первую очередь хирургический отдел». Такое заявление поразило. Лев Степанович возразил, что в этом необходимости нет, а заявление странное, но все же предложил ему ознакомиться с госпиталем и повел его по палатам и остальным службам.

Осмотрели госпиталь, придраться было не к чему. На другой день, так как операций в тот день не было, он захотел присутствовать при перевязке после операции. Стал делать замечания, думая, вероятно, что доктор Случевский молодой и неопытный. Его замечания привели врачей и операционных сестер в недоумение. Сам Мантейфель не прикасался к больным и не сделал ни одной операции, но доходил до такого нахальства, что делал строгие замечания Случевскому, а на сестер и покрикивал. В общем, вел себя неподобающим образом и грубо. Возмущались все, особенно задевало такое отношение к Случевскому. Своим поведением Мантейфель всех настроил против себя.

Приехал он с женой, но ото всех ее прятал, и никто из нас ее не видел. В столовую тоже не заходил, а требовал пищу к себе на квартиру. Так пробыл он в госпитале с месяц, терроризируя всех. Тогда весь персонал, выйдя из терпения, просил доктора Мокиевского послать кого-нибудь в Санитарное управление в Севастополь узнать, что за птицу прислали они в наш госпиталь. Выбор пал на доктора Коновалова. После его поездки Санитарное управление обратило внимание на Мантейфеля, и вскоре его отозвали. Впоследствии оказалось, что его кто-то опознал, и тогда выяснилось, что он не доктор и не хирург, а самозванец-фельдшер. Вот только не помню, кто его послал приводить наш госпиталь в «христианский вид».

Приехав обратно, Коновалов сообщил новости и между прочим рассказал о генерале Слащеве, командире Крымской армии, оперирующей на фронте. Он имел для своего штаба поезд

и жил в вагонах, там же помещалась и его канцелярия. При нем находилась женщина-врач, так как он был наркоманом и ему нужна была медицинская помощь. Относился он к докторше по-хамски, страшно ее третировал в присутствии посторонних — так что со стороны было неприятно смотреть. Позже, перед эвакуацией из Крыма, Слащев перешел к красным.

Фронт все приближался, за Перекопом шли сильные бои. Раненых прибывало много, мест в палатах не хватало, и пришлось ставить палатки. К тому времени прислали много сестер, все больше не сестер, а беженок или родственниц тех, кто был на фронте. Некоторые из них совсем не были знакомы с медициной, и помощи от них было мало, но их держали, так как деваться им было некуда.

После отъезда Мантейфеля, через небольшой промежуток времени, пришел новый приказ: 26-му Полевому запасному госпиталю собраться и переехать за Перекоп, в город Мелитополь. Какой абсурд! Определенно, чтобы уничтожить госпиталь. Тогда Мокиевский сам отправился к Лукашевичу узнать, почему они хотят уничтожить такой хороший и богатый госпиталь и что за фантазия перебрасывать госпиталь во фронтовую полосу, когда он полон раненых? Если в Воинке трудно с транспортом, то как же будем перевозить раненых из Мелитополя? Что ему сказал Лукашевич, не помню, но госпиталь оставили в Воинке, только потребовали, чтобы выделить (все-таки) перевязочный отряд и отправить его в Мелитополь. Мокиевский никого не назначал, а предложил перейти в отряд добровольно. Вызвались фельдшер с женой. Ему были поручены аптека и несколько человек добровольцев, раньше прикомандированных к госпиталю. Но никто из врачей, которых у нас и так было недостаточно, и сестер не пошел с ними. Снабдили отряд всем необходимым, и отправились они в Мелитополь, где должна была быть их стоянка. Там уже находился другой перевязочный отряд, какой-то части, раньше туда прибывший.

Приблизительно через неделю пришло извещение, что в Мелитополь прорвались красные и уничтожили эти отряды. Мужчин ликвидировали. Женщины остались живы, но многие из них были заражены венерическими болезнями хозяевами положения. Это стало известно, когда Мелитополь отбили белые войска. Остатки персонала вывезли из Мелитополя в тыл. Фельдшер, когда их с женой вели на расправу, просил не трогать его жену, так как она была в ожидании. Вышел один «митюха» и со словами «а мы посмотрим» распорол ей штыком живот. Убили и фельдшера. Вероятно, генерал Хвостиков был удовлетворен своим каиновым делом.

После этого случая внезапно налетел Лукашевич — навести ревизию госпиталя. Увидев образцовый порядок, он удивился и говорит Мокиевскому: «Мне такие ужасы рассказывали про ваш госпиталь и что в нем царит такой хаос, что я решил сам приехать, чтобы убедиться в правдивости сказанного, но я вижу, все в идеальном порядке». Поинтересовался больными, разговаривал с ними. О чем — нам было неизвестно. Пробовал пищу для больных на кухне, поблагодарил Лину и Музафара и остался всем доволен.

Лето подходило к концу, был конец августа 1920 года. Так как в госпитале прибавилось обслуживающего персонала, то были нарушены наш семейный порядок и спайка. За Перекопом, под Каховкой, шли тяжелые бои. В боях находился и 9-й Киевский гусарский полк, который также внес свою лепту в поражение Жглобы. После этого положение на фронте как будто бы улучшилось и все питали надежду на лучшее будущее, но скоро мы убедились, что надежды наши напрасны…

Несмотря на разгром Жглобы, красные сильно теснили наши войска и уже подходили к Перекопу. Казалось, красные сосредоточили на Перекопе все свои силы (да так и было — с прекращением войны у красных с Польшей и при недоверии Деникина к кубанцам, которые открыли фронт). Надежды, что Врангель исправит положение, не оправдались. Поступающие с фронта раненые нам говорили, что красные совсем близко от Перекопа и могут скоро перейти его. Бои были страшные, и много гибло людей с обеих сторон.

Госпиталь был набит до отказа, раненых клали на полу на тюфяках, добавили еще палатки, попросили докторшу уступить для них часть больничного помещения — до первой возможности вывозки их в Феодосию или в Симферополь. Так как тяжелобольных у нее не было, она отдала нам во временное пользование свою больницу. Наши сестры сбились с ног, ухаживая за ранеными. Положение с каждым днем становилось все серьезнее. Воинка находилась недалеко от Перекопа, всего две станции. Но опасность грозила не только с Перекопа, но и со стороны сивашей. Раненые беспрерывно прибывали, и их уже набралось до семисот человек, а транспорта для отправки их в тыл все еще не было, несмотря на частые запросы. Тогда Мокиевский стал требовать, чтобы немедленно прислали поезд для отправки раненых, так как их уже некуда класть. С большим трудом он этого добился. (Как и раньше, не хватало паровозов, а если они и были, то не было машинистов или топлива.) Санитарных поездов не было, они остались по ту сторону. Наконец подали состав с товарными вагонами. Уже было крайнее

время уходить из Воинки. Раненых едва вместили — их набралось к этому времени больше семисот. Насколько возможно, разместили их поудобней; каждый вагон сопровождала сестра, главным образом это были жительницы Крыма. С ними поехали доктор Коновалов и фельдшер с перевязочным материалом и другими необходимыми медикаментами. Таким образом вывезли всех раненых, и все мы облегченно вздохнули. Остановка была за имуществом госпиталя — удастся ли получить состав? Надежды не теряли, начали укладываться и ждать момент погрузки.

Санитары спешно свозили на станцию имущество. Всей погрузкой распоряжался Суботин, не забывая дать на дорогу все необходимое. Приказал санитарам забрать госпитальных свиней, в том числе и Машку, — для раненых и персонала. Лошадь, которую «спас» Случевский, вылечив ее, отдали назад хозяину, который несказанно был благодарен за это, а госпитальную лошадь запрягли в телегу, нагрузили на нее вещи персонала и стали ждать поезда. Но состава не присылали, а может быть, его и не было, потому что под Перекопом станция тоже была маленькая; кроме того, не было топлива. С раннего утра мы ждали поезд, но безрезультатно.

Настоящего положения на фронте мы не знали, так как ниоткуда информации не получали, а знали от раненых только то, что делается на позициях.

Прошло два часа после отправки транспорта с ранеными, и вдруг мы видим, что недалеко, со стороны Перекопа, идут цепи вооруженных солдат с ружьями наперевес. Это отступали наши. Они сказали, что красные уже прорвались и идут по пятам. Нельзя было медлить, и мы все двинулись пешком на Джанкой. С нами вышла только телега с личными вещами, все остальное пришлось бросить.

Из персонала госпиталя отступило (ушло из Воинки) нас немного, вернее, только наша ячейка: Случевский, Вава, Лина, отец Федор, Вадим Степанович с женой, сестра Скоркина и еще две сестры, мужья которых были на фронте, несколько человек административного персонала, Лев Степанович и я. Доктор Толчинский заявил, что остается в Воинке. Пан Штенсель (человек немолодой) уже было погрузился в вагон с ранеными, но Симоновский (аптекарь) прибежал и вытащил его. Теперь они оба остались. Суботин, когда закончил все дела и вывез все имущество на платформу, подошел к доктору Мокиевскому и сказал, что он не едет с нами и остается в Воинке, а всем нам желает благополучного путешествия. Мокиевский не препятствовал, поблагодарил его за добросовестную службу, и они простились. С Суботиным остались и несколько санитаров.

Имущество госпиталя так и осталось лежать на платформе «в ожидании поезда», что очень огорчило Льва Степановича, но не от него зависело спасение имущества. Счастье, что раненых успели вывезти, да и тут он действовал на свой страх и риск, так как никаких указаний не было.

Это происходило уже в последних числах октября, но еще не было особенно холодно и, к счастью, не было дождей. Прошли уже полпути, как увидели поезд с нашими ранеными, который стоял в поле, а возле него копошились люди. Когда подошли ближе, то узнали, что топлива не хватило, и, кто мог, подбирали шпалы, которые попадались вдоль дороги. Наши мужчины помогли им, и группа продолжила свой путь только тогда, когда поезд двинулся.

В Джанкой мы пришли еще засветло и расположились в поле, возле станции. Эшелон с ранеными уже прибыл. Народу было очень много, люди кишели и зудели, как пчелы в улье. Здесь были и беженцы, и какие-то воинские части. Лев Степанович узнал, что в Джанкое стоит поезд генерала Кутепова, а с ним должен быть и доктор Трейман. Левушка пошел к нему с просьбой поскорей устроить отправку поезда с ранеными дальше. Это им удалось, и раненых сразу же отправили в Феодосию для погрузки на пароход. Трейман предлагал Левушке отвезти меня и его в штабном поезде к морю (всех не мог забрать, не было места), но Лев Степанович, не желая оставлять персонал, отказался.

Мы начали располагаться на ночь. Ночь была исключительно темной, только кое-где мелькали зажженные свечи или электрические фонарики. Неожиданно, среди суеты и шума, где-то вдали раздался выкрик: «26-й Полевой запасный госпиталь здесь есть?» Нас кто-то искал. «Госпиталь здесь!» — отозвался один из наших. Видимо, там не расслышали и снова спросили, но уже ближе. Так перекликались, пока к нам не подошли два офицера-летчика. Они попросили позвать старшего врача. Мы их быстро окружили, усадили и от них узнали, что они прикрывали отправку раненых с фронта и в Джанкое успели сдать их в наш эшелон с ранеными, теперь уже отправленный в Феодосию. Узнав, что персонал госпиталя здесь, стали нас искать. Оказалось, оба они лежали в нашем госпитале еще летом и были благодарны за хороший уход и лечение. Теперь, найдя нас, они считают своим долгом предупредить (по секрету, чтобы не вызвать панику среди беженцев), что красные прорвались и могут напасть со стороны озер-сивашей на Джанкой и отрезать выход к морю. «Вам нужно как можно скорее уходить отсюда, до рассвета, как только будет обозначаться дорога», — сказал офицер. Они попрощались с

нами, пожелали благополучного перехода, а сами поехали на фронт. Чуть забрезжил свет, мы двинулись на Феодосию. За нами потянулись и другие. Вопреки ожиданию, красные налета в этот день не сделали, и беженцы, дождавшись поезда, благополучно покинули Джанкой.

Глава 6. ЭВАКУАЦИЯ

По прибытии в Феодосию нам указали пароход, на который мы должны были погрузиться. В это время Лину нашел офицер Чижов, капитан Дроздовского полка, и сообщил ей, что он привез своего друга и ее жениха, капитана Дроздовского полка Черемиса, раненного в челюсть, и сдал его здесь в госпиталь, из которого раненых грузили на пароходы. На вопрос Лины, на какой пароход он попал, Чижов ответил, что не знает. Простившись с Линой, очень огорченной таким известием, он отправился обратно на фронт. Перед уходом он улучил удобную минуту и сказал Ваве, мне и Бабушке, что Черемис был тяжело ранен, потерял много крови и по дороге в Феодосию умер. Лине он этого не хотел говорить, считая, что лучше пусть она верит в ранение жениха и будет надеяться, что когда-нибудь с ним встретится. Лина узнала горькую правду только в Галлиполи, когда немного успокоилась. Ей сказала сестра Керлер (Бабушка) по нашей с Вавой просьбе.

Персонал нашего госпиталя попал на уже перегруженный пароход (названия не помню), на котором находились и все наши раненые, и нам осталось место только на палубе. Состав 26-го Полевого устроился вокруг пароходной трубы. Наступил знаменательный день: 1 ноября 1920 года наш пароход отчалил, держа курс на Константинополь. Было облачно, холодно и тяжело на душе. Мы покинули Россию и все дорогое, связанное с ней, — навсегда.

На второй день плавания наши повара приготовили обед из госпитальных свиней и накормили раненых — и своих, и чужих, а Машка предназначалась для персонала, но, когда мне предложили кусочек этого блюда, я не могла его взять и отказалась — мне вспомнилось, как она хрюкала, прося чего-нибудь вкусного. Накрапывал дождь, и все мы продрогли. Чтобы согреться, публика пила разбавленный спирт, и нашим сестрам предложили по рюмке. Кое-кто пил, но я отказалась, так как водку никогда не пила и пить ее не хотела, но меня усиленно уговаривали, уверяя, что я сразу же согреюсь. Я уступила уговорам. Меня учили, как надо выпить, и я проглотила водку, почувствовав при этом запах карболки. Несколько капель карболки добавляли в спирт для запаха, чтобы его не употребляли для питья, и кто-то взял такой спирт. Поморщившись и съежившись от проглоченного, я приняла его, как лекарство. Но это «лечение» имело для меня плохие последствия.

На следующий день проглянуло солнышко, и я подошла к борту полюбоваться морем, которое было почти спокойное. Тут я почувствовала слабость, мне стало плохо, начался озноб. Измерили температуру, оказалось 39 градусов. Освободив немного места возле трубы, меня уложили, но к вечеру мне стало хуже, я уже не могла подняться и слегла надолго.

Левушка и другие, боясь, как бы я не простудилась еще больше, искали для меня закрытое помещение, но не могли найти и придумать ничего другого, как поместить меня в угольную яму, люк которой выходил на палубу недалеко от трубы. Получив разрешение от «заведующего углем», меня спустили на уголь. В результате тело мое покрылось толстым слоем угольной пыли, которую уже позже, в палате госпиталя, трудно было снять. Сколько мы ехали морем и сколько я пролежала в угольной яме — не знаю. Но в пути благодаря чьим-то хлопотам наш персонал, а может быть и всех находящихся на палубе, перевели в глубокий трюм, в который спускали грузы по лебедке. Помню, как меня вытаскивали из угольной ямы, но, когда спускали в трюм, по-видимому, я потеряла сознание, и ничего не осталось в памяти. Наш пароход пересек море благополучно. Бури нас миновали, зато, как потом рассказывали, следующий пароход с буксирной баржей, полной людьми, попал в сильный шторм и баржа будто оторвалась, а люди погибли. Мы счастливо проскочили, принимая во внимание, что наш пароход был старый, сверху битком набитый людьми, тогда как трюмы были пусты.

По приезде в Константинополь всех из трюма выгрузили, а персонал 26-го Полевого пересадили на госпитальное судно «Ялта», переделанное из пассажирского парохода Добровольного флота, которое было заполнено больными и ранеными. Помню, как меня выгружали. Меня завернули в одеяло, положили в металлическую сетку-носилки, спеленали веревкой, чтобы не вывалилась, и на канатах начали поднимать вверх. Я качалась в этой люльке на страшной, как мне тогда казалось, высоте. Так, качаясь, носилки достигли верха, но почему-то засели под потолком. Я слышала крики команды наверху, и немного спустя стали меня очень осторожно вытаскивать на свет Божий. Вытаскивали свои люди из госпиталя при помощи двух матросов с корабля, в присутствии Левушки.

Перейдя на госпитальное судно, персоналу нашего госпиталя дали угол опять в трюме, «под потолком». Лестница в десять ступенек вела прямо на палубу. Здесь уже были нары. В трюме была устроена общая палата, в которой находилось с десяток больных. Моя кровать стояла у самой лестницы. Это было хорошо потому, что туда проникали и свежий морской воздух, и лучи

солнца. Персонал разместился тут же, отгородившись от общей палаты одеялами.

Наш персонал снова увеличился, к нам присоединились два врача — Покровский (молодой) и Лебедев (пожилой). Наши сестры дежурили у всех больных, но возле меня дежурили постоянно, по доброй воле, Вава и Лина, а иногда и Скоркина с Керлер — когда Вава и Лина были заняты. Пока я тяжело болела, они по очереди менялись каждый день, не оставляя меня ни на минуту.

На этом госпитальном судне врачей и медицинского персонала было много, и своих, и чужих, но все, как и мы, были без госпиталя. Старший врач судна был назначен еще до нашего прихода. Он был среднего возраста, но уже грузный, часто расхаживал по помещению, где находились больные, со своей дамой сердца, не скрывая своих отношений. Она была неприветлива, на всех смотрела свысока, что, вероятно, и полагалось в ее положении. Все наши врачи работали на судне и не особенно были довольны старшим врачом, кажется, из-за его заносчивости и грубости. Отношения особенно обострились, когда явилась турецкая санитарная комиссия, желавшая очистить пароход от заразных больных — их следовало отправить в турецкие госпиталя или больницы. Об этих больницах в то время шла дурная молва — из-за плохого ухода за больными и плохого питания. По этой причине из турецких больниц люди возвращались не всегда…

У Мокиевского и Лебедева состоялось несколько крупных разговоров со старшим врачом судна, который был готов выдать больных на попечение турок, чему оба наших врача противились, считая, что они могут изолировать и вылечить таковых на пароходе. Во время одного из таких крупных разговоров Лебедев и Мокиевский, заступаясь за больных, горячо поспорили со старшим, тот их оскорбил, и Мокиевский дал ему пощечину. Мокиевского и Лебедева арестовали и сдали в турецкую каталажку (также пользующуюся недоброй славой), но на второй день, по ходатайству Треймана, их выпустили.

После этого случая старший налетел на наших сестер. Как-то он пришел со своей дамой в наше отделение. Делая обход, он увидел, что возле меня сидит сестра, и спросил, почему она тут сидит. Сестра ответила, что это своя сестра милосердия тяжело больна и ей нужен уход. Он раскричался и сказал, что больная может обойтись и без сестры, как и другие, а она должна идти работать. Сестры, конечно, его не послушались, потому что прямо ему не подчинялись — у нас был свой старший врач, свои больные, — и продолжали дежурить возле меня в свое свободное

от работы время. У меня уже в течение месяца держалась температура 40 градусов. Я настолько исхудала, так как ничего не могла есть, что от меня остались только кости, обтянутые кожей, и так ослабела, что без посторонней помощи не могла повернуться на другой бок.

У меня, кроме желудочной болезни, начавшейся с отравления, обнаружили тропическую малярию, почему высокая температура так долго и держалась. Впрыскивание хинина делал доктор Каракоз, врач с госпитального судна, но укол оказался неудачным — после него остался след на всю жизнь. За время болезни головные боли были невыносимы, и во сне мне казалось, что зубной врач, вместо зуба, тянет за мозг. Несколько раз Левушка приглашал врачей на консилиум, и те поставили диагноз — тифус абдоминалис. Головные боли они объясняли то воспалением мозговых оболочек, то малокровием мозга. Наконец, так как положение не улучшалось и во мне едва держалась душа в теле, на очередном консилиуме врачи заявили: «Не надо ее беспокоить и не надо лечить, дни ее сочтены…» Левушка их поблагодарил и сказал: «Можете больше не приходить, я сам буду ее лечить» и — вылечил. (Когда я стала поправляться, то поначалу не могла ходить, и меня выносили на руках на палубу в чудные солнечные дни, потом учили ходить, так как ноги, согнутые в коленях, не желали разгибаться, да и очень уж я была слаба, не держалась на ногах. Один доктор, принимавший участие в консилиуме, увидев меня, удивился, что я выжила, а другой сказал: «Совершилось чудо, что вы выжили и поправляетесь».)

Госпитальное судно стояло на рейде в Константинополе шесть-семь недель. Помню, голод уже ощущался. Турки на лодках окружали корабль. Они привозили продукты, но не продавали их за деньги, потому что денег турецких ни у кого не было, а меняли на золото или ценные вещи. Так длилось до тех пор, пока живущим на пароходе не разрешили сходить на берег.

Во время нашего стояния на рейде особенно запечатлившихся событий не произошло, если не считать следующего случая: однажды поздним вечером, когда многие в нашем отделении уже улеглись спать, вдруг раздается страшный крик одной из сестер. Все всполошились и побежали к ней, а сестра бегает как сумасшедшая и кричит. Разобрать ничего нельзя, едва ее остановили. Позажигали свечки и увидели, что у нее в волосах запуталась крыса. С большим трудом сестру освободили, оглушив крысу.

Нам казалось, что мы простояли в Константинополе долго. Вывожу из того, что я уже настолько поправилась, что могла

выходить в город — осматривать достопримечательности и даже присутствовать на службе в мечети.

Как-то, когда карантин уже сняли и мы могли свободно сходить с парохода и посещать город, мы, несколько сестер, собрались пойти осмотреть Константинополь. Представилась возможность побывать и в мечети, на службе. Нам, женщинам, по чьей-то протекции отвели место в верхней части мечети, на балконе, за деревянной решеткой. Оттуда можно было видеть, как турки молились и все, что делалось внизу. Турки, как по команде, становились на колени и так же, по возгласу своего священнослужителя, все сразу поднимались. Запомнился мне необыкновенной величины ковер, цельный в длину и ширину, покрывающий огромный зал мечети. Мне очень хотелось побывать и в знаменитой мечети Айя-София, но я была еще слаба и дойти туда пешком не хватило бы сил. Все наши были там в другой раз, без меня.

В то время, в декабре 1920 года, Константинополь был переполнен и союзными войсками, и русскими беженцами. В городе была вечная сутолока. Очень бросалось в глаза, как надменно и вызывающе-грубо вели себя английские матросы. Они не считались ни с возрастом, ни с полом. Если проходили по улице, то дороги не только никому не уступали, но и расталкивали прохожих, которые попадались на их пути. Одним словом, вели себя, как победители-дикари.

На верхах союзники определяли нашу судьбу не лучшим путем. Они старались отделаться от своих «союзнических» обязательств и от русской массы, насчитывающей свыше ста пятидесяти тысяч человек. Распределить русских они решили следующим образом: казачьи части отправить на пустынный, необитаемый остров Лемнос в Эгейском море, а остальную регулярную армию под командой генерала Кутепова — в Галлиполи. Таким образом, как часть Добрармии, нас направляли в Галлиполи. Тогда говорили, что группа казаков не пожелала сдать оружие, как того требовали «союзники», и засела где-то за городом, в камнях, угрожая открыть стрельбу, если будут к ним подходить солдаты. На время их оставили в покое.

Глава 7. ГАЛЛИПОЛИ

В конце декабря 1920 года наше госпитальное судно разгрузили в городе Галлиполи, и с тех пор началось наше «галлиполийское сидение», длившееся два с половиной года. Общее распределение было такое: все строевые военные части расположились лагерем в семи верстах от города, а нестроевые части, включая медицинский персонал, госпитали Красного Креста и Белого Креста и беженцы — одинокие мужчины и женщины, не принадлежавшие к армии, — были размещены в городе. Все вместе, город с лагерем, называлось у нас одним именем — Галлиполи.

Как устроились военные в лагере, мне самой никогда не приходилось видеть, так как мне еще было трудно проделать такой длинный путь туда, а из перевозочных средств были только собственные ноги. Но я знала об этом от Левушки, который бывал у своих однополчан, да и они часто нас посещали и рассказывали о себе.

Под лагерь им было предоставлено поле, прозванное «змеиным царством» (рассказывали — когда копали землянки или ямки для палаток, то обнаруживали в земле массу змей, находящихся еще в зимней спячке). На этом поле военные расставили палатки, выстроили землянки и устроились по своим подразделениям. Распределены были по полкам. В распорядок дня входила военная учеба, которая уже была не нужна, но тлела надежда, что «скоро падет большевизм», армия будет переорганизована и вернется в Россию. Это делалось и для поддержки дисциплины, чтобы воины не распускались, что уже случалось. Все воинство и беженцы были под командой Кутепова, который драконовскими мерами поддерживал дисциплину. Об этом напишу позже.

В городе работал Американский Красный Крест, который помогал госпиталям — выдавал усиленное питание нуждающимся больным, а также добавочные продукты женщинам и детям. Выдавалось и одеяние, преимущественно женщинам и детям, главным образом пижамы, которые женщины перешивали себе на платья. В одежде многие сильно нуждались — вещи были потеряны или доведены до ветхости. Военные не получали ничего и, казалось, были на положении военнопленных, так как выходить за пределы Галлиполи без разрешения французских властей им было строго запрещено.

Город делился на две этнические части — турецкую и греческую. Нам отвели место в турецкой части. Мы поселились в

полуразрушенном во время войны двухэтажном доме: верхний этаж был отведен для общежития врачей и их семейств, нижний — для питательного пункта американского Красного Креста, который кормил нуждающихся в усиленном питании воинов и беженцев. В том же дворе был двухэтажный дом, не пострадавший от бомбардировок, где верхний этаж предназначался для общежития сестер, а в нижнем жили хозяева-турки.

В «докторском» доме мы с Левушкой получили комнату, кое-как залатанную после бомбардировки. В соседней комнате поселилось несколько врачей-холостяков, и среди них Случевский и Лебедев. Еще две комнаты на нашем этаже были заняты семейными врачами. Вава, Лина и Скоркина устроились на работу в питательном пункте и жили там же, в комнате, отведенной для сестер.

Вскоре, в феврале 1921 года, пришли распределения: доктор Мокиевский получил назначение на эвакопункт (в госпиталь), доктор Случевский — в госпиталь Белого Креста, а меня, перенесшую тяжелую болезнь, устроили на легкую работу — в химико-бактериологическую лабораторию, которая находилась через два дома от нашего. Там уже работали два врача: доктор Черненко, заведующий лабораторией, он же ассистент Киевского университета св. Владимира (прекрасно воспитанный, культурный человек, молодой, скромный и во многом напоминающий доктора Ефремова), доктор Малышев, помощник Черненко, простоватый и грубоватый, и был доктор Тихонов, никогда в лабораторию не заглядывавший (молодой, я его всегда видела с книгой в их комнате — он читал и никогда ни с кем не заговаривал). Был еще мальчик — гимназист старших классов, он имел чудный каллиграфический почерк, был очень застенчивый, тихий и молча делал свое дело.

Как только немного устроились и я ознакомилась с новым местом, я попросила доктора Черненко принять в лабораторию Ваву — она очень этого хотела. Черненко согласился, и Ваву перевели к нам.

Лина пожелала остаться на питательном пункте сестрой-хозяйкой. Доктор Мокиевский недолго оставался на эвакопункте, ему предложили занять должность заведующего базисным складом.

До назначения доктора Мокиевского на базисный склад там были большие хищения и, как говорили, медикаменты отправлялись вместе с другими товарами на противоположный берег Дарданелл для спекуляции. Кто отправлял — я не знаю, кто заведовал складом раньше, тоже не знаю. Когда о хищениях узнали в высших сферах, предложили доктору Мокиевскому, как

хорошему администратору и надежному человеку, занять должность заведующего.

Оккупационная зона была французская. В русской армии с переездом в Галлиполи начался голод, так как паек, выдаваемый французами, был ничтожным. В городе торговали евреи и греки, лавки были полны товаров, но русские не имели денег, чтобы купить их, а у многих не было никаких вещей для обмена их на продукты. Во время болезни у меня пропал саквояж с документами и небольшим количеством валюты. Многие были в таком же положении. На одном французском пайке более слабые здоровьем не выдерживали, и меньше чем за год на окраине города образовалось большое русское кладбище, которое тогда же украсили памятником. (Летом 1921 года объявили в городе и по лагерю, чтобы каждый русский принес по камню для памятника. Все принесли — кто какой величины мог. И памятник вышел большой и довольно оригинальный, в форме пирамиды.) Снимки этого памятника печатались во многих журналах того времени.

Несмотря на полуголодное существование, мы старались не падать духом. Собрались артистические силы, и в лагере устраивались концерты, спектакли. Пользовались успехом певица Банина, балет Баумгартена и другие артисты. Среди них была дореволюционная знаменитость Н. Плевицкая.

Еще в России, во время боев, Плевицкая и ее муж, офицер, перебежали на сторону Белой армии и попали в храбрый Корниловский полк, которым командовал генерал Скоблин. В Галлиполи, в церкви, после литургии в одно из воскресений она дала концерт для городской публики. Об этом было объявлено заранее, и народу в этот день собралось много. Но она не очень баловала своим пением, и этот концерт в городе был единственным.

У командира Корниловского полка завязался любовный роман с Плевицкой, и они решили пожениться. Для этого она должна была развестись со своим мужем. Разрешение на разводы тогда получали через духовенство в Константинополе, быстро. Вскоре после концерта Корниловский полк устраивал в лагере торжественный ужин по случаю какого-то праздника, и во время ужина Скоблин объявил (а может быть, и она — точно не помню), что он и Плевицкая решили пожениться. Тогда поднялся ее муж и при всех дал ей пощечину. Этот скандал быстро стал известен в городе. Что было после этого с ее мужем — не знаю, и о нем я больше никогда не слыхала, но он дал развод и «молодые» все-таки поженились. Это была комедия, предшествующая трагедии. Плевицкая вошла в доверие к семье Кутепова, завела с ними тесную дружбу и даже крестила у них ребенка. Как Плевицкая и

Скоблин предали Кутепова красным в Париже, об этом писать не буду, в свое время об этом в зарубежной прессе было написано много.

Жизнь в лагере и в Галлиполи протекала нормально. Несмотря на голодный паек, в полках продолжались военные занятия. Кутепов завел в городе гауптвахту, которую окрестили названием «губа» и которая никогда не пустовала. За малейший промах попадали на «губу». Например: идет по улице младший офицер или какой-нибудь военный, засмотрелся на витрину или что другое и не заметил, что вблизи проходит (иногда и по ту сторону улицы) генерал Кутепов, и не отдает генералу честь. К нему подходит Кутепов: «Вы почему не отдали честь? — И, не ожидая ответа: — На губу!» — на столько-то дней. И таким образом, знаменитая «губа» всегда была переполнена. Этой участи подвергались не только офицеры. Своими крутыми мерами Кутепов сделал из разбитой армии дисциплинированную, образцовую. Для поддержки морального духа в войсках начальство при каждом удобном случае уверяло, что скоро Россия освободится от большевиков и мы вернемся в Россию, которой нужна будет сильная армия.

Так мы прозябали до конца зимы 1921 года. Обыкновенно в Галлиполи снега не бывало, и даже старожилы никогда его не видели, а в эту зиму выпал снег, и жители говорили, что русские принесли снег и зиму в их край. Так как дождей во время нашего пребывания не было, то никто из врачей холостяцкой комнаты не обратил внимания на крышу, которая была в некоторых местах дырявая. Поэтому ночью, в «снегопад», через дыры надуло в комнату снега, и они проснулись, все покрытые снегом.

Голод заставлял русских продавать свои вещи, чтобы питаться лучше, но греки, скупая ценные вещи за бесценок, еще торговались, стараясь заплатить как можно меньше, пользуясь тяжелым положением голодных людей.

Подошли Великий пост и Пасха. Для церковных служб греки уступили нам свою церковь. Пасхальную службу украшал прекрасный хор. Церковь всегда была полна молящимися. После Пасхи англичане, оккупационная зона которых находилась по соседству с французской, всего в нескольких километрах, предложили русским, кто желает, работу в их зоне. Русская молодежь с радостью приняла это предложение, и довольно большая группа двинулась на работы к англичанам. Остались в охране Кутепова юнкера. Эти веселые ребята выкидывали такие номера с французами, что требовалось даже вмешательство Кутепова. Так, например: среди ночи вдруг под окнами французского коменданта раздается кошачий концерт — это

юнкера развлекаются. Или увидят на пляже проходящий патруль сенегальцев и начинают их атаковать, до тех пор пока не загонят в море, в котором сенегальцы находили спасение. Из страха перед юнкерами сенегальцы, завидев их издали, сворачивали в сторону или убегали. Юнкера прозвали их Сережи. Французский комендант жаловался Кутепову, но Кутепов любил юнкеров, и им все сходило с рук. Хотя Кутепов и обещал французам принять меры и наказать виновных, но таковые никогда не находились.

Как известно, в то время в Турции Кемаль-паша Ататюрк воевал с греками. К Кемалю-паше присоединилась та группа казаков, которая не подчинилась приказу союзников сдать оружие. Когда Кемаль-паша победил, грекам в Галлиполи было приказано покинуть местность в течение двух дней. Так как греки за такое короткое время не могли эвакуироваться с вещами, то все имущество бросили, взяв с собой только самое необходимое и столько, сколько могли унести с собой, так как пароходов для отправки было очень мало. Теперь и они стали беженцами, оставив все. За то, что они обирали наших беженцев, пользуясь их отчаянным положением, получилось: «Как аукнется, так и откликнется».

В городе имущество, брошенное греками, кем-то было взято под покровительство — то ли турецких властей, то ли оккупационных, не помню, но в деревнях брошенный скот и птица бродили голодные. Так как турки свиней не употребляли, то разрешили русским забрать их. После отъезда греков многие лавки были закрыты, и как-то пусто стало на улицах. Жизнь же русских текла по-прежнему.

Такому огромному количеству людей, живущих тесно и открыто, как на ладони, трудно скрыть какие-нибудь происшествия, даже малозначительные или семейные. Все становилось сразу же известно всему русскому населению. Были такие господа, которые от безделья интересовались всем, что происходило среди русских, и потом разносили как новость. Людям, изолированным на полуострове, были интересны всякие новости, которые вносили разнообразие в их скучную жизнь, хотя это были часто и заведомые «утки» (выдумки).

Поскольку власти обещали в «скором времени» вывезти всех в другие страны, то время от времени кто-нибудь пускал «утку» — «скоро едем», и всегда с заверением, что это «из достоверных источников». Публика к этому желанному моменту старалась всегда быть готовой, и многие верили и буквально сидели на упакованных чемоданах, а женщины, в ожидании скорой поездки, говорили друг другу: «Ну вот, это уже последняя стирка, у меня все готово». И для них, бедных, время тянулось долго.

Итак, в терпеливом ожидании были все, кроме влюбленных, и случилось происшествие, удивившее многих. Доктор П., молодой, приятной наружности, всегда спокойный, был влюблен в сестру Веру (фамилию не помню). Она ему не отвечала взаимностью. Он добивался встреч с нею, а она избегала его. И вдруг в один тихий летний вечер в русском районе один за другим раздались выстрелы. Это доктор П. стрелял из револьвера в дверь дома, где жила сестра Вера и другие сестры. Когда он выпустил весь заряд, его обезоружили — он был очень пьян. Дело, конечно, дошло до Кутепова, и доктор отбыл положенное наказание на «губе». К счастью, пули никого не задели.

Как-то, возвращаясь из лаборатории, я проходила через двор нашего дома, и вдруг из общежития с криком о помощи выскочила одна из сестер. В это время на питательном пункте, заканчивая есть, задержалось несколько человек, которые поспешили на ее крик. Сестра повела их в свою комнату — у нее на кровати, покрытой белым покрывалом, ярко выделялась свернувшаяся большая змея, которая спала. Ее убили и выбросили на площадку перед нашим домом. Там она пролежала остаток дня, ее видели и поздним вечером, а наутро она исчезла, вероятно, ожила и уползла. Таких визитеров находили много в лагере, в постелях, и никто не ложился спать, не проверив постель, потому что заползали не только змеи, но и скорпионы, сколопендры и другие твари.

Не помню, сколько времени прошло, когда поступило предложение из Сербии о принятии желающих кавалеристов в пограничные войска Королевства СХС (сербов, хорватов и словенцев). Отозвалась вся строевая кавалерия, в том числе и остатки 9-го Киевского гусарского полка. Доктор Мокиевский отказался ехать с ними, так как не хотел на пограничную службу, хотя и имел большое желание попасть в Сербию.

Наконец сдвинулись с точки замерзания, и публика немного ожила в ожидании скорого расселения. Многие уезжали в одиночку, получая визы в другие страны от родственников и знакомых, а иные просто переезжали в Грецию на работы.

Доктор Мокиевский при помощи фармацевта Вениамина Германовича Левитана в короткое время привел в порядок и базисный склад, и регистрационные книги. Переписали все медикаменты, которые поступали от Международного Красного Креста. То, что полагалось на рассыпку и утечку сверх положенного веса, также и излишки от этого — все записывали в приходную книгу. Работать приходилось много, и Левушку я видела только поздно вечером по окончании работы.

В окружении Кутепова был такой доктор Кожин, который

стремился на место заведующего складом, веря, что там можно поживиться, и от зависти состроил интригу, чтобы попасть на место Мокиевского. Кожин уверял Кутепова (без ведома Треймана, который в Галлиполи был армейским врачом и был еще в России в дружеских отношениях с Мокиевским), что на складе ведутся хищения. Кутепов поверил и назначил проверочную комиссию во главе с Кожиным. Комиссия нагрянула на базисный склад неожиданно. Кожин представился Мокиевскому как глава комиссии, представил и членов комиссии и заявил, что по приказанию Кутепова комиссия намерена проверить книги и все медикаменты на складе. Доктор Мокиевский поручил Левитану дать книги и показывать медикаменты. Кожин старался придраться к каждой мелочи, чтобы обнаружить неправильности или хищения, но это ему не удавалось. Так они проработали больше недели, ища «Панаму», но никаких неправильностей не нашли, и им пришлось дать положительный отчет. Кутепов в приказе поблагодарил доктора Мокиевского за хорошую службу и представил доктора Мокиевского-Зубок к генеральскому чину. Доктор Мокиевский настолько был возмущен проявленным перед этим недоверием, что, когда доктор Трейман принес ему бумаги для подписи на представление в чин генерала для отправки их в ставку Врангеля, он отказался их подписать и сказал, что не желает никаких наград, тем более что не считает это правительство правомочным. Несмотря на доводы доктора Треймана, Мокиевский остался непреклонным. Трейман был очень смущен — сам он еще в Крыму получил генеральский чин как первопоходник и любимец Кутепова.

Все еще возмущенный, доктор Мокиевский подал в отставку, категорически отказываясь от службы на базисном складе, и на его место был назначен Кожин, чего тот и добивался. Вместе с Мокиевским подал в отставку и фармацевт Левитан, не пожелавший работать с Кожиным. Вскоре Мокиевский был назначен страшим врачом офицерского учебного кавалерийского полка.

После этих событий, очень скоро, в конце осени 1921 года, пришло радостное для галлиполийцев известие, взбудоражившее всех жаждущих выезда в другие страны, особенно тех, кто так долго сидел на упакованных чемоданах в ожидании «скорого» отъезда и делал «последнюю стирку»: Болгария принимала всех трудоспособных.

Уезжали учреждения, госпитали, лаборатория, полки и штаб Кутепова. Прекратил свою деятельность и Международный Красный Крест. Из военных оставались только старики и те, кто

не хотел ехать в Болгарию и надеялся на переезд в братскую страну — Сербию, о чем хлопотал генерал Врангель.

Левушка и я отказались уезжать в Болгарию, мотивируя отказ тем, что будем ждать переезда в Сербию. В это же время Чехословакия предложила желающим стать студентами Пражского университета, и многочисленная молодежь, ожидая транспорта в Чехословакию, также временно осталась в Галлиполи.

Радостно публика готовилась к отъезду — наконец-то можно будет жить в нормальных условиях. Перед отъездом из ставки Главнокомандующего русской армии от генерала Врангеля пришел приказ: всех галлиполийцев наградить особым нагрудным знаком (в виде железного креста), за заслуги перед Родиной, с надписью «Галлиполи 1920–1921». Все военные и сестры милосердия получили одинаковые кресты, а дамы — миниатюрные кресты-брошки. С крестами, то есть особыми нагрудными знаками, выдавали удостоверения на право ношения за подписью командиров или начальников учреждений. Копию своего удостоверения за номером 3743 и крест я сохранила до сих пор.

Итак, наступило время разлуки с друзьями. Очень мило простились с коллегами в лаборатории, к сожалению, навсегда. Тяжело было расставаться с Вавой и Линой, да и со всеми остальными — увидимся ли? Грустно было смотреть, когда подошли пароходы и отъезжающие стали грузиться. Потом — отход пароходов, прощальные жесты, пожелания и т. д. Остались мы, как осиротевшие, и теперь уже по-настоящему пусто стало. Так как в докторском доме мы остались с Левушкой одни, то мы переехали в дом, который занимала лаборатория, — он был значительно меньше и крепче. Мы поместились на верхнем этаже (две комнаты), а в нижнем этаже поселился Левитан, занимая комнату, в которой жили врачи лаборатории. Левитан также ждал переселения в Сербию.

Комендантом остатков русской армии в Галлиполи был назначен генерал Мартынов, довольно пожилой, седой, худой, высокий, но бодрый и крепкий старик. Адъютантом у Мартынова был поручик Жданов, а по хозяйственной части — поручик Капуста, небольшого роста, толстенький, вертлявый, не первой молодости. Для госпиталя заняли здание городской, греческой, больницы, и в декабре 1921 года генерал Мартынов назначил доктора Мокиевского старшим врачом госпиталя и начальником санитарной части отряда русских войск в Галлиполи.

После массового отъезда в Болгарию до приезда казачьих частей с острова Лемноса из военных в Галлиполи остались

главным образом нестроевые, в большинстве старые офицеры разных чинов и полков. Из них составили батальон, который назвали в шутку «песочный». Командиром «песочного батальона» был полковник Пущин. Его адъютантом — полковник Петр Петрович Халяев, худой, высокий, угрюмый старик. Помощником Пущина в строю был полковник Павел Павлович (Пал Палыч) Халяпин, среднего возраста, очень подвижный, приветливый. Пущин не поехал в Болгарию со всеми, потому что брат его уехал с первым эшелоном в Сербию и он стремился туда же. Уже немолодой, сухой, старый холостяк, службист, он был очень строг к своим подчиненным и очень требователен.

С отъездом большинства и с отъездом Международного Красного Креста остатки нашей армии перешли на иждивение к французам. Теперь для русского состава паек выдавался еще мизернее. Кто мог работать, работал у англичан, а неспособные к работе жили впроголодь. Выдавая такой паек, французы как бы приравнивали бывших «союзников» к военнопленным — чтобы только не пухли с голоду, — забывая, что эта Русская Армия в августе 1914 года спасла Париж и спасала Францию[22]. Англичане тоже держали русских офицеров как простых рабочих, этим «делая милость» бывшим доблестным соратникам и союзникам, по воле судеб не выигравшим победу в выигранной войне.

Нам с Левушкой и Левитану недолго пришлось пользоваться отдельной квартирой, которая нам подходила своей изолированностью и удобством, — был при доме небольшой дворик с деревьями и тенью, что давало нам возможность отдыхать по вечерам на свежем воздухе. Но хозяину понадобился дом для собственной семьи, он добился снятия реквизиции и просил нас освободить его дом. Нам ничего не оставалось другого, как переселиться в госпиталь, где было несколько свободных комнат. Это было не так и плохо — ближе к работе.

По поводу недостаточного для питания пайка доктор Мокиевский воевал с генералом Мартыновым, настаивая, чтобы тот требовал от французов улучшения питания, но генерал, видно, избегал подобных разговоров с французами и не очень-то старался добиваться улучшения пайка, возможно из страха — чтобы не потерять дружбу с французами, с таким трудом налаженную после отъезда Кутепова, у которого с ними были обостренные отношения.

Французский комендант иногда устраивал банкеты для своих офицеров и приглашал русских. Мартынов со своим штабом не отказывался от этих приглашений и приводил с собою старших офицеров. Бывало и так, что Мартынов отвечал приглашением

французов к себе. В общем, завязалась русско-французская дружба. Левушка под благовидными предлогами от этих встреч всегда отказывался, и только один раз ему не удалось увильнуть.

Стычки доктора Мокиевского с генералом Мартыновым возникали главным образом из-за крайне недостаточного питания нуждающихся. В госпитале ежедневно варилась рисовая бурда с прибавлением каких-то подозрительных жиров. Этот жир с виду был похож на свиной, но был невкусный и неизвестно из чего приготовленный (говорили, будто из собак). Доктор Мокиевский так надоел генералу Мартынову с этой рисовой бурдой и жиром, доказывая, что необходимо улучшить питание, иначе будут серьезные заболевания, что генерал Мартынов, чтобы убедиться в этом, решил проверить все сам и пришел в госпиталь. Попробовав из котла бурду, называемую супом, он спросил доктора, чем он недоволен. Мокиевский показывает ему на жир.

— Разве можно таким жиром питать больных? Да и для здоровых он не полезен, — сказал доктор Мокиевский.

— А почему вы, доктор, находите этот жир плохим? — спросил в свою очередь Мартынов.

— Потому, ваше превосходительство, что этот жир годен только для смазки сапог, но не для употребления в пищу, — ответил Мокиевский.

Генерал ушел, разъяренный.

После этого свидания питание не улучшилось, по-видимому, генерал не собирался поднимать этот вопрос с французами. Тогда доктор Мокиевский решил действовать сам. Выбрал несколько человек из больных, у кого были слабые десны и при легком нажиме кровоточили, а Мартынову написал рапорт для передачи французскому коменданту, что среди русских беженцев появились признаки цинги.

Это был бы скандал на весь мир. Очень скоро из штаба сообщили, чтобы приготовились к посещению французского врача. Когда французский врач пришел, ему в первую очередь показали знаменитый «суп». Потом доктор Мокиевский повел его в госпиталь осмотреть больных. Осмотрев больных, тот, видимо, догадался, в чем дело и к чему стремился русский врач, и спросил только, чего бы доктор Мокиевский хотел.

«Нам нужны свежее мясо, лимоны и свежие овощи», — сказал доктор Мокиевский. Они немного поговорили, француз поинтересовался госпиталем, обещал сделать все, что от него зависит, и они мило и любезно распрощались. Видно, у французского доктора было не такое черствое сердце: в скором времени стали выдавать два раза в неделю по 300 граммов свежего мяса, по 400 граммов овощей и по одному лимону на

человека. Европа испугалась цинги.

Теперь работы в госпитале было не так много. У нас появилось много новых знакомых, опять образовалась дружная группа, так что мы часто по вечерам после работы очень мило проводили время. Рождество провели скромно, еще вспоминали старых друзей. До улучшения питания не раз вспоминали и селедочку, и даже картофель во всех видах, кому как нравилось. Смаковали и борщ, и другое что-нибудь.

Зима конца 1921 и начала 1922 года не была такой суровой, как предыдущая. Встретили и Новый, 1922 год, с пожеланиями, как и всегда впоследствии, пронеся их через всю эмиграцию, скорейшего освобождения дорогой нашей Родины от большевиков. Прошла зима, масленица с блинами, и дождались весны. Наступила Пасха. Наделали куличей, как могли, накрасили яиц и отпраздновали Пасху. Приезжали с английских работ знакомые студенты. Генерал Мартынов, как человек светский, не пренебрег правилами этикета и некоторым дамам сделал визиты. Зашел и ко мне, в самый разгар веселья, и оставался с нами намного дольше положенного визитом времени.

В феврале 1922 года Галлиполи посетил генерал Врангель, чтобы дать нам почувствовать, что мы не оставлены и чтобы надеялись в скором времени переехать в Сербию. К его приезду был подготовлен парад войскам и, при соединении казаков с острова Лемноса, получилось блестяще. Все же надо упомянуть, что до его приезда продолжительное время лили дожди, темные тучи покрывали небо и мы долго не видели солнца. Погода была такая ужасная, что выходить из дома можно было только по неотложным делам. И в это неприветливое время должен был состояться парад. Но время речи генерала Врангеля, обращенной к войскам и народу, вдруг прорвалась туча, и солнечный луч осветил Врангеля. Продолжалось это видение недолго, может быть, с полминуты, но досужие «пророки» увидели в этом какое-то предзнаменование — что-то очень хорошее, что сделает для галлиполийцев генерал Врангель. Его приезд внес много оживления и надежд в публику, но вскоре после его отъезда все пришло в прежнее уныние.

Так пришлось провести еще одно лето в Галлиполи, почти ничем не замечательное, если не считать новых проводов: уезжали студенты в Прагу. И с ними пришлось расстаться навсегда. Проводили студентов, и опять жизнь вошла в прежнюю колею. Терпеливо ожидали результатов хлопот Врангеля о принятии последних остатков Русской Армии в Сербию.

Летом ходили нашей группой на пляж, отведенный для русских. Французы отделили свою сторону загородкой, и русским

было запрещено переступать эту «границу».

У берегов Галлиполи Дарданелльский пролив соединяется с Мраморным морем, и со стороны Мраморного моря был великолепный пляж, а со стороны Дарданелл дикий — высокий каменистый берег с громадными камнями у берега. Если взойти на скалу, то можно было видеть трубы затонувших военных кораблей, которые были присланы с десантом австралийцев и новозеландцев в 1915 году и которые потопили немцы или турки.

Подошла снова зима, отпраздновали Рождество и встретили Новый, 1923 год с такими же пожеланиями, как и прежде, и, конечно, скорого выезда из Галлиполи.

Весна в Галлиполи начиналась рано. В начале марта уже зеленели деревья. У Левушки завелась частная практика у турок, но денег он с них не брал, и ему платили «натурой». Так у нас появились курочки. Левушка вылечил одного знакомого турка, и он вместо гонорара предложил кусок земли под огород в одном из его пустующих дворов. Наши мужчины с радостью принялись расчищать запущенный двор и, получив рассаду, засадили овощи. Заботливо ухаживали, очищали от сорной травы, поливали, если вовремя не было дождей. Огород зазеленел, и появились плоды в зачатках. Но не успели овощи созреть настолько, чтобы их можно было употреблять, кроме зеленого лука, как получили извещение, что все галлиполийцы приняты в Сербию. Передать ту радость и ликование невозможно… И вот начались сборы. В конце апреля 1923 года пришел пароход для нас, галлиполийцев, и началась погрузка. Нас никто не провожал, и некому было жалеть о нашем отъезде. Мы все сами радовались, кто как мог.

Итак, мы распрощались с Галлиполи, где просидели два с половиной года. Всем, кроме казаков с Лемноса, дали удостоверение на право ношения особого нагрудного знака с надписью «Галлиполи 1920–1922».

Пароход стал на рейде в Босфоре, близ Константинополя. Генералу Мартынову подали катер для переезда на берег, и он пригласил меня и еще одну даму, жену офицера штаба, в катер, а остальных перевезли маленьким пароходиком. Приехав на берег, мы дождались наших и погрузились в поезд, который нас повез через Турцию и Болгарию в Сербию.

Эпилог

Таким образом, в апреле 1923 года в нашей жизни закончилась одна глава и началась новая — эмиграция. История России пошла также по иному, не радостному, тернистому пути.

В заключение, для полноты написанного, хотела бы, насколько о ком знаю, сообщить о судьбах некоторых «действующих лиц», повстречавшихся мне или подружившихся со мной во время ужасных дней русской Гражданской войны.

Инженер-полковник А.Я. Дудышкин поступил на сербскую военную службу и, как талантливый инженер, быстро выдвинулся. Ему было поручено восстановление и украшение Белграда после военных разрушений. С ним приходилось часто встречаться, и он крестил нашу дочь. После Второй мировой войны мы виделись с ним в Австрии, откуда он уехал с семьей в Марокко и там умер за несколько дней до выезда в Австралию, куда мы уже переселились раньше.

В Югославии я встречала и инженера Мессароша, помощника Дудышкина в Отделе снабжения Добрармии, который работал по своей специальности в провинции и иногда заезжал в Белград. Встречала я и других знакомых из Отдела снабжения, но все они работали в провинции и были разбросаны.

Левушкин однополчанин и друг генерал Иванов, с которым они прошли всю германскую и Гражданскую войны, устроился на работу железнодорожным чиновником и проживал в Белграде. После Второй мировой войны из Австрии он с семьей уехал в Венесуэлу, где умер в 1971 году.

Второй Левушкин друг, однополчанин полковник Берестовский (третий участник вызволения полкового штандарта в Киеве), был сперва в Югославии, в пограничной службе, а затем, кажется в 1925 году, во главе отряда, собранного из русских военных, ушел в Албанию, где в дворцовом перевороте помог посадить на албанский престол короля Ахмета Зогу. Берестовский предлагал и Левушке присоединиться, но Лев Степанович отказался. Впоследствии мы слышали, что Берестовский был в Абиссинии, где помогал Хайле Селассие.

Нескоро мне удалось наладить переписку с Болгарией. Отозвалась сестра милосердия Керлер Фелица Конутовна (Бабушка). Она устроилась на Шипке, сестрой милосердия в Доме инвалидов. От нее я узнала, что многие уехали в Бельгию, на рудники — Бельгия в то время вербовала рабочих.

Сестра милосердия Леонова Магдалина Митрофановна (Лина) встретила в Болгарии капитана Чижова (который вез

раненого и умершего от ран по дороге в Феодосию своего друга и ее жениха Черемиса) и вышла за него замуж. При наборе рабочих на рудники в Бельгию они уехали туда. Позже они переехали во Францию, и только из газеты «Новое русское слово» я узнала, что Лина там в 1972 году умерла, а через два месяца умер и ее муж, Чижов (Чиж).

Сестра милосердия Скоркина в Болгарии вышла замуж за офицера Переславцева, и они тоже уехали в Бельгию на работы, на рудники. О них у меня не было сведений.

Сестра милосердия Лисицкая Варвара Митрофановна (Вава) оставалась в Болгарии и, по слухам, вышла замуж за доктора Иванова. О судьбе их я ничего не могла узнать.

Нам передавали, что через какую-то газету нас разыскивал доктор Случевский. Но нам так и не удалось установить ни дату, ни название газеты, ни источник информации: в то время нам «посчастливилось» жить в самой глухой местности Черногории, в диких горах, где Левушка был районным врачом. Возможно, что не все письма могли нас найти.

В то время многие русские врачи уехали во французские колонии в Африку, может быть, Случевский тоже туда уехал. О нем больше не было у нас сведений.

Доктор Мокиевский-Зубок Л.С. до Второй мировой войны работал врачом в Сербии и всюду был любим населением за свою отзывчивость и бескорыстность. Несмотря на это, в августе 1941 года за свою причастность к Белой армии подвергся покушению со стороны до зубов вооруженного красного повстанца, который, войдя к нам во двор, с пятнадцати шагов нацелился на Льва Степановича, убив за полчаса до этого игумена соседнего монастыря, ярого антикоммуниста. Левушку спас наш семнадцатилетний сын, прыжком сбивший с ног огромного верзилу и разоруживший его вместе с Львом Степановичем.

В конце войны доктор Мокиевский вышел из Югославии в Австрию и оттуда с семьей выехал в Австралию, где и умер в 1962 году. Его семья впоследствии переехала в Канаду.

В основном бывшая Русская Белая Армия в эмиграции распылилась, и чины ее устраивали свою жизнь кто как мог, но живя днем возврата в свободную от большевиков любимую Россию.

Май 1977-го Оттава, Канада

notes

Примечания

1

Община имени генерал-адъютанта М.П. Кауфмана (1822–1902) выросла из образцово-поставленной школы ученых сиделок, открытой в 1902 г. Имела высокую профессиональную репутацию и отличалась строгими правилами. Работать в общине было в моде у представительниц всех слоев Петербургского общества. Председательницей и попечительницей была баронесса В.И. Икскуль фон Гиндельбранд. — *Прим. ред.*

2

Сестры милосердия Кауфманской общины проходили практику в Обуховской больнице, пациентами которой были низы общества — нищие, бродяги, пьяницы. — *Прим. ред.*

Жена сына *(фр.). — Прим. ред.*

4

Община св. Евгении Красного Креста была образована в 1893 г. Комитетом попечения о сестрах милосердия. Название получила по имени принцессы Евгении Ольденбургской, ставшей ее председательницей. — *Прим. ред.*

5

Община сестер милосердия св. Георгия была открыта в 1870 г. под председательством принцессы Е.М. Ольденбургской. Вице-председательницей и попечительницей была графиня Е.Н. Грейден. В 1894 г. общину приняла под свое покровительство Государыня Императрица Мария Федоровна, в то время цесаревна. — *Прим. ред.*

6

Так современники называли Первую мировую войну. — Прим. ред.

7

Конные состязания *(фр.)*. — *Прим. ред.*

8

Санитарный поезд трезвости *(румын.). — Прим. ред.*

Маленькие подушки под голову (*разгов.*). — *Прим. ред.*

Молотильном сарае *(местн.)*. — *Прим. ред.*

11

Капитан-лейтенанту Шарлю Оберу *(фр.)*. — *Прим. ред.*

12

Свекровь и свекр *(фр.). — Прим. ред.*

13

Джерсей *(англ.)* — гладкое трикотажное полотно. — *Прим. ред.*

14

По-видимому, речь идет о судах, сдававшихся напрокат одной из местных пароходных компаний, названия которых начинались с арабского слова *ширкет. — Прим. ред.*

15

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. способствовала освобождению народов Балканского п-ва от османского ига. — *Прим. ред.*

16

Я телефонист, я телеграфист, я почтальон, я — все *(болг.)*. — *Прим. ред.*

17

По советским источникам, красные в Ростове выловили и ликвидировали в это время около трех тысяч офицеров. — *Прим. авт.*

18

М.В. Родзянко (1859–1924) — руководитель партии октябристов, депутат III и IV Гос. дум, председатель IV Гос. думы. — *Прим. ред.*

19

А.А. Вербицкая. Вавочка. — «Жизнь», 1898, № 25–36. — *Прим. ред.*

20

В Приказе № 1 говорилось о подчинении воинских частей Советам рабочих и солдатских депутатов, об избрании в частях и подразделениях солдатских комитетов и о передаче оружия под их контроль. Это способствовало деморализации армии. — *Прим. ред.*

21

В соответствии с соглашением, подписанным на Крымской конференции руководителями трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (4-11 февраля 1945 г.), западные союзники выдали Сталину два с лишним миллиона русских беженцев. Подробно о выдаче англичанами казаков в Лиенце см. в кн.: Н.Д. Толстой. Жертвы Ялты. М., 1996, с. 181–208. — *Прим. ред.*

22

Германия, объявив войну Франции (21.7/3.8.1914 г.), начала быстрое продвижение на север Франции, к Парижу. Наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило германское командование снять часть войск с Западного фронта. План быстрого разгрома Франции рухнул. — *Прим. Ред.*